Голсуорси Джон
Патриций

Джон Голсуорси
Патриций
Перевод Р. Облонской.
"Нрав человека - его рок".
* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *
ГЛАВА I

Первый луч зари, проникший в большую залу, такую высокую, что лепной потолок ее казался недоступным взору, с задумчивым, холодным любопытством оглядел эту причудливую кладовую Времени. Свободный от предубежденности, свойственной человеческому взгляду, он отмечал одну за другой странные несообразности, словно освещая бесстрастный ход самой истории.

В этой столовой - одной из красивейших в Англии - Карадоки, поколение за поколением, веками копили свои реликвии и трофеи. Они строили и разрушали и вновь отстраивали все вокруг стен этой залы, пока усадьба Монкленд не обрела некоего единства и цельности. Лишь этот покой, возведенный древними строителями, остался нетронутым и сохранил в своей почти монастырской строгости отпечаток их суровых душ. И в свете заглянувшей сюда зари все явственнее проступали трогательные свидетельства столь присущей человеку жажды утвердить себя в веках - все, что некогда было его жизнью, фетиши, причудливые атрибуты верований, - но видны становились также и следы безжалостной руки Времени.

Летописец нашел бы здесь все нужные ему доказательства; психолог безошибочно распознал бы черты высокого происхождения; философ проследил бы путь развития аристократии - от первобытной грубой силы или ловкости через века могущества к живописному упадку. Даже художник мог бы уловить здесь едва угадываемый, невыразимый словами дух дома, точно в древнем соборе, где, кажется, так и слышишь, как бьется его старое сердце.

От легендарного меча, принадлежавшего тому валлийскому вождю, который с помощью искусного, щедро вознагражденного

вероломства вошел в доверие к Вильгельму Завоевателю и, женившись на вдове некоего норманна, взял за ней обширные земли в Девоншире, и до кубка, вскладчину преподнесенного Джефри Карадоку, нынешнему графу Вэллису, его девонширскими арендаторами по случаю его женитьбы на леди Гертруде Симмеринг, - все было здесь, кроме портретов предков, висевших теперь в лондонском особняке Вэллисов. Здесь хранилась даже древняя копия выцветшей, полуистлевшей грамоты, которою король жаловал земли и титул Джону, самому блестящему из Карадоков, ибо по забавной оплошности, какой избежал редкий из древних родов, сей Джон, к несчастью, не озаботился родиться от законного брака. Да, она была здесь, открыто вывешенная на стене, так как случай этот, несомненно волновавший умы в пятнадцатом веке, ныне служил лишь темой для анекдота, тем более потешного, что среди фермеров соседнего прихода можно было наверняка встретить потомков "единокровного" брата Джона - Эдмунда.

Продолжая свой путь, луч зари соскользнул с развешенного на стене оружия, на тигровые шкуры, вывезенные всего лишь год назад из Индии Берти, младшим сыном Карадоков, как бы напоминая, что те, кому некогда принадлежало первенство по простому закону природы, венчающей своими благами дерзновенных и сильных, ныне, оттесняемые от основного потока жизни нации, вынуждены искать повода для дерзаний, чтобы не разувериться в своей силе.

Беспощадный луч раннего летнего утра отметил немало других перемен, скользя со строгих гобеленов на бархатистые ковры, свидетельствующие о здравом смысле нынешней знати, отказавшейся от аскетизма предков. Но тут, словно наскучив собственным критическим бесстрастием, заря пожелала одеть все вокруг в колдовской убор: взошло солнце, и в окна, обращенные к востоку, хлынул ровный и несказанно радостный свет. А вместе с ним влетел шмель и устремился прямо к цветам на столе, стоявшем поперек комнаты, за который садились лишь, если гостей бывало немного.

Безмолвно текли часы, и солнце поднялось уже довольно высоко, когда в зале появились первые посетители - три горничные, румяные и говорливые, с половыми щетками в руках. Их сменили два ливрейных лакея, предвестники завтрака; минуту они постояли в молчаливом созерцании, как и положено респектабельным слугам, затем

принялись степенно накрывать на стол. Потом заглянула - нет ли тут чего интересного - девчурка лег шести, Энн Шроптон, чадо сэра Уильяма Шроптона и леди Агаты, старшей дочери хозяина дома, пока единственной из четверых молодых Карадоков вступившей в брак. Энн вошла на цыпочках, в надежде захватить врасплох какое-нибудь чудо. На ее круглом личике с вздернутым дерзким носиком сияли ясные, широко распахнутые карие глаза. Полотняное платье, лишь слегка схваченное поясом ниже талии, словно подчеркивало ее полную свободу, и, должно быть, все в жизни казалось ей веселым и забавным. Скоро она и вправду заметила нечто интересное.

- А вон шмель!.. Как по-вашему, Уильям, он приручится, если посадить его в стеклянную коробочку?

- Не думаю, мисс Энн. И берегитесь, как бы он вас не ужалил.

- Меня не ужалит.

- Почему же?

- Потому что.

- Ну, конечно... раз вы так полагаете...

- А когда дедушка велел подать автомобиль?

- В девять часов.

- Я поеду с ним до самых ворот.

- А если он не позволит?

- Ну... тогда я все равно поеду.

- Вот как?

- Я могу с ним ехать до самого Лондона. А тетя Бэбс едет?

- Нет, кажется, его светлость едет один.

- Вот если бы она поехала, и я бы с ней. Уильям!

- Слушаю.

- Дядю Юстаса непременно выберут?

- А как же иначе?

- Как по-вашему, он будет хороший член парламента?

- Лорд Милтоун очень умный, мисс Энн.

- Правда?

- А, по-вашему, разве нет?

- А Чарлз как думает?

- Спросите его сами.

- Уильям!

- Слушаю.

- Мне не нравится в Лондоне. Мне нравится здесь, и в Кэттоне, и дома очень нравится, и я люблю Пендридни... и... и мне нравится Рэйвеншем.

- Я слышал, его светлость собирается по дороге заехать в Рэйвеншем.

- Ой! Он увидит прабабушку. Уильям...

- А вот и мисс Уоллес.

В дверях стояла невзрачная женщина с тусклым, исполненным терпения лицом.

- Пойдем, Энн, - сказала она.

- Иду... Здравствуйте, Симмонс!

- Здравствуйте, мисс Энн! - ответил, входя, дворецкий.

- Мне надо идти.

- Мы все очень сожалеем.

- Ну, конечно.

Дверь легонько стукнула, и просторная зала снова погрузилась в деловитую тишину последних приготовлений к трапезе. Но вот четверо хлопотавших у стола слуг разом отступили. Вошел лорд Вэллис.

Он шел медленно, не отрывая спокойных серых глаз от газеты, и меж его бровей залегла непривычная складка. У него были жесткие волосы и усы, в которых уже проступала седина, лицо загорелое и все же румяное, мужественное лицо человека, который знает, чего хочет, и довольствуется этим, и вся его фигура, ладная, подтянутая, с отличной выправкой, и посадка головы - все подтверждало, что это человек не то чтобы самодовольный, но вполне довольный своим образом жизни и мыслей; Его манера держаться с очевидностью выдавала ту особенную непринужденность, которой обладают люди, постоянно находящиеся на виду, привыкшие не отказывать себе в жизненных благах и удобствах и свободные от необходимости заботиться о мнении окружающих. Он сел на свое место и, все еще не отрываясь от газеты, принялся за еду; он не сразу заметил, что вошла и села рядом с ним его старшая дочь.

- Досадно уезжать из дому в такую погоду, - сказал он наконец.

- Заседание кабинета министров?

- Да. Все та же канитель с аэростатами.

Но темные на нежном узком! лице глаза Агаты в эту минуту озабоченно оглядывали стоявший на буфете особый поднос, на котором кушанья не остывали. "Пожалуй, - думала она, - такой поднос куда лучше наших. Лишь бы только Уильяму эти большие подносы пришлись по душе". Все-таки она спросила своим мягким голосом - ибо и говорила и двигалась она очень мягко, почти робко, пока дело не касалось благополучия ее мужа или детей:

- Как ты думаешь, папа, эти страхи, что будет война, помогут Юстасу пройти в парламент?

Но отец не ответил: он здоровался с только что вошедшим высоким молодым человеком, красивым, темноволосым, с усиками, чем-то напоминавшим его самого, хотя ни в каком родстве они не состояли. Правда, в наружности Клода Фресни, виконта Харбинджера, без сомнения, было еще и нечто норманское правильные черты лица, орлиный нос. Кроме того, то, что казалось естественным в манерах старшего, у младшего выглядело одновременно и как чрезмерная самоуверенность и как излишняя связанность, словно он все время был настороже.

Следом вошла высокая, полная, видная женщина с темными еще волосами сама леди Вэллис. Хотя ее старшему сыну уже минуло тридцать, ей самой было лишь немногим больше пятидесяти. Ее голос, осанка, весь облик свидетельствовали о том, что когда-то она была признанной красавицей; но это жизнерадостное лицо с большими серо-голубыми глазами уже утратило свежесть красок, и теперь не оставалось сомнений, что молодость ее позади. В каждой ее черточке, в каждой нотке голоса чувствовалась живая, общительная и притом подлинно светская женщина. Видно было, что это широкая натура, одаренная кипучей энергией, не лишенная чувства юмора, привыкшая к здоровой жизни на свежем воздухе. Она-то и ответила Агате:

- Конечно, дорогая. Ничего не может быть лучше.

- Кстати, Брэбрук собирается разразиться речью на эту тему, - вмешался лорд Харбинджер. - Вы его когда-нибудь слышали, леди Агата? "Мистер спикер, сэр, я встаю, и вместе со мной встают во весь рост демократические принципы".

Агата улыбнулась, но ее мысли были заняты другим: "Если сегодня я позволю Энн доехать до ворот, завтра ей этого будет уже

мало". Чуждая каких-либо общественных интересов, она все унаследованное от предков стремление властвовать обратила на мелочную опеку над чадами и домочадцами. Это стало ее религией, ее страстью, - она ощущала себя как бы хранительницей британского домашнего очага, главою некоего патриотического движения.

Покончив с завтраком, лорд Вэллис поднялся.

- Что-нибудь передать твоей матушке, Гертруда?

- Нет, я только вчера ей писала.

- Скажи Милтоуну, чтобы не упускал из виду этого мистера Куртье. Я однажды его слушал... Весьма недурной оратор.

Леди Вэллис, еще не садившаяся за стол, проводила мужа до дверей.

- Кстати, Джеф, я рассказала матушке о той женщине.

- Это было необходимо?

- Думаю, что да. Мне как-то тревожно... А матушка имеет кое-какое влияние на Милтоуна.

Лорд Вэллис пожал плечами, легонько стиснул локоть жены и вышел.

Он и сам смутно тревожился, но он был не из тех, кто спешит навстречу неприятностям. У него, казалось, совсем не было нервов, как у многих людей его круга, привыкших иметь дело с лошадьми. По самому складу характера он полагал, что поистине довлеет дневи злоба его. Притом отношение старшего сына к женщинам было для него загадкой, над которой он давно перестал ломать голову.

Он вышел в холл и задержался на мгновение, вспомнив, что еще не видел сегодня свою любимицу - младшую дочь.

- Леди Барбара еще не сошла вниз?

Узнав, что дочь не выходила, он надел дорожное пальто, поданное Симмонсом, и вышел на белое широкое крыльцо, над которым красовались высеченные из камня ястребы - герб Карадоков.

Сквозь приглушенный шум мотора до него донесся звонкий голосок Энн:

- Скорей, дедушка!

Губы лорда Вэллиса скривились под жесткими усами: странно слышать слово "дедушка", когда тебе всего-навсего пятьдесят шесть, а чувствуешь себя еще моложе, - и, махнув рукой в перчатке в сторону Энн, он сказал Симмонсу:

- Пошлите кого-нибудь к воротам за этой особой.

- Нет, я вернусь одна, - решительно объявила Энн. Мотор взревел, положив конец спору.

Лорд Вэллис в автомобиле был выразительной иллюстрацией пагубного вторжения науки в старинный уклад жизни. Любитель скачек, которого - после политики - больше всего на свете занимали лошади, недавно получивший звание Почетного Охотника, он, однако, обладал достаточной долей здравого смысла чтобы не только терпеть, но и принимать, даже поддерживать то, что содействовало вытеснению лошадей. Инстинкт самосохранения потихоньку подталкивал его к гибели, нашептывая, что науку, одерживающую одну победу за другой над грубой природой, можно как-то обратить на служение тому престижу, который покоится на неизменном, вполне устойчивом основании. Это постоянное стремление идти в ногу с веком, увлечение плодами научных открытий, все убыстряющийся темп жизни, когда все время скользишь по поверхности, не пускаешь корней, и возрастающее легкомыслие, космополитизм и даже меркантильный дух, чем он, человек, отлично знающий жизнь, пожалуй, немного гордился, - все это незаметно для него самого разрушало ту стену, которой люди его круга отгораживаются от простых смертных. Упрямый, не отличающийся особенной тонкостью, хотя отнюдь не тупица в делах практических, он решительно плыл по течению, крепко держа в руках руль, не замечая, что попал в водоворот. Надо сказать, здравый смысл постоянно уводил его от крайнего ретроградства, столь свойственного его сыну Милтоуну, к консерватизму, несколько смягченному, который, живя на тот же духовный капитал, отлично умеет пользоваться всеми благами врага своего - прогресса.

Он сам вел автомобиль, сосредоточенно, но без всякого напряжения, надвинув фуражку на самые брови, из-под которых смотрели спокойные глаза; и хотя это неожиданное заседание кабинета во время перерыва на Троицу не только портило отдых, но и не могло не беспокоить, он был вполне способен радоваться быстрому, плавному движению и летнему ветерку, шелестевшему в вековых деревьях длинной аллеи и ласково овевавшему лицо. Рядом молча сидела Энн. Катание в автомобиле было совсем новым развлечением, ибо дома это запрещалось, и в ее широко распахнутых глазах над

дерзко вздернутым носиком светился задумчивый восторг. Она нарушила молчание лишь, когда, притормозив у ворот, они медленно проезжали мимо маленькой дочки привратника.

- Здравствуй, Сьюзи!

Ответа не последовало, но даже не слишком наблюдательный лорд Вэллис с удовлетворением" заметил, как смиренно и восторженно смотрела на Энн бледная, худенькая Сьюзи. "Да, - как будто без всякой связи подумал он, - в сердце своем Англия осталась неиспорченной!"

ГЛАВА II

Рэйвеншемхауз расположен на краю Ричмонд-парка; с тех самых пор, как вошло в моду селиться не слишком далеко от Вестминстера, он стал постоянной резиденцией семейства Кастерли; здесь, в просторной оранжерее, примыкающей к холлу, стояла перед японскими лилиями леди Кастерли. Она была невысока, худощава, с лицом цвета слоновой кости, тонким носом и проницательными глазами, глядящими из-под полуопущенных, старчески морщинистых век. Неподвижная, седая, вся в сером, она была точно потускневшая от времени фигурка из стали. В сухой, тонкой, но еще крепкой руке она держала письмо, написанное крупным, размашистым почерком:

"Монкленд, Девоншир.

Дорогая матушка,

Джефри завтра едет в Лондон. По дороге он постарается заехать к Вам. Вновь вспыхнувшая угроза войны потребовала его присутствия в городе. Сама я туда не собираюсь, пока не будет избран Милтоун. По правде говоря, я боюсь оставлять его здесь одного. Он каждый день видится со своей Незнакомкой. Этот мистер Куртье, написавший книгу против войны, - большая дерзость со стороны человека, который сам был наемным солдатом, не правда ли? остановился в гостинице и ратует за радикального кандидата. Он тоже с ней знаком и - ради Милтоуна, - надеюсь, весьма коротко: он довольно привлекателен, с рыжими усами, мил в обращении и изрядный сумасброд. Только что явился Берти. Я постараюсь, чтобы он поговорил с Милтоуном, может быть, ему удастся выяснить, как обстоит дело. На Берти можно положиться, его не проведешь. Должна признать, что она очень недурна собой; но мы не знаем о ней решительно ничего, кроме того, что она разведенная. Не знаю, как людям удается разузнать друг о

друге? А чрезмерная щепетильность Милтоуна еще больше осложняет положение. Просто удивительно, до чего серьезно нынешние молодые люди смотрят на жизнь. Право, не помню, чтобы в молодости я относилась ко всему с такой серьезностью".

Леди Кастерли опустила листок, украшенный графской короной. Тень усмешки скользнула по ее лицу: она-то не забыла, какой была в юности ее дочь. Потом снова принялась за письмо.

"Мы с Джефри чувствуем себя куда более молодыми, чем Милтоун и Агата, хоть они наши дети. К счастью, Берти и Бэбс не таковы. Разговоры о войне очень способствуют успешному ходу предвыборной кампании. Клод Харбинджер тоже сейчас у нас и усердно помогает Милтоуну; но, по-моему, его больше всего интересует Бэбс. Даже грустно думать, ведь ей нет и двадцати... впрочем, что ж тут удивительного при ее наружности; а Клод и в самом деле очень мил. О нем сейчас много говорят; он один из самых выдающихся молодых тори".

Леди Кастерли снова опустила письмо и прислушалась. В оранжерею ворвался какой-то приглушенный шум, словно приветственные или возмущенные клики далекой толпы, - и сразу резко запахло лилиями, словно он разбудил дремавший в их матовых лепестках аромат. Она вышла в холл; там стоял бледный старик с длинными седыми бакенбардами.

- Что это за шум, Клифтон?

- Социалисты, миледи. Они идут в Пэтни, на манифестацию. А люди улюлюкают. Задержали их у самых ворот и не дают пройти.

- Они произносят речи?

- Да, что-то там разглагольствуют, миледи.

- Пойду послушаю. Подайте мне черную трость.

Над бархатно-темными, разлапистыми кедрами, которые, точно эбеновые пагоды, выстроились по обе стороны подъездной аллеи, нависла огромная сизая туча, казавшаяся еще более зловещей оттого, что в нее вонзался единственный белый луч. Под этим балдахином сбились в кучку на дороге усталые, запыленные люди, заслоняя и ободряя возгласами оратора в черном. А вокруг, то и дело что-то выкликая, теснились мужчины и мальчишки.

Леди Кастерли и ее "мажордом" остановились в шести шагах от узорных чугунных ворот, наблюдая за происходящим. Хрупкая серо-

стальная фигурка с серостальными волосами впечатляла своей неподвижностью куда больше, нежели крикливая и беспокойная толпа. Правой рукой она крепко стиснула набалдашник трости, и лишь глаза жили за полуопущенными веками. Оратор возмущался "эксплуатацией народа", иронизировал над христианской моралью, страстно требовал сбросить груз "бессмысленного военного налога", угрожал, что народ возьмет все в свои руки.

- Все это вздор, Клифтон, - сказала леди Кастерли через плечо. - Сейчас хлынет дождь. Я иду в дом.

Под каменным портиком она остановилась. Сизая туча раскололась; дождь в слепой ярости обрушился на толпу, и все бросились врассыпную. Слабая улыбка тронула губы леди Кастерли.

- Дождь охладит их пыл, это им на пользу. Скорей, Клифтон, вы промокнете. Я жду к обеду лорда Вэллиса. Приготовьте комнату, чтобы он мог переодеться. Он едет на автомобиле из Монкленда.

ГЛАВА III

В очень высокой полупустой комнате, обшитой белыми панелями, лорд Вэллис почтительно здоровался с тещей.

- Доехал за девять часов, сударыня... неплохая скорость.

- Рада вас видеть. Когда у Милтоуна выборы?

- Двадцать девятого.

- Только? Жаль! Ему бы следовало уехать из Монкленда, пока там живет эта... эта Незнакомка.

- А-а. Ну да, вы о ней уже слышали!

- Вы слишком беспечны, Джефри, - резко сказала леди Кастерли.

Лорд Вэллис улыбнулся.

- Эти разговоры о войне уже начинают надоедать. Мне не очень ясно, как к этому относятся в стране.

Леди Кастерли поднялась.

- Никак. Начнется война - и отношение будет самое правильное. Так всегда бывает. Пройдемте в столовую. Вы голодны?

О войне лорд Вэллис говорил как человек, который постоянно жил среди тех, кто вершит судьбы государства. Подобно тепличному растению, он просто не мог чувствовать, как обыкновенный садовый цветок. Но хотя он впитал в себя все предрассудки и привычки своего класса, он тем не менее жил жизнью, вовсе не обособленной от простых смертных. И как человек практический и здравомыслящий, в

достаточной мере представлял себе, что думает средний англичанин. Вполне искренне он утверждал, что знает, чего хочет народ, лучше тех, кто много об этом болтает; так оно и было, ибо по складу характера он был ближе к простым людям, чем их вожди, хотя услышать это от кого-нибудь ему было бы, пожалуй, неприятно. Он был силен тем, что природа наделила его трезвой практичностью и начисто лишила воображения, а жизнь дала ему еще и проницательность светского человека и политического деятеля. Положение обязывало его быть энергичным, но в меру и не стремиться доводить всякую идею до логического конца; не быть чересчур строгим в вопросах нравственности - до тех пор, пока сохранена видимость благопристойности; быть великодушным землевладельцем, пока это не затронет всерьез его интересов; покровительствовать искусствам, пока они не выйдут за рамки его понимания; положение обязывало его обладать тактом, зорким глазом, железными нервами и прекрасными манерами, чуждыми всякой манерности. По натуре же он был покладистый супруг, снисходительный отец, осторожный и честный политик, любил пожить в свое удовольствие, потрудиться и провести досуг на свежем воздухе. Он ценил свою жену, нежно любил ее и ни разу не пожалел о своем выборе. Пожалуй, он никогда ни о чем не жалел, разве только о том, что до сих пор не выиграл дерби и не сумел вывести чистую, без примеси породу аспидных пойнтеров. Тещу свою он уважал, как можно уважать некий отвлеченный принцип. В этой маленькой старой леди, несомненно, таился огромный запас решимости, унаследованной от предков, уверенности в себе, свойственной лишь тем, чей авторитет никто и никогда не подвергал сомнению; а поскольку привычка к власти, в известной мере лишала ее воображения, она не допускала и мысли, что этот авторитет может подвергнуться сомнению в будущем. Она всегда знала, чего хочет, - не потому, что много об этом думала, нет, это было заложено в ее характере, деятельном и властном. В совершенстве зная внешнюю сторону общественной жизни - что необходимо людям ее класса, вооруженная традициями культуры - чего требовало ее положение, - движимая идеями - всегда, впрочем, одними и теми же, - не ведая над собой иного господина, кроме собственной жажды властвовать, она обладала умом грозным, как обоюдоострые мечи, которыми ее предки

Фитц-Харольды разили врага под Аженкуром или Пуатье, - она инстинктивно не желала заглядывать ни в свою, ни в чужую душу и всячески противилась неразумным попыткам самоанализа, созерцания и душевного взаимопроникновения, - попыткам, столь пагубным для власть имущих. Если лорд Вэллис был остовом аристократической машины, то леди Кастерли была ее стальной пружиной. Всю жизнь она одевалась с подчеркнутой простотой, была умеренна и скромна в своих привычках; рано вставала, с утра до ночи была чем-нибудь занята и в семьдесят восемь лет оставалась крепче многих пятидесятилетних; у нее была лишь одна слабость, и в ней-то заключалась ее сила: она изрядно переоценивала роль, предназначенную ей в этом мире. Она была олицетворением своей касты, всего, чем эта каста сильна.

Она поразительно гармонировала со столовой, серые стены которой окаймлял широкий фриз в стиле Фрагонара, расписанный уже потускневшими нимфами и розами, и с мебелью, которая явно пережила свое время. Цветов на столах не было, если не считать пяти лилий в старинной серебряной чаше; на стене, над массивным буфетом, висел портрет покойного лорда Кастерли.

- Надеюсь, у Милтоуна есть какая-то своя линия? - спросила леди Кастерли сидевшего против нее зятя.

- В том-то и беда. Он страдает от своих распухших принципов... только бы помалкивал о "их в своих речах.

- Пусть его. И как только пройдут выборы, увезите его подальше от этой женщины. Как там ее зовут?

- Что-то вроде миссис Ли Ноуэл.

- Давно она в ваших краях?

- С год как будто.

- И вы ничего о ней не знаете?

Лорд Вэллис пожал плечами.

- Ну, конечно! - сказала леди Кастерли. - Вы сидите у моря и ждете погоды. Я займусь этим сама. Полагаю, у Гертруды найдется для меня место в доме? А что общего с этой милой особой у вашего мистера Куртье?

Лорд Вэллис улыбнулся. В этой улыбке выразилась вся его светски учтивая и беспечная философия. "Я не вмешиваюсь не в свои

дела", - казалось, говорила эта улыбка, и при виде ее леди Кастерли поджала губы.

- Он крамольник, - сказала она. - Я читала эту его книгу против войны... Весьма зажигательно. Целит в Гранта... и главным образом в Розенстерна. Я только что видела один из плодов его влияния у самых своих ворот. Толпу крикунов, которые против войны.

Лорд Вэллис подавил зевок.

- Вот как? А я и не подозревал, что Куртье может на кого-нибудь повлиять.

- Он опасный человек. Почти все эти идеалисты - ничтожества, но его книга умна.

- Хоть бы уж этим военным страхам пришел конец, из-за них обе страны выглядят преглупо, - сказал лорд Вэллис.

Леди Кастерли подняла бокал, до краев полный кроваво-красным вином.

- В войне наше спасение, - сказала она.

- Война не шутка.

- Она улучшила бы общее положение.

- Вы так думаете?

- Мы снова стали бы первой нацией в мире, а демократию отбросили бы назад на пятьдесят лет.

Лорд Вэллис машинально насыпал перед собою три кучки соли и так же машинально их пересчитал; потом пробормотал, иронически приподняв брови, словно ставя под сомнение собственную мысль:

- Я бы сказал, что по нынешним временам мы все демократы... Вы что, Клифтон?

- Шофер спрашивает, когда подать автомобиль?

- Сразу же после обеда.

Двадцать мотнут спустя он выезжал из чугунных, фигурного литья ворот на лондонскую дорогу. Смеркалось; вое новые облака разбредались по трепетному небу, казалось, сами не ведая куда. Видно, они обречены были скитаться без цели. Они столкнулись в небесах, точно стая гигантских птиц, и беспорядочно кружили, сходясь и вновь расходясь. Пахло сырой землей. Пыль прибило, и автомобиль быстро двигался сквозь сумрак, ощупывая фарами дорогу. На Пэтнейском мосту его задержала вереница фургонов. Лорд Вэллис огляделся по сторонам. Вода отражала тысячи огней: окна домов,

громоздившихся по берегам, фонари набережных и стоявших на якоре барж. Змеящееся бледное тело реки, огромной, живой, от века спешащей к морю, не вызывало в его душе никаких образов. Много лет назад, когда он занимал высокий пост в министерстве торговли, он часто сталкивался с нею и хорошо ее изучил - бесстыдно грязную и всегда возмутительно худосочную как раз там, где ей нужно бы раздаться вширь. И все-таки, когда он закуривал сигару, странное чувство шевельнулось в нем - словно перед ним была нежно любимая женщина.

"Дай бог, - подумал лорд Вэдлис, - чтобы все эти страхи кончились ничем".

Потом автомобиль снова заскользил по забитой всевозможными экипажами дороге к фешенебельному центру Лондона.

Но заголовки вечерних газет, вывешенных на Щитах перед лавками, отнюдь не обнадеживали.

ЗАГОВОР УСЛОЖНЯЕТСЯ

НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ УГРОЖАЮЩИМ

И перед каждым щитом возникал маленький водоворот: прохожие, спеша узнать последние новости, взглядывали на заголовки, потом проталкивались назад и продолжали свой путь.

Оказывается, и ему, графу Вэллису, интересно, что они думают обо всем этом. Что же скрывается за этими бледными масками, обращенными к щитам? Думают ли они вообще, все эти простые, рядовые люди? Как относятся они к грозящей катастрофе? Одно лицо, другое, третье - тупые, безразличные, не выражающие ни желаний, ни тени воодушевления, ни даже страха. Бедняги! В конце концов что они могут поделать - не больше, чем муравьи, когда какой-нибудь мальчишка мимоходом разрушает их муравейник. Да что и говорить, голос народа никогда, в сущности, не решал, быть войне или не быть. И лорду Вэллису вспоминались слова из статьи в радикальном еженедельнике, который он, как человек беспристрастный, заставлял себя читать: "Не знающий фактов, загипнотизированный словами "Отечество" и "Патриотизм"; в тисках стадного инстинкта и врожденного предубеждения против иностранцев; беспомощный по милости своего терпения, стоицизма, преданности и привычки полагаться на вышестоящих; беспомощный по милости слепой веры в

знать и недоверия к себе подобным, беспечности и отсутствия гражданственности, - как бессилен и жалок перед лицом" войны простой смертный!" Впрочем, эта газета, бесспорно, неглупая, всегда казалась ему невыносимо напыщенной.

Едва ли ему удастся попасть в этом году на скачки в Аскот... На мгновение мысли его перенеслись к Казетте, его подающей надежды двухлетке; но, словно устыдившись, он снова вернулся к мыслям о войне: хорошо бы знать, готовы ли в адмиралтействе к любым неожиданностям? Сам он занимал в правительстве более спокойную должность, одну из тех, которые предоставляются опытным, нужным в кабинете людям, если для них нет в данный момент более ответственного поста. От адмиралтейства мысль его перескочила к теще. Поразительная старуха! Вот из кого получился бы отменный государственный деятель! Но и ретроградка же! Как сразу всполошилась из-за этой миссис Ли Ноуэл! И с удовольствием знатока он припомнил лицо и фигуру этой женщины, которую видел сегодня утром, проезжая мимо ее коттеджа. Какие бы тайны ее ни окружали, а привлекательности у нее не отнимешь! Изящная головка, темные волнистые волосы, разделенные пробором, прелестная фигура ничего лишнего. Да, хороша. Без сомнения, у нее есть прошлое, но это его не касается. Жалко, в сущности, таких женщин.

Колонна пехотинцев, возвращавшаяся с учений, задержала его автомобиль. Лорд Вэллис подался вперед, разглядывая их сосредоточенным, пристальным, оценивающим взглядом, каким он смотрел бы на свору гончих. Смутных дум и размышлений как не бывало. Отличный подбор - эти лицом в грязь не ударят. Все они раскраснелись после дня на свежем воздухе и смотрели кто равнодушно, кто с веселой напускной самоуверенностью; их-то уж, во всяком случае, не терзают ни отвлеченные сомнения, ни призраки ужасов войны.

Кто-то закричал: "Ура!", - в воздухе заколыхались поднятые шляпы, послышался сначала слабый и неуверенный, а затем нарастающий громкий гул приветствий - и разом оборвался. "Довольно энергично! - подумал лорд Вэллис. - Им много не надо! Воинственности нам не занимать". И при этой мысли он снова ощутил живейшее удовольствие.

Солдаты прошли, и автомобиль медленно двинулся следом, прокладывая путь сквозь толпу, хлынувшую за ними. Тут были мужчины - молодые и старые, и совсем мальчишки, были и женщины и молоденькие девушки; все они лишь мельком взглядывали на него, словно этот благополучный господин был слишком далек от их жизни, чтобы пробудить в них хотя бы минутное любопытство.

ГЛАВА IV

В этот самый час в Монкленде, в небольшой гостиной крытого соломой выбеленного домика, беседовали, сидя по обе стороны камина, двое мужчин; между ними, откинувшись на спинку низкого кресла, сидела темноглазая женщина и молча слушала, то складывая кончики пальцев, то разнимая, так что они розовели, просвечивая над огнем. Время от времени в камине падало полено, показывая рдеющий бок; казалось, белые стены комнаты впитали в себя свет лампы и огонь камина и теперь сами источали тепло. Залетевшие из темного сада серебристые мотыльки, подрагивая, как запущенные волчком серебряные монетки, вились над светло-зеленой вазой с алыми розами; здесь, как всегда, уютно пахло дымком из камина, травой, цветущим шиповником.

Человеку, что сидел слева от камина, было лет сорок; выше среднего роста, крепкий, энергичный, он держался очень прямо; его подвижное лицо поминутно вспыхивало, голубые глаза блестели. Волосы у него были красно-рыжие, и в огненных, длиннейших, как у Дон Кихота, усах было что-то воинственное.

Человеку, сидевшему справа, было около тридцати. Высокий, гибкий и очень худой, он сидел, согнувшись в низком кресле, обхватив руками колено; в его смуглом, гладко выбритом лице с глубоко сидящими живыми глазами была своеобразная красота, губы трогала слабая принужденная улыбка.

На редкость несхожие, они поглядывали друг на друга, словно соседские псы, которые, давно убедившись, что лучше держаться друг от друга подальше, неожиданно встретились в таком месте, где никак нельзя затеять драку. А женщина наблюдала за ними, и хотя только один пес мог считаться своим, она, любя собак, готова была погладить и другого.

- Итак, мистер Куртье, - сказал тот, что помоложе; его сухой иронический тон, как и улыбка, казалось, служил защитой пылкой

душе, что проглядывала в его взоре. - Все, что вы говорите, сводится просто к оправданию так называемого либерального духа; но, да простится мне моя прямота, дух этот, низведенный с высот философии и искусства в сферу практической деятельности, тотчас оказывается бессильным.

Рыжеусый рассмеялся; странно звучал этот смех - такой веселый и вместе с тем такой язвительный.

- Отлично сказано! Я и не собираюсь с вами спорить. Но так как вся соль политики - в компромиссе, первосвященники кастовости и власти, подобные вам, лорд Милтоун, столь же далеки от реальной политики, как любой либерал.

- Не согласен.

- Согласны вы или нет, но ваше отношение к жизни общества весьма похоже на отношение церкви к браку и разводу; церковь столь же далека от действительности, как и проповедники свободной любви, и столь же мало способна в ней разобраться. Ваша точка зрения обречена по самой своей сути она слишком нежизненная, слишком отвлеченная, чтобы вы могли понять истинное положение вещей. А не понимая, невозможно управлять. Уж лучше сидеть сложа руки, чем с вашими взглядами заниматься политикой!

- Боюсь, что мы с вами не найдем общего языка.

- Что ж, пожалуй, я требую от вас слишком многого. В конце концов вы ведь патриций.

- Вы говорите загадками, мистер Куртье.

Темноглазая женщина шевельнулась; руки ее слабо затрепетали, словно прося собеседников не враждовать.

Старший из них тотчас поднялся и почтительно сказал:

- Мы утомили миссис Ноуэл. Покойной ночи, Одри. Мне пора идти.

Дойдя до стеклянной двери, открытой в темный сад, он обернулся и сделал прощальный выпад:

- Я хотел сказать, лорд Милтоун, что вашему классу более чем кому-либо в Англии свойственна холодная расчетливость. Удивительно, что вы еще сохраняете способность мечтать. Покойной ночи!

Он вышел из комнаты и исчез в темноте.

Молодой человек не шелохнулся; пламя камина освещало его одухотворенное лицо, губы, рождало отблеск в глазах.

- Вы этому верите, миссис Ноуэл? - спросил он.

Вместо ответа Одри Ноуэл улыбнулась, встала и подошла к двери.

- А вот и мой милый лягушонок! Он навещает меня каждый вечер.

На каменном полу веранды, в потоке струившегося из комнаты света, сидел крохотный золотой лягушонок. Когда подошел Милтоун, он запрыгал в сторону и исчез.

- Как мирно у вас в саду! - сказал молодой человек; потом взял ее руку, нежно поднес к губам и так же, как и его противник, скрылся во тьме.

В саду и в самом деле царил глубокий покой. Ночь, казалось, вся обратилась в слух - все огни погашены, все сердца отдыхают. Глазами ясных звезд она заботливо глядела на каждое дерево, на каждую крышу, на сморенный усталостью цветок, точно мать, которая, склонясь над спящим младенцем, считает каждый его волосок и прислушивается к его дыханию.

Перед улыбкой этой ночи недавний спор казался бессмысленным, как детский лепет. И что-то от теплоты, от сладости этой ночи было в лице женщины, одиноко стоявшей у стеклянной двери. Чуткое, исполненное гармонии, оно не было холодным, как иные гармонически правильные лица, напротив трепетало, сияя глубоким внутренним светом, точно его осенил некий дух, нашедший наконец пристанище.

В бархатистой тьме сада с черными тенями тисов бодрствовали, казалось, только белые цветы, устремившие на Одри задумчивый взгляд. Деревья стояли темные, тихие. Ночные птицы - и те умолкли. Лишь ручеек в глубине сада подавал голос, обычно заглушаемый дневными шумами.

Одри Ноуэл всегда всем своим существом отзывалась на то, что ее окружало, она не умела быть равнодушной. Но в этот вечер она словно не замечала царившего вокруг покоя. Руки ее дрожали, щеки горели, грудь вздымалась, и вздохи слетали с полураскрытых губ.

ГЛАВА V

С тех пор, как Юстас Карадок, виконт Милтоун, начал постигать всю сложность бытия, он жил очень одиноко. В детстве единственным его другом был Клифтон, бабушкин дворецкий. Няни, гувернантки, наставники, по их собственному признанию, не понимали его, считая, что он чересчур серьезен и требователен к себе; доходило до того, что он не плакал и не жаловался, когда ему было больно, и это их даже слегка пугало. Почти все детство он провел в Рэйвеншеме, потому что леди Кастерли любила его больше всех своих внуков. Она угадывала в нем способность к самоограничению, которой не хватало ее дочери. Но одному только Клифтону, степенному пятидесятилетнему человеку с длинными черными бакенбардами, Юстас открывал свою душу.

- Я это вам рассказываю, Клифтон, потому, что вы мой друг, - говорил он обычно, сидя на буфете или на ручке большого кресла в комнате Клифтона или бродя с ним по малиннику.

И Клифтон, склонив голову набок, понимающе и с интересом слушал признания своего "друга", которые порой могли привести в замешательство, и время от времени вставлял: "Да, конечно, милорд", но чаще: "Да, конечно, милый".

Была в этой дружбе какая-то особая утонченная уважительность, ни один из "друзей" не позволял себе ни малейшей вольности; оба страстно любили голубей и могли часами с увлечением наблюдать за ними.

В должный срок, следуя семейной традиции, Юстас поступил в Хэрроусский колледж. Там он провел пять лет и все время оставался одним из тех малоинтересных, длинноруких и длинноногих подростков, что плетутся в одиночку к своему логову, приподняв одно плечо от привычки постоянно таскать что-нибудь под мышкой. Он не блистал в науках, нимало не считался с тем, что о нем подумают, притом у него был титул да еще злой язык, которого все боялись, - все это спасло его от репутации "книжного червяка"; он оставался просто гадким утенком, не желавшим слишком послушно плавать по тинистым прудам школьных традиций. В спортивных играх он был так неловок, что товарищи из чувства самосохранения предоставляли ему заниматься спортом в одиночестве. Только для крикета они делали исключение: в этой игре он преуспевал, так как махал своими длинными руками, точно ветряная мельница крыльями. Он увлекался

также рискованными химическими опытами и вечно колдовал над какими-то колбами, поначалу тайком, а потом с разрешения надзирателя, полагавшего, что уж если в какой-нибудь из комнат пансиона нельзя обойтись без зловония, пусть его разводят в открытую. Юстас мало с кем дружил, но дружба его была надолго. Его латинские стихи были из рук вон плохи, а греческие и того хуже, так что все изумились, когда в последний год учения оказалось, что он прекрасно пишет и говорит на родном языке. С колледжем он расстался без всякого сожаления. Но когда поезд тронулся и древний Холм со знакомым шпилем на вершине стал исчезать вдали, он ощутил в горле ком, который никак не удавалось проглотить, и пришлось ему забиться в дальний угол купе и притвориться спящим.

В Оксфорде ему жилось не так тоскливо, хотя все-таки довольно одиноко; вначале, пока это было можно, он жил вне стен колледжа, а потом поселился в самом колледже, в уединенных, обшитых панелями комнатах под самой крышей, откуда видны были сады и кусок городской стены. Здесь, в Оксфорде, впервые зародилась столь характерная для него требовательность к себе. Он пристрастился к гребле, вошел в студенческую команду, и, хотя, по всему своему складу, мало для этого подходил, неизменно участвовал во всех гонках.

К концу состязаний он до того выбивался из сил, что даже не мог без посторонней помощи выйти из лодки, так как последнюю четверть пути держался одним только напряжением воли. Та же страсть к воспитанию воли руководила им при выборе факультета; он решил стать бакалавром искусств - весьма нелегкая задача при том, как плохо он владел греческим и латынью. С неимоверным трудом он все же получил эту степень, да еще с отличием. Сверх того он не раз удостаивался высших университетских наград за английские сочинения. В обычных студенческих развлечениях он не участвовал. За все годы учения его ни разу не видели под хмельком. Он не ездил на охоту, никогда не вел разговоров о женщинах, и при нем никто не решался на это. Но порою его словно подхватывало вихрем, как бывает лишь с натурами аскетическими, и вся жизнь внезапно обращалась в пламя; оно пожирало его день и ночь, а потом, будто сжалившись, стихало бог весть отчего, точно кто-то задул свечу. Хоть он и не был человеком общительным в обычном смысле этого слова,

но в оксфордские годы его всегда окружали люди. У него был довольно широкий круг знакомств среди преподавателей и студентов старших курсов. Тех, кто способен отправиться в дальнюю прогулку ради удовольствия поболтать с приятелем, Юстас доводил до изнеможения своим стремительным шагом и решительным! нежеланием придерживаться какого-то определенного маршрута. Вся округа, от Абингдона до Бэблок-Хайт, хорошо его знала, хотя он не знал никого. Имя его произносили с уважением и в студенческом клубе, где он еще первокурсником отличился на диспуте о цензуре, необходимость которой отстаивал мрачно, упрямо и даже с каким-то юношеским пылом - и одержал бы победу, не встань тут некий ирландец и не заяви, что такая цензура ставит под угрозу даже Ветхий завет. На это Юстас возразил: "Лучше поставить барьер перед Ветхим заветом, чем совсем не будет никаких барьеров". Это принесло ему славу.

Он провел в Оксфорде четыре года и покинул его в растерянности, с ощущением утраты. Окончательное суждение Оксфорда о своем детище гласило: "Юстас Милтоун? Чудак! Но он еще себя покажет!"

Примерно в ту же пору у него произошел разговор с отцом, после которого каждый из них утвердился в своем мнении о другом. Разговор этот происходил в библиотеке усадьбы Монкленд в один из ноябрьских вечеров.

В библиотеке горели восемь свечей в тонких серебряных подсвечниках, по четыре с каждой стороны резного камина. Их мягкого сияния хватало лишь на небольшую часть погруженной во тьму просторной комнаты с панелями и паркетом черного дуба, уставленной книгами; здесь держался острый запах кожи и сухих розовых лепестков - щемящий аромат старины. Над огромным камином висел написанный неизвестным художником портрет того кардинала Карадока, который в шестнадцатом веке пострадал за веру; освещена была лишь половина его бритого лица. Изможденный аскет с запавшими глазами и едва уловимой усмешкой на губах, он, казалось, повелевал синеватыми языками пламени в камине.

И отцу и сыну нелегко было начать разговор.

У каждого было такое чувство, словно перед ним не родной отец или сын, а чей-то близкий родственник. В сущности, они встречались

очень редко и не виделись уже довольно давно.

Первым заговорил лорд Вэллис: - Итак, мой милый, чем ты теперь намерен заняться? Я полагаю, мы сумеем провести тебя в парламент по нашему округу, если ты этого пожелаешь.

- Благодарю вас, - ответил Милтоун. - Об этом я пока не думаю.

Сквозь дымок сигары лорд Вэллис присматривался к длинной фигуре, утонувшей в кресле напротив.

- Почему же? - спросил он. - Чем раньше начать, тем лучше. Разве только ты хочешь отправиться вокруг света?

- Прежде чем утвердиться в свете?

Лорд Вэллис смущенно улыбнулся.

- Политика не требует специальной подготовки, всю эту премудрость можно превзойти мимоходом, - сказал он. - Сколько тебе лет?

- Двадцать четыре.

- Ты выглядишь старше. - Слабая морщинка прорезалась у него меж бровей: мерещится ему или в самом деле на губах Милтоуна змеится усмешка?

- Может быть, это и глупо, - произнесли эти губы, - но я считаю, что сперва следует изучить положение вещей. Чему я и намерен посвятить по меньшей мере пять лет.

Лорд Вэллис высоко поднял брови.

- Пустая трата времени, - сказал он. - Если ты войдешь в парламент сейчас же, ты через пять лет будешь все знать куда лучше. Ты слишком серьезно к этому относишься.

- Без сомнения.

Долгую минуту лорд Вэллис не находил ответа; он был несколько задет. Дождавшись, пока обида утихнет, он сказал:

- Что ж, мой милый, как тебе угодно.

Милтоун обучался профессии политика в трущобах; в имениях отца; изучая право; путешествуя по Германии, Америке и британским колониям; участвуя в предвыборных кампаниях; дважды он безуспешно пытался найти избирателей, которые не отступались бы от своих убеждений. Он много читал - медленно, но добросовестно и упорно: поэзию, историю, труды по философии, религии, социальным проблемам. К беллетристике, особенно иностранной, он был равнодушен. Больше всего он желал избежать узости и предвзятости

и, однако, впитывал лишь то, что отвечало потребностям его натуры, бессознательно отвергая все, что могло как-то охладить жар его верований. Все, что он читал, лишь подкрепляло самые заветные его убеждения - плод его натуры. Презрение к мишурному блеску и пошлым забавам, которыми тешат себя богатство и знатность, соединялось у него со смиренной, но все растущей уверенностью в своей способности первенствовать, в своем духовном превосходстве над теми, чьему благу он желал служить. Бесспорно, у Милтоуна не было ничего общего с заурядными фарисеями, он был прост и прям; но его взгляд, жесты, весь его облик говорили о том, что есть в этом человеке некий тайный источник уверенности, колодец, глубин которого не потревожат никакие вспышки. Он был не лишен чувства юмора, но начисто лишен способности обратить это чувство на себя и подметить что-либо смешное в себе самом. Мир со всем, что в нем есть, представлялся Милтоуну в виде стрел, даже когда в действительности это были круги. Он словно не понимал, что вселенная в равной мере состоит из обоих этих символов, и никто еще пока не знает, как их примирить.

Таков он был к тому времени, когда член палаты общин от его родного округа был произведен в пэры.

Милтоун дожил до тридцати лет, но ни разу еще не был влюблен и жил в каком-то ожесточенном целомудрии, которому изменял лишь однажды. Женщины его боялись. И он, видимо, тоже их побаивался. В теории женщина была слишком прекрасной и манящей - словно молодой месяц в летнем небе; а в действительности оказывалась слишком слащавой или слишком грубой. Он был привязан к Барбаре, своей младшей сестренке, но мать, бабушка и старшая сестра Агата никогда не были ему близки. Забавно было видеть леди Вэллис рядом с ее первенцем. Ее осанистая фигура, цветущее лицо, серо-голубые глаза, в которых вдруг вспыхивали искорки озорного смеха, - все это в присутствии Милтоуна начинало казаться нелепым и неестественным. Наделенная отменным здоровьем и величайшей непосредственностью, она привыкла говорить все, что придет в голову, и не чужда была мыслей и выражений почти рискованных. Никогда, даже в раннем детстве, Милтоун не баловал ее своим доверием. Она не сердилась на него за это: такие душевно и физически крупные, щедро одаренные природой люди редко

огорчаются и редко чувствуют себя униженными в чьих бы то ни было глазах, даже в своих собственных; с людьми же из касты леди Вэллис этого не бывает никогда. Милтоун - странный мальчик и всегда был странный, только и всего! Но, вероятно, ничто так не смущало леди Вэллис, как его неумение держать себя с. женщинами. Оно казалось ей противоестественным, так же как иные, должным образом замаскированные поступки мужа и младшего сына были, на ее взгляд, вполне естественны. Именно это чувство помогло ей, вечно погруженной в водоворот политики и светской жизни, с неожиданной ясностью понять, чем грозит Юстасу дружба с женщиной, осторожно упомянутой в письме под именем Незнакомки.

Дружба эта завязалась совершенно случайно. В декабре один из арендаторов упал с лошади и разбился насмерть; зайдя вечером на его ферму, Милтоун застал вдову, обезумевшую от горя, еле прикрытого сдержанностью человека, который почти потерял способность выразить то, что чувствует, и окончательно потерял ее в присутствии "господ". Милтоун уверил несчастную, что никто ее на улицу не выгонит, и, выходя, столкнулся на каменном крыльце с женщиной в меховом жакете и меховой шапочке; она держала на руках плачущего малыша с рассеченным до крови лбом. Милтоун взял у нее мальчика, отнес в комнату - и тут, подняв глаза, увидел прелестное лицо, полное печали и нежности. Он спросил ее, надо ли сказать матери. Она покачала головой:

- Не будем тревожить бедняжку; сначала займемся ребенком.

Они вместе промыли и перевязали рану. Потом она поглядела на Милтоуна, словно говоря:

"А теперь скажите ей, у вас это выйдет лучше".

Он сказал матери о случившемся, и незнакомка вознаградила его мимолетной улыбкой.

Он запомнил ее имя - Одри Ли Ноуэл, и прекрасное лицо под беличьей шапочкой все стояло у него перед глазами. Через несколько дней, проходя деревенским выгоном, он увидел, как она открывает калитку сада. Воспользовавшись случаем, он спросил, не нужно ли перекрыть крышу ее домика; последовал осмотр крыши и завязался разговор, который он не спешил окончить. Для Милтоуна, привыкшего лишь к женщинам своего круга, где даже лучших, при всем их такте и непринужденности, лишенной всякого жеманства, великосветская

жизнь приучила к чрезмерной самоуверенности, в кроткой темноглазой миссис Ноуэл, живущей, видимо, вдали от света, в ее робкой прелести таилось невыразимое очарование. Так из зернышка случайной встречи быстро расцвела та редкая между замкнутыми людьми дружба, которая почти сразу заполняет их жизнь.

Однажды она спросила:

- Вероятно, вы обо мне знаете?

Милтоун кивнул. В самом деле, ему рассказывал о ней приходский священник:

- Да, я слышал, невеселая у нее судьба... развод.

- Вы хотите сказать, муж потребовал развода? Или...

Священник как будто замялся, но лишь на мгновение.

- Нет, нет! Я убежден, что виновна не она. Мне кажется, она прекрасная женщина; хотя, к сожалению, не часто посещает церковь.

Милтоуну, в котором уже пробудился рыцарский дух, этого было достаточно. И когда она спросила, известна ли ему ее судьба, мог ли он бередить ее рану? Что бы ни было там, в прошлом, уж, конечно, она ни в чем не виновата... В душе он уже творил ее облик, преображая живую женщину в воплощение своей мечты...

На третий вечер после столкновения с Куртье Милтоун снова сидел в маленьком белом домике, притаившемся за высокой садовой оградой. Крытый побуревшей соломой, нависшей над старинными, проложенными свинцом рамами, он, казалось, прятался от всего мира в кустах роз. Позади застыли, словно на страже, две сосны, распластав темные ветви над пристройками, и, едва поднимался юго-западный ветер, принимались угрюмо жаловаться друг другу на непогоду. Сад окаймляли высокие кусты сирени, а на соседнем поле вздыхала и шелестела листвой старая липа; в безветренные дни там слышалось дремотное жужжание несчетного множества золотистых пчел, облюбовавших эту зеленую гостиницу.

Он застал Одри за переделкой платья; она склонилась над шитьем на свой особый, милый лад, словно чувствуя, что все вокруг - платье, цветы, книги, ноты - равно ждет ее внимания.

Милтоун пришел усталый после долгого дня предвыборных хлопот, расстроенный неудачей: на двух собраниях ему даже не дали договорить. Один вид Одри, ее мягкий, полный сочувствия голос

удивительно успокаивали его; потом она села за фортепьяно, а он расположился в удобном кресле и слушал.

Над холмом, в небе цвета серых ирисов, медленно всходила полная луна, подобная печальному лицу Пьеро. И Милтоун, точно околдованный, не мог отвести глаз от этого погасшего светила, плывущего по серебрящемуся небосводу.

Над вересковой пустошью колыхался легкий туман; деревья, будто стадо на водопое, ушли по колено в его белую пелену; а над ними разливалось смутное сияние, словно в это море тумана дождем низвергалась лунная пыль. Потом луна скользнула за липу и в иссине-черном узоре ее ветвей повисла на небе огромным китайским фонарем.

И вдруг в окно, смяв мелодию, ворвались улюлюканье и крики. Они нарастали, потом затихли было и вновь усилились.

Милтоун поднялся.

- Чары разрушены, - промолвил он. - Я хотел бы кое-что сказать вам, миссис Ноуэл.

Она не шевелилась, руки ее спокойно лежали на клавишах, и он не договорил, охваченный восхищением.

- Сударыня! Милорд! - послышался в дверях испуганный голос. - Там, на выгоне, насмехаются над джентльменом!

ГЛАВА VI

Когда бессмертный Дон Кихот пустился потешать людей, за ним увязался еще только один шут. А Чарлза Куртье всегда сопровождали толпы, которые никак не могли понять этого чуждого корысти человека. Но хоть он и озадачивал своих современников, они не решались поднять его на смех, ибо им было доподлинно известно, что он и в самом деле умеет любить женщин и убивать мужчин. Перед таким человеком, весь облик которого к тому же дышал силой и отвагой, они не могли устоять. Сын оксфордширского священника, рыцарь безнадежных битв, он с восемнадцати лет странствовал по свету, не зная отдыха. Секрет его выносливости, вероятно, в том и заключался, что он вовсе не мнил себя странствующим рыцарем. В седле он чувствовал себя так же естественно, как прочие смертные за конторкой. На своих приключениях он не нажил капитала, ибо нрав у него был под стать его огненным волосам, которые людям казались пламенем, сжигающим все на своем пути. Пороки его были очевидны:

неизлечимый оптимизм; восхищение красотой столь сильное, что иной раз он забывал, в какую женщину больше всех влюблен; слишком тонкая кожа; слишком горячее сердце; ненависть к притворству и закоренелое бескорыстие. У него не было жены, но было много друзей и много врагов; тело его всегда было как клинок, готовый к бою, а душа раскалена добела.

Человек, участвовавший в пяти войнах, а теперь оказавшийся на стороне поборников мира, он был совсем не так непоследователен, как может показаться, ибо всегда сражался на стороне тех, кому грозит поражение, а сейчас, на его взгляд, никому так не грозило поражение, как поборникам мира. Он не был ни выдающимся политиком, ни красноречивым оратором, не умел говорить бойко, но спокойная язвительность его речи и горящие жарким пламенем глаза неизменно действовали на слушателей.

Однако во всей Англии не сыскать, пожалуй, другого такого уголка, где у проповеди мира было бы так мало надежды на успех, как в округе Баклендбери. Сказать, что Куртье восстановил против себя трезвых, независимых, флегматичных и в то же время вспыльчивых местных жителей, было бы неточно. Он оскорбил их лучшие чувства, возбудил в них глубочайшие подозрения. Они, хоть убей, не могли взять в толк, чего ему надо. В Лондоне из-за его приключений и книги "Мир - дело безнадежное" он был хорошо известен, но здесь о нем, разумеется, никто не слыхал, и его вторжение в эти края казалось просто смехотворным: не угодно ли, возвышенная идея вмешивается в простые и ясные факты! Идея, что государства должны и могут жить в мире, конечно, весьма возвышенная, но ведь на самом деле никакого мира никогда не бывало - это так просто и ясно!

В Монклендском избирательном округе, который целиком входил в поместье Карадоков, естественно, почти никто не поддерживал противника Милтоуна, мистера Хэмфри Чилкокса; и любопытство, с которым поначалу встретили поборника мира, вскоре перешло в насмешки, а там и в угрозы, пока наконец поведение Куртье не стало столь вызывающим, а речи столь язвительными, что от расправы его спасало лишь вмешательство приходского священника.

А ведь когда он вначале выступал перед ними с речами, он чувствовал к ним величайшую симпатию. Какой отличный, независимый народ! Они сразу пришлись ему по душе, хотя Куртье и

знал, что непопулярные идеи большинство всегда встречает в штыки; о каждом человеке в отдельности он был лучшего мнения и не ждал, что тот непременно присоединится к этой зловещей части человечества.

Конечно же, такой славный независимый народ не может попасться на удочку ура-патриотов! Но ему пришлось испытать еще одно разочарование. Он не пожелал сдавать позиции без боя, и аудитория тоже не пожелала. Они разошлись, ничего не простив друг другу, и встретились снова, ничего не забыв.

В деревенском трактире, небольшом белом строении, узкие окошки которого оплела повилика, была одна-единственная спальня наверху да маленькая комната, где Куртье обедал. Все остальное помещение занимала распивочная с каменным полом и длинной деревянной скамьей вдоль задней стены, где по вечерам текла неторопливая беседа; порою кто-нибудь поднимался и выходил, не очень твердо держась на ногах, провожаемый дружными пожеланиями "спокойной ночи", приостанавливался под ясенями, раскуривая трубку, потом неспешно отправлялся восвояси.

Но в этот вечер, когда деревья, точно стадо, стояли по колено в лунной пыли, те, кто выходил из трактира, не разбредались по домам; они медлили в тени, к ним присоединялись другие, которые крадучись пробирались позади трактира через освещенное луной пространство. Люди подходили из узких улочек, из-за кладбища, и вскоре под ясенями столпилось уже человек тридцать, а то и больше; говорили вполголоса, и в этом бормотании чувствовался редкостный привкус недозволенной радости. В глубокой тени деревьев, перед темным трактиром, где светилось одно лишь окно, а за ним что-то читал нараспев мужской голос, казалось, потихоньку закипало какое-то бесовское веселье. Слышался приглушенный смех, негромкий говор:

- Небось, речи учит.

- Выкурим старую лису из норы!

- Красный перец - самое подходящее! - Вот уж начихается!

- Дверь-то мы приперли!

Потом в освещенном окне показался человек, и тут тишину нарушил взрыв грубого хохота.

Видно было, что стоящий у окна отчаянно пытается выломать перекладину. Смех перешел в улюлюканье. Наконец узнику это

удалось, он прыгнул вниз, поднялся, шатаясь, и упал.

- Что здесь такое? - раздался властный окрик. По толпе пронесся шепот: "Его светлость!" - и все, толкаясь, кинулись врассыпную.

В тени под ясенями сразу стало пусто, виднелась лишь высокая темная фигура мужчины и светлый женский силуэт.

- Это вы, мистер Куртье? Вы ранены?

Лежавший на земле засмеялся.

- Только вывихнуто колено. Болваны! Но они меня чуть было не удушили.

ГЛАВА VII

В тот же вечер Берти Карадок, направляясь из курительной комнаты в спальню, завернул в георгианский коридор, где висел его любимый барометр. Все свободное время Берти зимой отдавал охоте, а летом - скачкам, и у него вошло в привычку перед сном взглянуть на стрелку.

В высокородном Хьюберте Карадоке, только еще начинающем дипломатическую карьеру, полнее, чем в любом из ныне здравствующих Карадоков, воплотились все самые характерные и слабые и сильные стороны его рода. Он был хорошего роста, сухощавый, но крепкий. Волосы темные, гладкие; загорелое лицо с правильными, немного мелкими чертами исполнено живой решимости, скрытой под маской бесстрастия. Пытливые светло-карие глаза прикрыты по-монашески полуопущенными веками. Сдержанность была у него в крови, и велико должно было быть его волнение, чтобы глаза эти раскрылись во всю ширь. Нос был тонкий, точеный. Губы под темными усиками едва приоткрывались, когда он говорил, а говорил он странно глухим голосом и при этом неожиданной скороговоркой. То был человек практический, волевой, осторожный, находчивый, наделенный огромным самообладанием, жизнь для такого - точно верховая лошадь, которой даешь повод ровно настолько, чтобы она не вышла из повиновения. Он ни в грош не ставил идеи, если их нельзя было тут же претворить в действие; был необыкновенно аккуратен; желал получить от жизни все, что возможно, но, если надо, мог быть и стоиком; при всей своей учтивости он всегда был готов постоять за себя; умел прощать лишь те слабости и сочувствовать лишь тем несчастьям, которые знал по

собственному опыту. Таков был в двадцать шесть лет младший брат Милтоуна.

Убедившись, что барометр не обещает перемен, он уже хотел подняться к себе, но тут в дальнем конце холла появились, держась под руки, три неясные фигуры. В Хьюберте, как всегда, заговорили любопытство и осторожность, и он подождал, пока они выйдут на свет; оказалось, что это Милтоун и один из лакеев ведут какого-то прихрамывающего человека, и Берти поспешил к ним.

- Вывихнули колено, сэр? Потерпите минуту! Чарлз, подайте стул.

Усадив незнакомца, Берти засучил на нем штанину и стал ощупывать колено. В руках его была доброта и ласка - сразу чувствовалось, что через них прошли суставы и сухожилия бесчисленных лошадей.

- Хм! Если я разок дерну, вытерпите? - спросил он. - Придержи его сзади, Юстас. Чарлз, сядьте на пол и держите ножки стула. А ну-ка!

Он взялся за вывихнутую ногу и дернул. Что-то щелкнуло, пациент скрипнул зубами.

- Молодцом, - сказал ему Берти. - На сей раз обойдемся без костоправа.

Братья проводили своего прихрамывающего гостя в комнату, выходящую в георгианский коридор и наскоро превращенную в спальню, и оставили его на попечение лакея.

- Что ж, - сказал Берти, прежде чем они разошлись по своим комнатам. С ним кончено, в этот раз он больше уже не станет тебе поперек дороги. А надо сказать, он не неженка!

О том, что под их кровом нашел пристанище Куртье, еще до завтрака сообщил Карадокам самый осведомленный член семейства, вменивший себе в обязанность знать все, что происходит в доме, и со всеми делиться своими познаниями. Как всегда, зайдя утром в комнату матери, Энн подняла голову, ухватилась обеими руками за свой поясок и сразу же начала докладывать:

- Дядя Юстас ночью привел какого-то человека, у него раненая нога, и дядя Берти ее поправил. Уильям говорит, что Чарлз сказал, что он сделал вот так - и все (она легонько ляскнула зубами). Он живет в трактире, Уильям говорит, очень узкая лестница, никак его было не

втащить. И если у него было вывихнуто колено, он будет долго ходить с палочкой. Можно мне идти к папе?

Агата, которой горничная расчесывала волосы, подумала: "Пожалуй, так низко носить пояс нездорово" - и сказала:

- Постой минутку.

Но Энн уже и след простыл; ее голосок доносился из соседней комнаты, где она что-то докладывала сэру Уильяму, который, судя по его кратким, приглушенным ответам, брился. Агата, как всегда, обрадовалась предлогу побыть лишнюю минуту с мужем, но когда она заглянула к нему, он был уже один; он сидел задумавшись, высокий, плотный, со степенным, малоподвижным лицом и недоверчивым взглядом, - человек скучноватый и ничем не примечательный для всех, кроме своей жены.

- Этот Куртье повредил ногу, - сказал он. - Не знаю, приятно ли будет твоей матушке приютить нашего врага.

- Но ведь он как будто свободомыслящий человек и довольно...

- Для Милтоуна совсем неплохо, что он очутился у нас, - не слушая ее, продолжал сэр Уильям.

- Что же, - вздохнула Агата. - Надо принять его как следует. Пойду скажу маме.

Сэр Уильям улыбнулся.

- Об этом позаботится Энн, - сказал он.

Энн уже заботилась об этом.

Сидя в оконной нише позади зеркала, перед которым леди Вэллис заканчивала свой туалет, она говорила:

Он упал из окна, потому что там был красный перец. Мисс Уоллес говорит, он заложник... А что такое заложник, бабушка?

Когда шесть лет назад леди Вэллис впервые услышала это обращение, она подумала: "О господи! Неужели я бабушка?" Это был удар; казалось, многому в жизни пришел конец; но трезвый женский героизм (ведь женщины куда быстрее мужчин мирятся с неизбежным) скоро пришел ей на помощь, и, не в пример мужу, теперь она уже нисколько этим не огорчалась. Однако она ничего не ответила внучке, отчасти потому, что, поддерживая беседу с Энн, совсем не обязательно было ей отвечать, а отчасти потому, что глубоко задумалась.

Человека покалечили! Разумеется, долг гостеприимства... тем более, что всему виной их же арендаторы! И все же принять с распростертыми объятиями человека, который явился сюда, чтобы восстановить всю округу против ее собственного сына, - это, пожалуй, уж слишком. Конечно, могло быть и хуже. Вдруг бы он оказался каким-нибудь радикалом из нонконформистов, они ведь просто невозможны! А этот мистер Куртье сам по себе довольно известен, занятная фигура. Надо позаботиться, чтоб он чувствовал себя как дома, покойно и удобно. Если взяться за это умело, у него можно выведать кое-что про ту женщину. Больше того, если она хоть что-нибудь понимает в людях его сорта, в которых всегда есть нечто от восточного благородства, их хлеб-соль обезоружит его как политического противника. Своим быстрым практическим умом леди Вэллис тотчас оценила все выгоды создавшегося положения, и хоть это был несчастный случай, она, при своей склонности во всем, что не шло уж очень вразрез с ее интересами и взглядами, находить "изюминку", повод для улыбки, и тут подметила забавную сторону.

В ее размышления ворвался голосок Энн:

- Теперь я пойду к тете Бэбс.

- Хорошо. Только сперва поцелуй меня.

Энн ткнулась своим дерзким носиком в мягкие улыбающиеся губы леди Вэллис.

Когда в тот день Куртье, опираясь на палку, вышел на площадку перед домом, он увидел, что навстречу ему по залитой солнцем лужайке к статуе Дианы важно шествуют три павлина. Птицы двигались с необычайным достоинством, словно их никогда в жизни ниоткуда не гоняли. Казалось, они твердо знают, что от них больше ничего и не требуется - только разгуливать здесь взад и вперед. За ними, сквозь высокие деревья, за поросшими вереском холмами, за манящими розоватыми полями, пастбищами и фруктовыми садами, виднелось далекое море. Дневной жар все одел опаловой дымкой, волшебным покрывалом, преобразившим все вокруг, так что прямоугольные стены и высокие трубы гончарни, расположенной в нескольких милях отсюда, напомнили Куртье какой-то старинный итальянский город-крепость. Оказавшись прикованным к этой галерее, он чувствовал себя престранно, ибо к Милтоуну, которого он дважды встречал у миссис Ноуэл, он не испытывал, несмотря на все

разногласия, никакой неприязни, а к его родным пока еще вообще ничего не испытывал. Окончив Вестминстерскую школу, он кочевал по разным странам, везде жил впроголодь и, в сущности, уже не ощущал связи с каким-либо классом или сословием. Ненавидеть аристократов потому лишь, что они аристократы, казалось ему так же дико, как по этой же причине их почитать. Его отношение к людям обычно определяли два главных свойства его натуры- любовь к приключениям и ненависть к тирании. Крестьянин, который бьет жену, хозяин потогонной мастерской, который выматывает все силы из рабочих, священник, который грозит пастве адом, пэр, который грубо самоуправствует в своих владениях, - все они были ему равно мерзки. В каждом человеке он видел прежде всего отдельную, не похожую на других личность, и лишь случайно тогда, уходя от миссис Ноуэл, бросил в лицо Милтоуну слова, причисляющие его к определенной касте. Сангвиник, привыкший к самому разнообразному обществу, живущий сегодняшним днем, он не знал приступов робости и злобы, свойственных нервным натурам. Веселая учтивость изменяла ему, лишь когда он сталкивался с тем, что считал проявлением низости или малодушия. В этих случаях, не столь уж редких, начинало казаться, что в груди у этого человека бушует самое настоящее пламя, а так как жар этот все же не мог до конца расплавить его панцирь стоика, на лице его появлялось совсем особенное выражение - какая-то спокойная, безнадежная и язвительная усмешка.

Оказавшись жертвой насилия, а затем пленником в стане врага, он глядел на все вокруг с неким веселым любопытством. Об этих Карадоках по всей округе отзывались неплохо. Между ними и их арендаторами отношения были самые добрые: говорили, что на их землях никто особенно не бедствует. Если они и не способствовали обогащению своих арендаторов, то во всяком случае поддерживали их благосостояние на известном уровне, довольно щедро помогали нуждающимся. Когда кому-нибудь надо было перекрыть крышу, ее перекрывали; когда человек становился стар и не мог больше работать, его не упрятывали в работный дом. В плохие годы - когда скот падал, или давал мало шерсти, или не родился хлеб - с фермеров брали меньше за аренду. Гончарня управлялась весьма либерально. И хотя лорд Вэллис был известен как приверженец политики "назад на землю", он отнюдь не поощрял людей селиться именно на его земле,

потому, разумеется, что, по его мнению, подобные поселенцы будут холить ее куда меньше, чем он, нынешний владелец. Он, видимо, был твердо в этом убежден, ибо нередко можно было видеть, как его агент понемножку прикупает землю.

Но ведь каждый замечает в жизни лишь то, что его интересует, - и рыцарь мира слушал болтовню о владельце Монкленда, наполовину лестную, наполовину осуждающую, вполуха, ибо, как уже говорилось, он был плохой политик и шел чаще всего своим собственным путем.

Он стоял на площадке, любуясь открывшимся ему видом, и вдруг услышал тоненький голосок: перед ним стояла девчурка в широкополой шляпе, решительно сдвинутой на затылок и потому ничуть не защищавшей темноволосую головку от солнца, и протягивала ему руку.

- Здравствуй, - ответил он, пожимая маленькую руку, и тут заметил, что широко распахнутые глаза уставились на его больное колено.

- Больно?

- Пустяки.

- Мой пони стер ногу. Сейчас бабушка его посмотрит.

- Вот как.

- Мне пора идти. Надеюсь, вы скоро поправитесь. До свиданья!

Потом появилась рослая краснощекая женщина, которая разглядывала его с видом благожелательно-лукавым. Светло-коричневое платье из жестковатой материи, казалось, слишком плотно облегало ее крупные бедра. Она была без шляпы, без перчаток, без всяких украшений, кроме колец и часиков в оправе из драгоценных камней, но на простом кожаном ремешке. Во всем ее облике чувствовалось нарочитое желание избегать всякой пышности.

Она подала ему красивую, но отнюдь не маленькую руку я сказала:

- Приношу вам свои глубочайшие извинения, мистер Куртье.

- Ну что вы!

- Надеюсь, вам здесь удобно. У вас есть все, что вам нужно?

- Больше, чем нужно.

- Такой безобразный случай! Но зато мы имеем удовольствие с вами познакомиться. Вашу книгу я, разумеется, читала.

И выражение ее лица словно договорило: да, неглупая книжка, занятная и читается с интересом. Но что за идеи! Вы сами прекрасно знаете, что они ни к чему не приведут... не должны привести.

- Вы очень любезны.

- Но я, конечно, отнюдь не разделяю ваших взглядов, - прибавила леди Вэллис резковато, словно почуяв за его словами затаенную усмешку. - По нынешним временам следует проповедовать воинские добродетели... тем более воину.

- Поверьте мне, леди Вэллис, воинские добродетели лучше предоставить людям с менее развитым воображением.

- Впрочем, политика вас ни капли не занимает, в этом я уж во всяком случае уверена, - ответила она, бросив на него быстрый взгляд. - Вы, кажется, знакомы с миссис Ноуэл? Какая прелестная женщина!

Но тут на площадке появилась молодая девушка. Она, видимо, возвращалась с прогулки верхом: на ней были сапожки и короткая широкая юбка. Глаза у нее были синие, волосы цвета тронутых осенью и пронизанных солнцем листьев бука собраны в тугой узел под фетровой шляпой. Высокая, длинноногая, она двигалась легко и быстро. Весь ее облик - лицо, фигура - излучал радость жизни, безмятежность, неосознанную силу.

- А, Бэбс! Моя дочь Барбара - мистер Куртье, - представила их леди Вэллис.

Он пожал протянутую ему с улыбкой руку в перчатке.

- Милтоун уехал в город, мама, - сказала Барбара. - Он дал мне поручение в Баклендбери, я поеду туда и могу привезти со станции бабушку.

- Возьми с собой Энн, а то она никому не даст покоя. И, может быть, мистер Куртье хочет проветриться. Как ваше колено, позволяет такую прогулку?

- Да, конечно, - ответил Куртье, любуясь девушкой. С тех пор, как ему исполнилось семь лет, он не мог смотреть на женскую красоту без нежности и легкого волнения; и, увидев девушку, красивее которой он, вероятно, не встречал, он готов был следовать за ней куда угодно. И что-то было в ее улыбке такое, словно она об этом догадывалась.

- Ну что ж, - сказала она. - Тогда поищем Энн.

После недолгих, но энергичных поисков Энн была найдена в автомобиле: чутье подсказало ей, что он скоро куда-то отправится и ее

долг - отправиться вместе с ним. Вскоре автомобиль двинулся, Энн сидела между ними в полном молчании, что случалось с ней лишь в минуты, когда жить было особенно интересно.

Оставив позади цветники, газоны и рощи поместья Монкленд, они точно перенеслись в иной мир, ибо сразу за последними воротами в конце западной подъездной аллеи перед ними открылся самый языческий пейзаж во всей Англии. В этом диком краю собирались на совет скалы, солнце, облака и ветры. Среди каменных глыб, что залегли, точно львы, на вершинах холмов, над которыми парили белые облака да их собратья - ястребы, витали души людей, живших тут в незапамятные времена. Здесь сами камни, казалось, не знали покоя в бесконечной смене форм, обличий, цвета, они точно поклонялись всякой неожиданности, не признавая никаких законов. Ветры, веющие над этим краем, и те сворачивали с пути, врывались в любую щель и трещину, чтобы люди, укрывшиеся под своим жалким кровом, не забывали о могуществе грозных богов.

Энн не замечала всех этих чудес, да и Куртье, пожалуй, тоже, - усиленно пытаясь примирить учтивость с желанием не отрывать глаз от хорошенького личика. "О чем думает эта двадцатилетняя девушка, самообладанию которой позавидовала бы любая сорокалетняя матрона?" - спрашивал он себя. Молчание нарушила Энн.

- Тетя Бэбс, это был не очень прочный домик, да?

Куртье взглянул в ту сторону, куда указывал ее пальчик. Подле каменного истукана, который, должно быть, владел этим холмом еще до того, как здесь появились люди из плоти и крови, виднелись развалины жалкого домишки. Лишь на одном углу еще держался клочок кровли, остальное стояло открытое всем непогодам.

- Глупо было строить тут дом, правда, Энн? Вот его и прозвали "Причуда Эшмена".

- А Эшмен живой?

- Не совсем... Видишь ли, это было сто лет назад.

- А почему он построил дом так далеко?

- Он ненавидел женщин, и... на него обвалилась крыша.

- Почему ненавидел женщин?

- Он был чудак.

- А что такое чудак?

- Спроси у мистера Куртье.

Под спокойным, испытующим взглядом девушки Куртье старался найти достойный ответ.

- Чудак, - сказал он, помедлив, - это человек вроде меня.

Послышался смешок, и он ощутил на себе бесстрастный, оценивающий взгляд Энн.

- А дядя Юстас чудак?

- Теперь вы знаете, мистер Куртье, какого о вас мнения Энн. Ты ведь очень уважаешь дядю Юстаса, правда, Энн?

- Да. - ответила Энн, глядя прямо перед собой.

Но взгляд Куртье устремлен был в сторону, поверх ее непокрытой головки.

С каждой минутой ему становилось все веселее. Эта девушка напоминала ему кобылку-двухлетку, которую он однажды видел в Аскоте, - ее шелковистая шерсть так и блестела на солнце, голова была высоко вскинута, глаза горели; то были ее первые скачки, и она вся дышала уверенностью в победе. Неужели девушка, сидящая рядом, - сестра Милтоуна? Неужели все четверо молодых Карадоков - дети одних и тех же родителей? Серьезный, аскетический Милтоун, живущий напряженной внутренней жизнью; кроткая домовитая Агата - образец добродетели; замкнутый, проницательный и непреклонный Берти и эта прямодушная, счастливая, победительная Барбара - какие они все разные! Автомобиль тем временем уже спускался по крутому холму мимо выстроившихся на окраине Баклендбери скромных вилл и серых домиков, где жили рабочие.

- Нам с Энн надо заехать в штаб-квартиру Милтоуна. Может быть, забросить вас во вражеский стан, мистер Куртье? Пожалуйста, остановитесь, Фрис.

Куртье еще не успел дать согласие, а автомобиль уже затормозил у дома, на котором энергичная надпись гласила: "От Баклендбери - Чилкокс!".

Куртье, прихрамывая, вошел в комнату, где помещалась штаб-квартира мистера Хэмфри Чилкокса и сильно пахло краской, а в душе его еще жили ароматы юности, амбры и тонкого сукна.

За столом сидели трое: старший, с серыми глазами-щелочками и щетинистой бородкой, в котором по каким-то неуловимым признакам безошибочно угадывался бывший мэр, тотчас встал и пошел ему навстречу.

- Мистер Куртье, я полагаю, - сказал он. - Рад вас видеть, сэр. Весьма сожалею, что вы стали жертвой насилия. Хотя в некотором роде это нам на пользу. Да, да. Это уж, знаете, против всяких правил. Не удивлюсь, если это подбавит нам две-три сотни голосов. Я вижу, вам порядком досталось.

Худощавый человек с тонкими чертами лица и вьющимися волосами тоже подошел к Куртье; в руках у него была газета.

- Но тут получилась одна неловкость, - сказал он. - Прочтите.

ОСКОРБЛЕНИЕ ПОЧТЕННОГО ГОСТЯ

ВЕЧЕРНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЛОРДА МИЛТОУНА

Куртье углубился в заметку.

Наступила зловещая тишина; ее нарушил человек с глазами-щелками.

- Кто-то из наших, должно быть, видел все собственными глазами, вскочил на велосипед и успел сообщить в редакцию, прежде чем номер сдали в печать. Они ничем не порочат эту леди... просто излагают факты. Но этого вполне достаточно, - прибавил он холодно. - По-моему, его песенка спета.

- Мы не виноваты, мистер Куртье, - смущенно сказал человек с тонким лицом. - Право, не знаю, что мы можем тут поделать. Мне это очень не по душе.

- Ваш кандидат читал это? - спросил Куртье.

- Нет еще, - вмешался третий. - Мы сами увидели газету всего час назад.

- Я бы ни за что не позволил этого, - сказал человек с тонким лицом. Я крайне возмущен редактором.

- Но послушайте, - сказал человек с глазами-щелочками, - это же обыкновенная газетная заметка. Если она и наделает шуму, мы тут ни при чем. Газета никого ни в чем не обвиняет. Она сообщает факты. Вся суть в семейном! положении этой особы. Мы ничем не можем помочь, а что до меня, сэр, я бы и не хотел помогать. У нас тут, слава богу, распущенность не в чести! - Это было сказано с чувством. Потом, заметив, какое у Куртье стало лицо, он спросил: - Вы знакомы с этой леди?

- Знал ее еще девочкой. И всякий, кто отзовется о ней дурно, будет иметь дело со мной.

- Уверяю вас, мистер Куртье, я всецело на вашей стороне, - сказал худощавый. - Мы не имеем никакого отношения к этой заметке. Это один из тех случаев, когда выигрываешь, сам того не желая. Очень неудачно, что она вышла на выгон вместе с лордом Милтоуном: вы же знаете, каковы люди.

- Все дело в заголовке, - сказал третий. - Они уж постарались, чтоб он бросался в глаза.

- Не знаю, не знаю, - упрямо пробормотал человек с глазами-щелками. Если лорд Милтоун желает проводить вечера в обществе одиноких особ, пусть пеняет на себя.

Куртье обвел взглядом всех троих.

- Больше я вам в этих выборах не помощник, - сказал он. - Где эта редакция? - И, не дожидаясь ответа, схватил газету и вышел из комнаты. За дверью он остановился на минуту, нашел адрес и заковылял по улице.

ГЛАВА VIII

Барбара сидела в автомобиле рядом с Энн, удобно откинувшись на подушки. Хоть она уже вращалась в свете, а стало быть, успела кое-что повидать, в ее лице еще светился тот жадный интерес ко всему окружающему, которым так милы детские лица. Но на жителей Баклендбери она почти не обращала внимания, уже знакомая с тем странным, несколько забавным выражением, которое появлялось на их лицах в ее присутствии, - ибо они всячески старались показать, что им нет до нее дела, и все-таки исподтишка на нее поглядывали. Да, она уже ясно различала этот загадочный взгляд, свойственный ее соотечественникам, которым чужды цинизм, пессимизм и иные французские или русские затеи. Это и есть источник всех национальных добродетелей и пороков, идеализма и тупоумия, независимости и раболепства; двигатель всех поступков, убийца мысли; они всегда смотрят либо снизу вверх, либо сверху вниз, но только не прямо; это самая возвышенная, самая глубокомысленная, самая странная нация на свете, и она вечно одержима жаждой первенства.

Окруженная этими взглядами, Барбара ожидала Куртье и, сама истая дочь Британии, мысленно мерила своего нового знакомца тем же особенным взглядом. Ей тоже хотелось найти кого-то, на кого она могла бы смотреть снизу вверх, только этого от нее никто не

дождется! И в нашем странствующем рыцаре, казалось ей, она нашла то, что искала.

Он - существо из другого мира. Она встречала много мужчин, но он ни на кого не похож. Приятно быть в обществе умного человека, который к тому же много бродил по свету и сам участвовал в стольких рискованных предприятиях. Обыкновенные писатели или даже представители богемы, с которыми ей случалось сталкиваться, были, в конце концов, всего лишь "придворными мудрецами", которые нужны затем, чтобы аристократы знали, куда идут литература и искусство. А этот Куртье - человек действия; на него нельзя смотреть с тем снисходительным восхищением, которое вызывают люди, примечательные лишь своими идеями и умением воплотить их в слове или красках. Он уже не раз обнажал меч и умел обнажить его даже в защиту мира. Он умел любить и не раз любил, во всяком случае, так говорят.

Будь Барбара девушкой другого круга, она в свои двадцать лет об этом, вероятно, не услышала бы, а если б и услышала, ужаснулась бы или возмутилась. Но она слышала и не возмущалась, ибо успела узнать, что уж таковы мужчины, а подчас и женщины.

Она увидела, как он ковыляет к автомобилю, и у нее дрогнуло сердце; дождавшись, пока он усядется, она бросила шоферу: "На станцию, Фрис. Побыстрей, пожалуйста!" - и сказала:

- На вас совершенно нельзя положиться. Куда вы ходили?

Но Куртье не ответил, только хмуро улыбнулся ей через голову Энн.

Едва ли не впервые в жизни встретив прямой отпор, Барбара вспыхнула, как от удара хлыстом. Губы ее плотно сжались, в глазах заплясали недобрые огоньки. "Хорошо же, мой милый", - подумала она. Но через минуту, взглянув на него, увидела на его лице такое странное выражение, что тут же забыла о своей обиде.

- Что-нибудь случилось, мистер Куртье?

- Да, леди Барбара, случилось... а все эта мерзкая, подлая штука - язык человеческий.

Безошибочное чутье всегда подсказывало Барбаре, как себя вести в трудные минуты; это было особое хладнокровие, почерпнутое из выражения лиц, которые она наблюдала, из разговоров, которые

слышала с самого детства. Она верила своему чутью и, обменявшись с Куртье взглядом поверх головки девочки, сказала:

- Это имеет отношение к миссис Эн.?.. - И, прочитав в его глазах "да", быстро прибавила: - И к Эм.?

Куртье кивнул.

- Так я и знала, что пойдут сплетни. Ну и пусть! Что за важность!

- Верно! - бросил он, и в его взгляде она уловила одобрение.

Но тут автомобиль подъехал к вокзалу.

По лицу маленькой женщины в серому выходящей из дверей, почти незаметно было, что позади у нее долгий путь. Она остановилась и внимательно оглядела всех сидевших в автомобиле, от шофера до Куртье.

- Как дела, Фрис?.. Мистер Куртье, не так ли? Я знакома с вашей книгой и не одобряю вас, вы опасный человек... Здравствуйте. Мне нужны вот эти два чемодана. Остальные довезут потом... Вы сядьте впереди, Рэндл, да смотрите не пропылитесь, Энн!

Но Энн уже сидела рядом с шофером, она давно метила на это место.

- Хм! У вас болит нога, сэр? Сидите, сидите. Мы поместимся втроем... Ну вот, дорогая, теперь я могу тебя поцеловать. Ты еще выросла!

Поцелуй леди Кастерли был не из тех, которые забываются; поцелуй Барбары, пожалуй, тоже. И, однако, они были ничуть не похожи. Живые, зоркие старческие глаза облюбовали местечко; лицо с упрямым подбородком устремилось вперед; на мгновение сухие, жесткие губы застыли, словно желая убедиться, что не ошиблись направлением, потом с силой впились в самую серединку розовой щеки, дрогнули, словно вспомнив, что надо быть мягкими, и отскочили, точно резинка рогатки. А у Барбары блеснули глаза, потом голова чуть запрокинулась, губы слегка выпятились, все тело чуть дрогнуло, словно вырастая, волна волос всколыхнулась, раздался тихий, нежный звук, и все было кончено.

Поцеловав бабушку, Барбара опустилась на свое место и взглянула на Куртье. Они расположились втроем на заднем сиденье, Куртье касался ее плечом, - и, кажется, это его ничуть не огорчало.

Поднялся ветер, он дул с запада и словно весь был пронизан солнцем. Автомобиль мчался по дороге, а вокруг - словно бы чуть

отрывистей всегдашнего - куковали кукушки и ветер доносил сквозь листья молодого папоротника пряный аромат корней вереска.

Тонкие ноздри леди Кастерли раздувались, вдыхал этот аромат, и вся она была похожа на маленькую, изящную перепелку.

- У вас тут недурной воздух, - сказала она. - Да, мистер Куртье, пока я не забыла... кто такая эта миссис Ноуэл, о которой я наслышана?

При этих словах Барбара не могла не покоситься на своего соседа. Как-то он устоит перед натиском бабушки? Сейчас будет видно, из какого он теста. Бабушка - страшный человек!

- Она очаровательная женщина, леди Кастерли.

- Без сомнения. Я только это и слышу. Что у нее там за история?

- А у нее есть история?

- Ха! - фыркнула леди Кастерли.

Барбара еле ощутимо коснулась локтя Куртье. До чего же приятно, что бабушку осадили!

- Значит, у нее все-таки есть прошлое?

- Я этого не говорил, леди Кастерли.

И снова Барбара незаметно, с одобрением коснулась его локтя.

- Что-то уж очень все таинственно. Придется мне самой разузнать. Ты с ней знакома, моя милая. Вот и поведешь меня к ней.

- Бабушка, дорогая! Не будь у людей прошлого, у них бы не было и будущего.

Маленькой рукой, похожей на птичью лапу, леди Кастерли легонько похлопала выучку по колену.

- Не болтай вздор. И не вытягивайся больше, ты и так чересчур высокая.

К обеду все были уже осведомлены о случившемся. Сэр Уильям услыхал новость от агента из Ставертона, где речь лорда Харбинджера не раз прерывали ехидными выкриками. Достопочтенный Джефри Уинлоу, отправив жену вперед, прилетел на своем биплане из Уинкли и захватил с собою газету. Из всех присутствовавших на семейном обеде только лорд Деннис Фитц-Харолд, брат леди Кастерли, еще ничего не знал.

Говорили об этом, разумеется, немного. Но едва женщины удалились, Харбинджер со свойственными ему прямотой и непосредственностью, столь неожиданными при его типично

английской наружности, а быть может, даже чуть нарочитыми, заявил, что если они не придушат этот слух, Милтоун кампанию проиграл. Дело очень серьезное! Те подлецы не так глупы и теперь выжмут из этого случая все, что только можно. А Милтоун, как назло, зачем-то укатил в Лондон. Черт знает, что за каша заварилась!

Харбинджеру всегда была присуща особая интонация, словно он боялся, как бы его не заподозрили в излишней серьезности, - эта интонация и манера держаться могут противостоять всему, кроме насмешки, а перед насмешкой совершенно бессильны. И когда в комнате прозвучало ироническое: "Какая именно, мой юный друг?" - он тотчас умолк.

Если кто-либо пожелал бы найти достойное дополнение к леди Кастерли, он, вероятно, выбрал бы ее брата. Неизменная насмешливая учтивость лорда Денниса была прямой противоположностью ее крутому нраву. Его голос, взгляд, повадка были под стать его бархатной куртке, кое-где серебристо поблескивающей, точно обрызганной лунным светом. И волосы его тоже поблескивали серебром. Тонкое, изящное лицо обрамляли белая бородка и усы, подстриженные по моде елизаветинских времен. Карие глаза, все еще ясные, глядели на мир прямо и открыто, со сдержанной добротой. Лицо его, хоть и не обветренное, не изборожденное следами бурь, с кожей удивительно нежной и тонкой, странно напоминало лицо старых матросов и рыбаков, что весь свой век жили простой трудовой жизнью, по раз и навсегда заведенному порядку. То было лицо человека с неизменными убеждениями, склонного относиться иронически ко всяким новшествам, которые он уже полвека назад изведал и решительно отверг. В нем угадывался разум, не лишенный тонкости и не чуждый понимания красоты, но давно уже отказавшийся от попыток подчинить себе чувства; угадывалось, что на смену проницательности в вопросах отвлеченных пришла проницательность в делах практических, основанная на трезвом жизненном опыте. Он не умел выставлять себя напоказ - черта, вполне естественная в человеке, который настолько преисполнен чувства собственного достоинства, что вовсе о нем не заботится, - а кроме того, долгие годы был предай некоей даме сердца, и только ее смерть оборвала эту преданность: вот почему он всю жизнь, так сказать, оставался в тени. И, однако, он был известен своим

необыкновенно трезвым умом, благодаря чему пользовался своеобразным влиянием в обществе. Впрочем, его мнения спрашивали лишь в самых крайних случаях. "Совсем дела плохи? Что ж, есть еще старик Фитц-Харолд! Сходите к нему! Советов от него не ждите, но что-нибудь он да скажет".

И непочтительному молодому лорду Харбинджеру стало как-то не по себе. Не слишком ли вольно он выражался? Не хватил ли через край? Он совсем забыл про старика! Подтолкнув ногой Берти, он пробормотал:

- Я совсем упустил из виду, сэр, что вы еще не знаете. Берти вам объяснит.

Призванный, таким образом, высказаться, Берти устремил на двоюродного деда взгляд из-под полуопущенных век и, еле шевеля губами, начал объяснять:

- Тут в коттедже живет одна леди... очень милая женщина... Мистер Куртье с ней давно знаком... Милтоун бывает у нее... В тот вечер он немного засиделся... Ну, этот народец и раздувает пустячный случай... намекает... Если не принять меры, Милтоун потерпит поражение. Вздор, разумеется.

Берти считал, что Милтоуну никакие искушения не страшны, а все же он свалял дурака, позволив этой женщине выйти с ним на выгон, когда кинулся выручать Куртье, - теперь всем ясно, где он проводил вечер. Этого делать нельзя, когда имеешь дело с женщиной, о положении которой никто ничего толком не знает.

Все молчали. Наконец Уинлоу сказал:

- Как же быть? Вызвать Милтоуна телеграммой? Такие слухи распространяются, как лесной пожар!

Сэр Уильям, всегда готовый к худшему, выразил опасение, что неприятностей не миновать. Харбинджер сказал, что редактору газеты надо бы задать хорошую трепку. А не знает ли кто, как принял новость Куртье? Где он, кстати? Обедает у себя в комнате? Берти заметил, что если Милтоун сейчас в лондонском особняке, ему еще, может быть, не поздно послать телеграмму. Скандал надо задушить в Зародыше! И во всех этих разговорах проскальзывало вполне естественное для родовитых молодых людей нетерпеливое желание отнестись к случившемуся просто как к возмутительной дерзости и, образно говоря, дать негодяям по руками

Опять наступило молчание, и на сей раз его нарушил лорд Деннис.

- Мне жаль бедную женщину.

Харбинджер резко повернулся в сторону этого бесстрастного, учтивого голоса, но к нему тут же вернулось самообладание, которое так редко ему изменяло, и он поддакнул:

- Вот именно, сэр, вы совершенно правы.

ГЛАВА IX

В маленькой гостиной, куда обычно уходили дамы, когда приглашенных было немного, миссис Уинлоу подсела к фортепьяно и стала тихонько перебирать клавиши, так как леди Кастерли и леди Вэллис с обеими дочерьми не слушали ее, сбившись в кучку и словно объединившись перед лицом надвигающейся беды сплетни.

Любопытное обстоятельство, характеризующее Милтоуна: ни здесь, в гостиной, ни в столовой никто не усомнился в чистоте его отношений с миссис Ноуэл. Но там все случившееся казалось важным лишь с точки зрения выборов, здесь же успели понять, что выборы далеко не самое главное. Безошибочное чутье, которым женщины мгновенно постигают все, что касается их мужей, сыновей и братьев, уже подсказало им, что такого человека, как Милтоун, подобная сплетня накрепко свяжет с его Незнакомкой.

Но они ступали по такой тоненькой корочке фактов, а под ней лежала столь глубокая трясина догадок и предположений, что говорить об этом было мучительно трудно. Вероятно, никогда еще ни бабушка, ни мать, ни сестры так ясно не понимали, какое большое место занимает в их жизни этот странный, непонятный Милтоун. Все они старались подавить тревогу, но она все же прорывалась у каждой на свой лад. Леди Кастерли сидела в кресле очень прямо, и только еще более решительная, чем обычно, речь, беспокойное движение руки да непривычная складочка меж бровей выдавали ее волнение. У леди Вэллис вид был озадаченный, точно она сама удивлялась своей серьезности. Лицо Агаты выражало откровенную озабоченность. Женщина тихая, но с характером, она наделена была тем прирожденным благочестием, что без всяких сомнений приемлет общепризнанную мораль и догматы церкви. Весь мир для нее ограничивался домом и семьей, а все, в чем ей чудилась угроза этому средоточию ее попечений, внушало ей неподдельный, хоть и

сдерживаемый ужас. Ее считали заурядной, скучноватой и недалекой - точь-в-точь наседка, которая вечно квохчет над своими цыплятами. Но была в ней и героическая жилка, только это не бросалось в глаза. Однако она была искренне огорчена положением, в котором очутился брат, и ничто не могло ее отвлечь или утешить. Ему грозила опасность как будущему мужу и отцу, а в жизни мужчин только эта сторона и была ей понятна. Именно эта угроза пугала ее больше всего, хотя она и понимала, что гибель грозит и его душе, ибо разделяла взгляды церкви на нерасторжимость брака.

Барбара стояла у камина, прислонясь белыми плечами к резному мрамору, заложив руки за спину и опустив глаза. Время от времени ровные брови ее подергивались, губы вздрагивали, с них слетал легкий вздох, а потом на мгновение вспыхивала тотчас подавляемая улыбка. Она одна не принимала участия в разговоре - юность познавала жизнь; и о мыслях ее можно было судить по тому, как ровно дышала ее юная грудь, досадливо хмурились брови, по опущенным долу синим глазам излучавшим тихое неугасимое сияние.

- Будь он такой, как все! - со вздохом сказала леди Вэллис. - А то ведь он способен жениться на ней просто из духа противоречия.

- Что?! - вырвалось у леди Кастерли.

- Вы ее не видели, дорогая. Она, к несчастью, очень привлекательна... такое прелестное лицо.

- По-моему, мама, если развода потребовал муж, Юстас на ней не женится, - тихо сказала Агата.

- Вот это верно, - пробормотала леди Вэллис. - Будем надеяться на лучшее!

- Неужели вы даже не знаете, кто требовал развода? - спросила леди Кастерли.

- Видите ли, священник говорит, что развода требовала она. Но он слишком добрая душа; быть может, Агата не зря надеется!

- Ненавижу неопределенность. Почему никто не спросят ее самое?

- Вот вы пойдете со мной, бабушка, и спросите ее; лучше вас никто этого не сделает.

Леди Кастерли подняла глаза.

- Там видно будет, - сказала она.

Когда она смотрела на Барбару, ее строгий, оценивающий взгляд смягчался. Как и все прочие, она не могла не баловать Барбару. Она верила, что ее сословие избрано самим богом, и любила Барбару, как воплощение совершенства. И хоть ей несвойственно было кем-либо восхищаться, она даже восхищалась жаркой радостью жизни, которой дышала Барбара, точно прекрасная нимфа, что рассекает волны обнаженными руками, не страшась пенных бурунов. Леди Кастерли чувствовала, что в этой ее внучке, а не в добродетельной Агате живет дух древних патрициев. Агате нельзя отказать в добродетели, в твердости нравственных устоев, но есть в ней какая-то ограниченность, что-то чуточку ханжеское. Это коробило практическую и искушенную леди Кастерли. Ведь это знак слабости, а слабость она презирала. Вот Барбара не будет слишком щепетильна в вопросах морали, если речь идет не о чем-то существенном для аристократии. Скорее уж она ударится в противоположную крайность - просто из озорства. Сказала же дерзкая девчонка: "Если бы у людей не было прошлого, у них не было бы будущего". Леди Кастерли не выносила людей без будущего. Она была честолюбива, но это было не жалкое честолюбие выскочки, а благородная страсть человека, который стоит на вершине и намерен остаться там.

- А ты где встречалась с этой... м-м... Незнакомкой? - спросила она.

Барбара отошла от камина и склонилась над креслом леди Кастерли.

- Не бойтесь, бабушка. Она меня не совратила с пути истинного.

Лицо леди Кастерли выражало и неодобрение и удовольствие.

- Знаю я тебя, плутовка! - сказала она. - Ну, рассказывай.

- Мы встречаемся то тут, то там. На нее приятно смотреть. Мы болтаем.

- Дорогая Бэбс, тебе, право, не следовало так торопиться, - вставила своим тихим голосом Агата.

- Но почему, ангел мой? Да будь у нее хоть четыре мужа, мне-то что?

Агата закусила губу, а леди Вэллис проговорила сквозь смех:

- Ты просто невозможиа, Бэбс.

Но тут фортепьяно смолкло: в комнату вошли мужчины. И лица четырех женщин сразу застыли, словно они надели маски: хоть здесь

были, в сущности, только свои (чета Уинлоу тоже состояла в родстве с Карадоками), все же леди Кастерли, ее дочь и внучки, каждая по-своему, чувствовали, что общий разговор на эту тему невозможен. Теперь беседа перекинулась с войны причем) Уинлоу уверял, что через неделю всем страхам будет положен конец, на речь, которую в это самое время произносил в палате Брэбрук, и Харбинджер тут же его изобразил. Потом заговорили о полете Уинлоу, о статьях Эндрю Гранта в "Парфеноне", о карикатуре на Харбинджера в "Насмешнике", подпись под которой гласила: "Новый тори. Л-рд Х-рб-ндж-р предлагает социальную реформу, не заслуживающую внимания его друзей"; на карикатуре он представлял почтенным старым леди в пэрских коронах голого младенца. Потом помянули некую балерину, билль о всеобщем страховании. Снова заговорили о войне; о последней книге известного французского писателя; и опять о полете Уинлоу. Говорили очень прямо, откровенно, словно бы именно то, что каждому приходило в голову. Но при этом странным образом умалчивали о внутреннем содержании обсуждаемых явлений; или, быть может, его просто не замечали?

В дальнем конце комнаты лорд Деннис разглядывал папку с гравюрами; неожиданно его поцеловали в щеку, повеяло знакомым ароматом, - и он сказал, не поворачивая головы:

- Прелестные гравюры, Бэбс.

Не получив ответа, он поднял глаза Конечно, рядом стояла Бэбс.

- Терпеть не могу, когда вот так смеются над человеком, за глаза.

Они стали друзьями еще в ту пору, когда маленькая золотоволосая Барбара на своем сером пони неизменно сопровождала его в утренних прогулках верхом. Дни верховой езды отошли в прошлое; из всех занятий под открытым небом лорду Деннису осталась лишь рыбная ловля, и он предавался ей с ироническим упорством человека замкнутого и мужественного, который не желает признавать, что над ним уже занесена таинственная рука Времени. И хотя Барбара больше не была его утренней спутницей, он по старой привычке ждал, чтобы она поверяла ему свои секреты, - но она отошла к окну, и он с тревожным удивлением посмотрел ей вслед.

Был один из тех темных и все же пронизанных загадочным мерцанием вечеров, когда, кажется, во всем мире разлито зло, когда звезды проглядывают меж черных туч, словно глаза, что гневно мечут

молнии на весь род людской. Даже в тяжком дыхании могучих дерев прорывалась злоба, и только одно не поддалось ей - темный островерхий кипарис; его посадили триста пятьдесят лет назад, и теперь он стоял непоколебимый, молчаливый - живое воплощение вековых традиций. Слишком замкнутый, стойкий и упорный, чтобы отзываться на властное дыхание природы, он лишь сдержанно шелестел ветвями. Он жил здесь века, но все казался чужаком, и теперь, разбуженный огненными взорами ночи, стоял суровый и заостренный, как копье, почти пугающий, словно в душе его что-то перегорело и умерло. Барбара отошла от окна.

- Мне кажется, нам ничего не дано совершить в жизни, мы только и можем делать вид, будто рискуем!

- Я как будто не уловил твою мысль, девочка, - сухо отозвался лорд Деннис.

- Вот хотя бы мистер Куртье, - негромко сказала Барбара. - Он постоянно рискует, как никто из наших мужчин. А ведь они над ним смеются.

- Давай посмотрим, что же он совершил?

- Ну, наверно, не так уж много, но он всегда все ставит на карту. А чем рискует тот же Харбинджер? Если из его социальной реформы ничего не выйдет, он останется все тем же Харбинджером, и у него будут те же пятьдесят тысяч годового дохода.

Лорд Деннис взглянул на Барбару чуть подозрительно.

- Вот как! Ты что же, не принимаешь этого молодого человека всерьез?

Барбара пожала плечами; бретелька соскользнула, еще больше обнажив белое плечо.

- У него все игра, и он сам это знает... Его выдает голос; чувствуется, что ему все безразлично. Конечно, он тут ничего не может поделать, и тоже сам это знает.

- Я слышал, он тобою очень увлечен. Это правда?

- Но меня он пока что никак не увлекает.

- А может быть, еще увлечет?

В ответ Барбара опять пожала плечами, - при всей их величавой красоте в этом движении было что-то от девочки в фартучке.

- А этот мистер Куртье... он тебя не увлекает? - спросил лорд Деннис.

- Я увлекаюсь всем на свете. Разве вы этого не знаете, дорогой?

- В пределах разумного, девочка.

- В пределах разумного, конечно... как бедный Юсти!

Она замолчала. Рядом с ней возник Харбинджер, и никогда еще на его лице не бывало выражения столь близкого к почтительности, как в эту минуту. По правде говоря, он смотрел на нее чуть ли не с робостью.

- Не споете ли вы тот романс, который я так люблю, леди Бэбс?

Они отошли вместе; и глядя вслед этой великолепной молодой паре, лорд Деннис в задумчивости погладил бородку.

ГЛАВА X

Неожиданный отъезд Милтоуна в Лондон был вызван решением, которое медленно зрело в нем с того часа, как он на каменном крыльце фермы Барракомбов впервые встретил миссис Ноуэл. Если она согласится - а со вчерашнего вечера он верил, что она согласится, - они поженятся.

Как уже говорилось, не считая одного-единственного грехопадения, Милтоун жил аскетам, но это вовсе не значит, что он не способен был на страсть. Совсем напротив. Глубоко затаенный огонь не мог разгореться, ему не хватало воздуха. Едва душа Одри коснулась его души - вспыхнуло пламя. Она была воплощением всего, о чем он мечтал. Ее волосы, глаза, фигура; ямочка в уголке рта, как раз там, куда младенец сует палец; ее движения, походка, она плавно, грациозно покачивалась, словно самый воздух нес ее; звук ее голоса, не то чтобы радостного, но словно выражавшего стремление нести радость другим; природный ум, может быть, и не выдающийся, но ясный, каким отличаются люди чуткие и отзывчивые, редкий у женщин честолюбивых или восторженных, - все это покорило Милтоуна. Он не только мечтал о ней и желал ее, он в нее верил. Он думал о ней непрестанно: вот женщина, которая никогда не поступит дурно, которая, став женой, останется любовницей, а став любовницей, всегда будет духовно близка. Как уже говорилось, при Милтоуне не судачили и не сплетничали о женщинах, и слух о ее разводе достиг его ушей в таком виде, что он не усомнился: обиженной и оскорбленной стороной была она. После разговора со священником он лишь однажды коснулся этой истории, и то в ответ на слова одной гостьи:

- О да! Я прекрасно помню этот случай. Это та несчастная женщина, которая...

- Которая ничего дурного не сделала, я уверен, леди Бонингтон.

Это было сказано таким тоном, что послышался чей-то смущенный смешок, и все тотчас заговорили о другом.

Милтоун был убежденный противник развода, но смутно понимал, что в иных случаях это единственный выход. Он был не из тех, кому открывают сердце, да и не ждал ни от кого откровенности. Он и сам никогда ни с кем не делился своими сомнениями и внутренней борьбой, а всякая иная борьба его мало интересовала. Он был готов в любую минуту жизнью своей поручиться за непогрешимость своего божества, так же просто и естественно, как заслонил бы ее своим телом от любой опасности.

Тот же фанатизм, что заставлял его смотреть на свою страсть, как на цветок, живущий сам по себе, независиюо от того, место ли ему в садах общества, гнал его теперь в Лондон - объявить о своем намерении отцу до того, как он скажет об этом миссис Ноуэл. Все должно быть сделано просто и по всем правилам, ибо он обладал нравственным мужеством, которое свойственно людям замкнутым, поглощенным своей внутренней жизнью. А может быть, тут проявилось не столько нравственное мужество, как безразличие к тому, что думают и делают другие, нежелание считаться с чьими бы то ни было чувствами.

При мысли о том, как примет новость отец, на губах его играла та же улыбка, что у кардинала времен Тюдоров, - в ней чувствовалась неколебимая уверенность в своих силах и насмешка; но вскоре он перестал думать о предстоящем разговоре и погрузился в работу, которую захватил с собой, ибо что очень важно для общественного деятеля - он отлично умел полностью переключать внимание с одного предмета на другой.

Приехав на Пэддингтонский вокзал, он тотчас направился в особняк Вэллисов.

Большой дом, украшенный портиком с колоннами, всем своим видом, казалось, выражал удивление, что он почти пустует в самый разгар сезона. Трое слуг приняли скромный багаж Милтоуна и, умывшись и узнав, что отец будет обедать дома, он пошел пройтись, а заодно навестить свою квартирку в Темпле. Высокий, несколько

небрежно одетый, он всем своим обликом, как всегда, обращал на себя внимание и, как всегда, не подозревал об этом. Шагая по улице, он размышлял о Лондоне, об Англии, не похожих на эту напыщенную суету, на это скопище, на эту разноголосицу резких и унылых звуков. Ему представлялся Лондон и вся Англия, подтянутая, исполненная чувства собственного достоинства; очищенная, избавленная от трущоб, плутократов, рекламы и доходных домов, построенных на скорую руку, от сенсаций, пошлости, порока и безработицы. В этой Англии каждый будет знать свое место и верой и правдой служить своему сословию. И каждый, от дворянина до хлебопашца, будет аристократом по духу и джентльменом по своим поступкам. Эта деятельная, идеально устроенная Англия одним своим видом установит мир на земле. У этой Англии будет стоическая и прекрасная душа, ибо ее будут питать стоицизм и красота, заложенные в душах миллионов людей, ее населяющих; у ее городов будет свое кредо, а у селений свое, и воцарится всеобщее благоденствие, и не слышно будет никаких жалоб.

Он шел по Стрэнду, а под ногами у него вертелся маленький оборвыш и пронзительно выкликал:

- Кровавое преступление в банке!.. Неслыханная сенсация!..

Милтоун не слушал газетчика; но на него пахнуло ветром живой жизни, беспечный, удивительный, своевольный ветер этот развеял его очищенное от земной скверны видение. То был могучий ветер - его порождали мириады людских желаний, несчастные мольбы, возносимые к всесильной сенсации - богине случая и перемен. То был поток, струящийся от сердца к сердцу, из уст в уста, точно дыхание весны, что блуждает по лесу и делится с каждым деревом, с каждым кустиком тайнами возрождающейся жизни, страстной решимостью расти и стать все равно чем, но стать. Извечный вздох, точно немолчный ропот моря; его не приглушишь, и он всегда чреват бурей!

Сотни людей сновали по улице, но Милтоун едва ли замечал их; глазами веры он видел то, что желал увидеть. У собора св. Павла он остановился перед лавчонкой букиниста. Ее хозяину, маленькому, щуплому Уильяму Раймеллу, было хорошо знакомо это бледное, серьезное, не лишенное своеобразной красоты лицо, и он тотчас выложил на прилавок свое последнее приобретение - "Утопию" Томаса Мора. Это издание, уверял он, - величайшая редкость; за всю

свою жизнь он продал еще только один такой экземпляр, да и тот буквально рассыпался в руках. Этот сохранился куда лучше. Но и он проживет лет двадцать, не больше - подлинный экземпляр, выгодная покупка. Томас Мор теперь редко попадает на прилавок, не то что еще несколько лет назад.

Милтоун раскрыл книгу, и мирно спавшая крошечная книжная вошь медленно поползла внутрь, к корешку.

- Да, я вижу, что книга подлинная, - сказал Милтоун.

- Для чтения она не годится, милорд, - предостерег букинист. - Листы того и гляди рассыплются в прах. Я уж вам говорил, у меня не было ничего лучше за весь год. Можете мне поверить!

- Умный был мечтатель, - пробормотал Милтоун. - Социалисты по сей день только перепевают его.

Маленький книгопродавец смущенно заморгал, словно извиняясь за Томаса Мора.

- Так ведь он и сам был социалист. Я что-то не припомню, сведущи ли вы в политике, ваша светлость?

Милтоун улыбнулся.

- Я хочу видеть Англию примерно такой, Раймелл, о какой мечтал Томас Мор. Но я хочу действовать иным способом. Начну с верха.

Книгопродавец кивнул.

- Вот именно, вот именно. Думаю, мы к этому придем.

- Должны прийти, Раймелл, - сказал Милтоун и перевернул страницу.

На лице Раймелла выразилось страдание.

- Боюсь, что при вашем пристрастии к чтению эта книга для вас слишком ветхая, милорд. Есть у меня еще одна диковинка - о китайских храмах. Тоже редкость, но не слишком древняя. Вы можете читать ее, сколько душе угодно. Она из тех, которые никогда не надоедают, как раз на ваш вкус. Забавный у них был способ кладки - пластами, - прибавил он, указывая на одну из гравюр. - Мы в Англии так не строим.

Милтоун кинул на него острый взгляд, но лицо маленького человечка оставалось непроницаемым.

- К сожалению, нет, Раймелл. А следовало бы, и мы непременно будем так строить. Я возьму эту книгу.

И, коснувшись пальцем изображения пагоды на переплете, прибавил:

- Прекрасная эмблема.

Глаза маленького книгопродавца скользнули ниже, отыскивая под изображением храма условный значок - цену.

- Совершенно верно, милорд. Я так и думал, что эта книга вам придется по душе. Вам я отдам ее за двадцать семь шиллингов шесть пенсов.

Милтоун положил покупку в карман и распростился. Он прошел к себе в Темпл, оставил книгу на квартире и зашагал по берегу Темзы. В этот час солнце страстно ее ласкало и под его поцелуями она вся рдела, дышала светом и теплом. И все дома вдоль берегов, до самых башен Вестминстера, словно улыбались. О многом говорило это зрелище глазам влюбленного. И перед Милтоуном возникло еще одно видение-женщина с кротким взором и тихим голосом, склонившаяся над цветами. Отныне без нее ничто не даст ему удовлетворения, не порадуют плоды труда, не увлекут никакие замыслы.

Лорд Вэллис встретил сына дружески, но не без удивления.

- Решил денек отдохнуть, мой друг? Или захотелось послушать, как нас громит Брэбрук? На сей раз он опоздал: мы уже покончили с этими аэростатами, в конце концов все обошлось.

Его ясные серые глаза изучали Милтоуна со спокойным любопытством. "Ну-ка, что ты за птица? - казалось, говорили они. - Во всяком случае, совсем не то, чего можно было ждать, судя по твоему воспитанию!"

Ответ Милтоуна: "Я приехал кое-что сообщить вам, сэр", - заставил лорда Вэллиса задержать на нем взгляд чуть дольше, чем это принято.

Было бы неправдой сказать, что лорд Вэллис боялся сына. Страх вообще был ему несвойствен, но он, несомненно, относился к Милтоуну с каким-то уважительным интересом и чувствовал себя с ним не свободно. По складу своему и политическим убеждениям Милтоун был деспот, и это чуть ли не коробило человека, которого и характер и жизненный опыт приучили выжидать, не вырываться вперед. Этому он нередко учил своих жокеев, зная, что так лошадь вернее возьмет приз. Именно это он хотел бы посоветовать и сыну. Сам он вот уже полвека выжидал и знал, что только так можно

избежать опасности когда-нибудь поневоле изменить этому принципу, ибо в глубине души боялся, что в критическую минуту способен не пощадить себя и надорваться, лишь бы другие его не обошли. Вот молодого Харбинджера он понимал: этот - верхогляд, в нем "много прыти", как мысленно в минуты откровенности с самим собой определял лорд Вэллис. Он отведал молодого вина социальных реформ, и хмель ударил ему в голову. Ему надо дать немного воли, но с ним не будет никаких хлопот; эта легкая на ходу, послушная лошадка, которую надо лишь слегка придерживать на поворотах, никогда не понесет. Пусть послушает самого себя; надо дать ему почувствовать, что и он делает что-то полезное. Все очень естественно и понятно. А вот с Милтоуном не то, и дело тут не в отцовском пристрастии. Он любит непременно все доводить до конца, а это опасно и напоминает лорду Вэллису его тещу. В делах государственных Милтоун, конечно, еще сущее дитя; но стоит ему начать, и сила его убеждений, его положение в обществе и истинный ораторский дар - не просто бойкий язык, как у Харбинджера, но сдержанная и острая речь - все это при нынешнем соотношении сил безусловно выдвинет его единым махом в первый ряд. А каковы, в сущности, его убеждения? Лорд Вэллис не раз пытался в них разобраться, но по сей день так ничего и не понял. И не удивительно, ибо - он и сам не раз это говорил политические воззрения определяются отнюдь не разумом, как кажется на первый взгляд, но темпераментом. Сам он относился к политике спокойно, и, руководствуясь простым здравым смыслом, в каждом отдельном случае применялся к обстоятельствам; всякое иное отношение к политике ему было чуждо и непонятно. Однако назвать его беспринципным было бы несправедливо, ибо в самой глубине его души, несомненно, жила упрямая, непоколебимая верность традициям его сословия, для которого превыше всего твердость духа. И все-таки он чувствовал, что Милтоун слишком ревностный аристократ, ничуть не лучше социалистов, - он ко всему подходит с готовыми мерками; а его идея навязать людям реформы любой ценой, хотя бы против их воли, - это ли не деспотизм! Да еще и действует согласно своим убеждениям! Недурно! Так и говорит: следую своим убеждениям! Одна мысль об этом; коробила лорда Вэллиса. Это же просто неприлично; хуже - смешно! К несчастью, у мальчика чересчур

глубокий ум, политику такой не требуется... это опасно... даже очень! Разве что жизнь чему-то его научит. И граф Вэллис напрягал память, стараясь вспомнить, встречался ли на его жизненном пути хоть один политический деятель, который остался бы верен своим первоначальным идеалам. Нет, ни одного такого припомнить не удалось. Но это его не утешило. И пока они ели позднюю спаржу, он пытался поймать взгляд сына. Что такое он приехал сообщить?

В словах сына было что-то зловещее, ведь он никогда ничего ему не говорил. Хотя лорд Вэллис был добрым и снисходительным отцом, он, как многие люди, поглощенные делами государственными, держался со своим отпрыском так, словно все время себя спрашивал: "Да полно, мой ли это?" Из всех четверых одну лишь Барбару он безо всяких сомнений признавал за свою.

Он восхищался ею; а как человек, умеющий наслаждаться жизнью, он любил лишь то, чем восхищался. Но, не способный принуждать кого бы то ни было или выпытывать признания, он ждал, ничем не выдавая своего беспокойства, чтобы сын заговорил сам.

Милтоун, видимо, не спешил. Он стал рассказывать о ночном приключении Куртье и немало позабавил лорда Вэллиса.

- Испытание красным перцем! Вот уж не думал, что они на это способны! Итак, он теперь в Монкленде. И Харбинджер тоже еще там?

- Да. Не думаю, чтобы он обладал большой стойкостью.

- В политике?

Милтоун кивнул.

- Мне не нравится, что он на нашей стороне... Это нам вовсе не на пользу. Я полагаю, вы видели карикатуру; довольно ядовитая. Впрочем, вас среди этих старух, кажется, нет, сэр.

Лорд Вэллис равнодушно улыбнулся.

- Карикатура неглупая. Кстати, я надеюсь на приз в Гудвуде.

Так они беседовали, перескакивая с предмета на предмет, пока последний слуга не вышел из столовой.

И тогда Милтоун посмотрел прямо в глаза отцу я сказал без обиняков:

- Я хочу жениться на миссис Ноуэл, сэр.

Лорд Вэллис принял этот удар с тем самым выражением, которое не раз у него бывало, когда его лошадь оставалась за флагом. Потом он

поднес к губам бокал вина и, не пригубив, поставил его на стол. Только этим он и обнаружил свою заинтересованность или замешательство.

- Не слишком ли ты торопишься?

- Я хочу этого с той минуты, как увидел ее впервые.

Лорд Вэллис разбирался в людях и в житейских делах почти так же хорошо, как в лошадях и охотничьих собаках; он откинулся на спинку кресла я сказал чуть насмешливо:

- Очень мило с твоей стороны, мой друг, что ты поставил меня в известность. Хотя, если уж говорить начистоту, я предпочел бы этого не слышать.

Темный румянец медленно залил щеки Милтоуна. Как видно, он недооценивал отца: оказывается, в трудную минуту у него хватает и хладнокровия и мужества.

- Какие у вас возражения, сэр?

И тут он заметил, что вафля в руке лорда Вэллиса дрожит. Но глаза его не смягчились ни раскаянием, ни сожалением; он метнул в отца такой испепеляющий взгляд, каким мог наградить противника, обнаружившего слабость, старый кардинал. Лорд Вэллис тоже заметил, что вафля дрожит, и поспешил ее съесть.

- Мы светские люди, - сказал он.

- Я - нет, - возразил Милтоун.

И тут впервые лорду Вэллису изменило самообладание.

- Это твое дело! - выкрикнул он. - Я говорю о себе!

- И что же?

- Юстас!

Милтоун неторопливо поглаживал колено; в лице его не дрогнул ни один мускул. Он в упор смотрел на отца. Лорд Вэллис ощутил удар в сердце. Каким же сильным должно быть чувство, чтобы вот так ощетиниться при первом намеке на противодействие!

Он достал ящик с сигарами, рассеянно протянул его сыну и тут же отдернул:

- Я забыл: ты же не куришь.

Он закурил сигару, задумчиво затянулся, глядя прямо перед собой, и меж его бровей прорезалась глубокая складка. Наконец он заговорил:

- У нее вид настоящей леди. Больше я о ней ничего не знаю.

На губах Милтоуна явственней проступила улыбка.

- А зачем вам знать?

Лорд Вэллис пожал плечами. На этот счет он придерживался вполне определенных взглядов.

- Насколько мне известно, - холодно сказал он, - мы имеем дело с разводом. Я полагал, что в этом вопросе ты не расходишься с церковью.

- Она ни в чем! не виновата.

- Значит, тебе известно, что у нее в прошлом?

- Нет.

Лорд Вэллис поднял брови - иронически и, может быть, даже с восхищением.

- Благоразумие под маской рыцарства?

- Вы, видимо, не понимаете моего чувства к миссис Ноуэл. Оно не укладывается в ваше представление о жизни. Но брак без этого чувства для меня немыслим - и вряд ли я когда-нибудь смогу испытать его к другой женщине.

И опять лорд Вэллис ощутил, что почва уходит у него из-под ног. Неужели это правда? И вдруг он понял: да, правда. Этот одержимый скорее сгорит на собственном огне, но не изменит себе. Он вдруг осознал всю серьезность создавшегося положения и растерялся.

- Больше я сейчас ничего не могу тебе сказать, - пробормотал он и поднялся из-за стола.

ГЛАВА XI

У леди Кастерли было одно неудобное свойство: она вставала чуть свет. Во всей Англии ни одна женщина не была таким знатоком утренних рос. Природа расстилала перед ней тысячи росных ковров - их ткали звезды минувшей ночи, что падают перед рассветом на темную землю и ждут только утра, чтобы в солнечных лучах вновь воспарить на небо. В Рейвеншеме она ежедневно гуляла в парке от половины восьмого до восьми и, если гостила у кого-нибудь, заставляла хозяев применяться к этой ее привычке.

Поэтому когда ее горничная Рэндл в семь часов утра пришла к горничной Барбары, которая в эту минуту зашнуровывала корсет, и сказала: "Старая леди велела разбудить мисс Бэбс", - та ничуть не удивилась.

- Хорошо. Да только леди Бэбс не очень-то обрадуется!

Десять минут спустя она вошла в белую комнату, всю пропитанную ароматом гвоздики, - в царство сладкого сна, куда сквозь пестрые ситцевые занавески просачивался свет летнего утра.

Барбара спала, подложив под щеку ладонь; ее золотисто-каштановые волосы, откинутые со лба, рассыпались по подушке, губы приоткрылись. "Вот бы мне такие волосы и губы!" - подумала горничная и невольно улыбнулась: леди Бэбс такая хорошенькая, во сне еще лучше, чем днем! И при взгляде на это очаровательное существо, спящее с улыбкой на устах, рассеялись тяжелые пары, дурманившие голову служанки, постоянно жившей в тепличной обстановке, где не могла естественно развиваться ее натура. Красота обладает таинственной силой: она расковывает души, очищает их от себялюбивых мыслей; глаза горничной смягчились, она стояла, затаив дыхание, - спящая Барбара была для нее воплощением золотого века, с мечтой о котором она ни за что не хотела расстаться. Барбара открыла глаза и, увидев горничную, спросила:

- Разве уже восемь, Стейси?

- Нет, но леди Кастерли желает, чтобы вы с ней погуляли.

- О господи! А мне снился такой чудесный сон!

- То-то вы улыбались.

- Мне снилось, что я могу летать.

- Вы подумайте!

- Я летела над землей и видела все так ясно, как вас теперь. Я парила, как ястреб. И чувствовала, что могу опуститься, где захочу. Это было восхитительно, Стейси, для меня не было ничего невозможного.

И, вновь положив голову на подушку, она закрыла глаза. Солнечный свет, пробиваясь меж полураздвинутых занавесок, озарял ее лицо.

Горничной вдруг захотелось протянуть руку и погладить эту полную белую шею.

- Летательные аппараты - глупость, - пробормотала Барбара. Наслаждение - когда летишь сама, на крыльях!

- Леди Кастерли уже в саду.

Барбара вскочила. У статуи Дианы, глядя на цветы, стояла маленькая фигурка в сером". Барбара вздохнула. Во сне рядом с ней парил другой ястреб, и сейчас, принимая ванну, а потом одеваясь, она

с удивлением об этом вспоминала, а по всему ее телу пробегала какая-то странная и приятная дрожь.

В спешке она забыла шляпу и, на ходу застегивая полотняное платье, торопливо спустилась по лестнице и георгианским коридором побежала в сад. У самого выхода она, чуть не оказалась в объятиях Куртье.

В то утро он проснулся рано и прежде всего подумал об Одри Ноуэл, которой грозил скандал; потом о своей вчерашней спутнице, такой юной и лучезарной, чей образ завладел его мыслями. Он весь ушел в эти воспоминания. Да, она - сама юность. Поистине совершенство: совсем еще юная - и никакой ребячливости!

- Крылатая победа! - воскликнул он, когда Барбара чуть не сбила его с ног.

Ответ Барбары был в том же духе:

- Ястреб! Знаете, мистер Куртье, мне снилось, что мы с вами летаем.

- Если бы боги послали этот сон мне... - серьезно ответил Куртье.

На пороге Барбара обернулась, с улыбкой взглянула на него и вышла.

Леди Кастерли в обществе Энн, которая рассудила, что гулять по саду в такую рань ново и заманчиво, критически разглядывала какие-то незнакомые ей цветы. Увидев внучку, она тотчас спросила:

- Это что такое?

- Немезия.

- В первый раз слышу.

- На них теперь мода, бабушка.

- Немезия? - переспросила леди Кастерли. - Какое Немезида имеет отношение к цветам? Терпеть не могу садовников и все эти дурацкие названия. Где твоя шляпа? Мне нравится цвет твоего платья. Смотри, пуговица расстегнута.

И, подняв сухонькую ручку, поразительно крепкую для ее лет, она застегнула предпоследнюю сверху пуговку на корсаже Барбары.

- Ты просто цветешь, милочка. Эта женщина далеко живет? Мы идем к ней.

- Наверно, она еще не встала. Глаза леди Кастерли зло сверкнули.

- Ты ведь так ее хвалишь. Здоровая, да к тому же порядочная женщина не станет нежиться в постели после половины восьмого;

Какой дорогой ближе всего? Нет, Энн, мы не можем взять тебя с собой.

Энн пристально посмотрела на прабабушку и, помедлив, ответила:

- Знаете, я все равно не могу пойти с вами: у меня дела.

- Вот и хорошо, - сказала леди Кастерли. - Тогда беги.

Поджав губы, Энн отошла к другой клумбе с немезией и озабоченно склонилась над цветами, всем своим видом давая понять, что она нашла кое-что такое, чего еще никто не видел.

- Ого! - сказала леди Кастерли и быстро засеменила к выходу из сада.

Все время, пока они шли по аллее, она придирчиво разглядывала деревья и рассуждала о том, как следует содержать парки. Экий жалкий век! - говорила она. Искусство выращивать леса, как и зодчество и многие другие занятия, требующие веры и терпеливого усердия, начисто утрачено. Когда-то она заставила дедушку Барбары изучить лесоводство - и в Кэттоне (ее имении) и даже в Рэйвеншеме на деревья любо поглядеть. А в Монкленде они мерзостно запущены. Ведь тут растет, например, лучший итальянский кипарис во всей Англии, а как за ним ухаживают? Просто стыд и срам!

Барбара слушала и лениво улыбалась. Бабушка очень забавна, когда она вот так воинственно настроена и кипятится и сыплет нарочито грубоватыми выражениями, словно она, которая, как никто, владеет искусством утонченно сдержанной беседы и изысканной французской речью, вдруг вздумала дать себе волю. Девушку, которой все еще мерещилось, что она может летать, опьяненную свежим дыханием летнего утра, эти чудачества слегка потешали. Но в какую-то минуту, когда бабушка замолчала, взгляд Барбары застиг ее врасплох: лицо ее омрачали решимость и тревога, казалось, она сомневается в своих силах; и в мгновенном прозрении, какое нередко озаряет женщин - даже таких юных, перед Барбарой вдруг мелькнула зловещая тень смерти, подобная бледному признаку, и она пожалела леди Кастерли. "Бедная бабушка, - подумала она, как горько быть старой!"

Но тут они вступили на тропинку, которая, пересекая одну за другой три поляны, тянувшиеся по косогору, вела к домику миссис Ноуэл. Здесь, среди несчетного множества крохотных желтых

чашечек, полных холодной сверкающей росы, все источало такой нежно-золотистый свет, липы и ясени стояли в таком сияющем ореоле, так чудесно пахло запоздалым дроком и боярышником, и на каждом дереве так зазывно распевали серые птички, что огорчаться было просто невозможно. В дальнем краю первой поляны стояла гнедая кобылка и, наставив уши, прислушивалась к какому-то отдаленному, ей одной внятному звуку. Увидав нежданных гостей, она прижала уши и покосилась на них злым блестящим глазом. Они прошли мимо и вступили на вторую поляну. А когда дошли до ее середины, Барбара сказала негромко:

- Бабушка, там бык.

В стороне, шагах в двухстах, за кустами и в самом деле стоял огромный бык. Теперь он медленно двинулся на них; это был великан красно-бурой масти, с могучим загривком и грудью, из-за которых именно это, а не какое-нибудь другое животное стало символом грубой силы.

Леди Кастерли строго его оглядела.

- Не люблю быков, - сказала она. - Кажется, мне придется пятиться.

- Не выйдет, бабушка, подъем слишком крутой.

- Но я не намерена поворачивать обратно. С какой стати тут бык? Кто его сюда пустил? Я об этом еще поговорю. Стой смирно и смотря прямо на него. Не дадим ему подойти ближе.

Они стояли смирно и смотрели на быка, а он все-таки шел на них.

- Он все равно идет, - сказала леди Кастерли. - Не будем обращать на него внимания. Я обопрусь на твою руку, дорогая; у меня что-то с ногами.

Барбара обняла ее за плечи. Они пошли дальше.

- В последнее время я совсем отвыкла от быков, - сказала леди Кастерли,

Бык приближался.

- Бабушка, вы идите потихоньку к изгороди. А после вас и я перелезу.

- Ничего подобного! Мы пойдем вместе. Не обращай на него внимания - это самое главное.

- Бабушка, милая, послушайтесь меня, я вас прошу. Я знаю этого быка, это наш.

Почуяв недоброе в словах внучки, леди Кастерли кинула на нее острый взгляд.

- Одна я не пойду, - сказала она. - Теперь я уже крепко стою на ногах. Если надо будет, мы можем и побежать.

- Бык тоже.

- Я не оставлю тебя одну, - проворчала леди Кастерли. - Если он разъярится, я с ним поговорю. Менято он не тронет. А ты быстрее меня бегаешь. Нечего спорить.

- Не выдумывайте, бабушка. Я не боюсь быков.

В глазах леди Кастерли блеснули веселые искорки.

- Да, я чувствую, - сказала она. - Дрожишь не хуже меня.

От быка их отделяли теперь каких-нибудь восемьдесят шагов, а до изгороди оставалось добрых сто.

- Скорей, бабушка, идите и перелезайте, не то я брошу вас и пойду ему навстречу. Не упрямьтесь!

В ответ леди Кастерли обхватила внучку за талию; нервная сила ее худых рук была поразительна.

- Не фокусничай, пожалуйста, - сказала она. - Я знать не хочу этого быка. И смотреть на него не стану.

Бык затрусил неторопливой рысцой - он двигался прямо на них.

- Не обращай внимания, - сказала леди Кастерли, прибавляя шагу; никогда еще она не ходила так быстро.

- Тут подъема нет, - сказала Барбара. - Вы можете бежать?

- Попробую, - выдохнула леди Кастерли. И вдруг почувствовала, что ноги ее оторвались от земли и она как будто летит к изгороди. Сзади послышался шум, потом голос Барбары:

- Стойте! Вот он! Спрячьтесь за меня!

Ее схватили и сжали две руки, как-то странно вывернутые. К ней прислонилось что-то мягкое, и она поняла, что они с внучкой стоят спина к спине.

- Пусти! - выдохнула она. - Пусти!

Тут она почувствовала, что ее подталкивают к изгороди.

- Брысь! - крикнула она. - Брысь!

- Бабушка, не надо! - послышался спокойный, хоть и задыхающийся голос Барбары. - Вы только дразните его. До перелаза

далеко?

- Шагов десять, - тяжело дыша, ответила леди Кастерли.

- Тогда осторожнее!

Что-то теплое стремительно подхватило ее - рывок, подъем, карабканье и она уже за изгородью. А бык и Барбара остались по ту сторону, в двух шагах друг от друга. Леди Кастерли выхватила носовой платок и замахала им. Бык поднял голову; Барбара вихрем метнулась к изгороди, миг - и она уже рядом.

Не теряя ни секунды, леди Кастерли подалась вперед и заговорила.

- Ты скотина! - сказала она быку. - Я велю тебя хорошенько высечь!

Бык копытом рыл землю и сопел.

- Ты цела, детка?

- Ни царапины, - с безмятежным спокойствием, но еще не отдышавшись, ответила Барбара.

Леди Кастерли сжала в ладонях лицо девушки.

- Ну и длинные у тебя ноги! - сказала она. - Поцелуй меня!

Горячие вздрагивающие губы поцеловали ее, и, тяжелее прежнего опираясь на руку Барбары, она двинулась в путь.

- Уж этот бык! - бормотала она. - Скотина... нападать на женщин!

Барбара поглядела на нее сверху вниз.

- Бабушка, а вы не слишком переволновались?

Леди Кастерли изо всех сил сжала трясущиеся губы.

- Н-ничуть.

- Может быть, вернемся домой? Только другой дорогой?

- Ничего подобного! Надеюсь, до дома этой женщины больше не будет быков?

- А вы в силах с нею разговаривать?

Леди Кастерли провела платком по губам, пытаясь унять их дрожь.

- Вполне.

- Тогда постойте минутку, дорогая. Я вас отряхну. Приведя в порядок запылившееся платье, они отправились к миссис Ноуэл.

Увидев ее домик, леди Кастерли сказала:

- Я этого не допущу. Для человека с будущим, какое ждет Милтоуна, это невозможно. Я твердо надеюсь видеть его премьер-

министром.

Барбара что-то пробормотала.

- Что ты говоришь?

- Я говорю: что нам толку от того, кто мы, если нельзя любить тех, кто нам нравится?

- Любить! Я имею в виду брак.

- Рада слышать, что и по-вашему это не одно и то же, дорогая бабушка.

- Насмешничай, пожалуйста, сколько хочешь, - сказала леди Кастерли. Но слушай, что я тебе скажу. Преглупо думать, будто люди нашего круга вольны делать все, что им взбредет на ум. Чем скорее ты это поймешь, Бэбс, тем лучше. Я серьезно тебе говорю. Мы сохранимся как сословие, только если будем соблюдать известные приличия. Подумай-ка, что сталось бы с королевской семьей, будь им позволено жениться как попало? Все эти браки с певичками, с американскими денежными мешками, людьми с прошлым, писателями и прочее в высшей степени пагубны. Их развелось слишком много. Надо это прекратить. Когда так женятся какие-нибудь чудаки, или просто молокососы, или разные современные девицы - это еще туда-сюда, но для Юстаса, - леди Кастерли замолчала и стиснула локоть Барбары, - или для тебя такой брак невозможен. Что до Юстаса, я потолкую с этой милой особой и позабочусь, чтобы он не запутался окончательно.

Поглощенная своей задачей, она не замечала загадочной полуулыбки на губах Барбары.

- Вы бы поговорили еще с самой природой, бабушка!

Леди Кастерли круто остановилась и, закинув голову, посмотрела внучке в лицо.

- Что это у тебя на уме? Ну-ка!

Но, увидев, что Барбара крепко сжала губы, она опять стиснула ее локоть, быть может, сильней, чем хотела, и пошла дальше.

ГЛАВА XII

Диагноз, который леди Кастерли поставила Одри Ноуэл без особой уверенности, оказался правильным. Когда они с Барбарой входили в калитку, Одри была уже на ногах; она стояла под липой в дальнем конце сада и не слышала последних слов, которыми они наскоро обменялись.

- Вы ее не обидите, бабушка?

- Там видно будет.

- Вы обещали.

- Хм!

Леди Кастерли не могла бы выбрать себе проводника удачнее: миссис Ноуэл всегда смотрела на Барбару с истинным удовольствием, как смотрит на женщину, полную радости жизни, та, кому судьба дала лишь доброе сердце, а в радости отказала.

Она пошла им навстречу, чуть склонив голову набок (в этой ее милой привычке не было ни капли жеманства), и остановилась в ожидании.

- У нас только что вышла стычка с быком, - непринужденно начала Барбара. - Это моя бабушка, леди Кастерли.

Увидев такую прелестную женщину, леди Кастерли несколько изменила своей обычной властности и резкости. Она с первого взгляда поняла, что перед ней отнюдь не обыкновенная искательница приключений. Леди Кастерли достаточно хорошо знала свет, чтобы понимать, что происхождение нынче значит куда меньше, чем в дни ее молодости, женитьба на деньгах и та уже давно не новость, зато приятная наружность, умение себя держать, осведомленность в литературе, искусстве, музыке (а эта женщина, кажется, как раз из таких) нередко ценятся в обществе гораздо выше. Вот почему она была и насторожена и любезна.

- Доброе утро, - сказала она. - Я о вас наслышана. Вы позволите немного отдохнуть у вас в саду? Ужасный негодник этот бык!

Так она говорила, но чувствовала себя неловко: без сомнения, эта женщина прекрасно понимает, зачем она пришла! Похоже, что эти ясные глаза видят ее насквозь; и хоть она что-то сочувственно бормочет в ответ, но, кажется, не верит ни в какого быка. Леди Кастерли стало совсем уж не по себе. И зачем Барбара упомянула этого мерзкого быка! Что ж, надо взять его за рога.

- Поди в трактир и найми для меня коляску, - обратилась она к Барбаре. - Я скверно себя чувствую и не хочу возвращаться пешком.

Миссис Ноуэл предложила послать горничную, но леди Кастерли возразила:

- Нет-нет, моя внучка сама сходит.

Барбара удалилась с усмешкой на устах, а леди Кастерли, похлопав ладонью по деревянной скамье, сказала:

- Сядьте-ка, я хочу с вами поговорить.

Миссис Ноуэл повиновалась. И в ту же минуту леди Кастерли поняла, что ей предстоит на редкость трудная задача. Она-то думала, что встретит женщину, с которой можно будет не церемониться. А эта с ясными темными глазами и мягкой, изящной повадкой кажется такой доброжелательной - ей как будто можно бы сказать все, но, нет, не выходит! До чего неловкое положение! И вдруг она заметила, что миссис Ноуэл сидит очень прямо, - так же прямо, как она сама... даже прямее. Дурной знак... чрезвычайно дурной знак! Леди Кастерли поднесла к губам платок.

- Вы, должно быть, не верите, что на нас напал бык.

- Ну, что вы. Конечно, верю.

- Вот как! Но мне надо поговорить с вами о другом.

Лицо миссис Ноуэл дрогнуло, как может дрогнуть цветок, который вот-вот сорвут, и леди Кастерли снова поднесла платок к губам. И крепко-накрепко вытерла их, словно черпая в этом силы.

- Я старуха, - сказала она. - Поэтому не обижайтесь, что бы я ни сказала.

Миссис Ноуэл молча, в упор смотрела на гостью; и леди Кастерли вдруг показалось, что перед нею уже не та женщина. Что было в этом обращенном к ней лице? Эти большие глаза, мягкие волосы... губы внезапно сжались так плотно, стали совсем тонкие, в ниточку... Странно, непонятно, но ей почудилось, что перед нею ребенок, которого больно обидели.

- Я совсем не хочу вас обижать, моя дорогая, - вырвалось у леди Кастерли. - Вы, конечно, понимаете, речъ идет о моем внуке.

Но миссис Ноуэл словно бы и не слышала; и на помощь леди Кастерли пришла досада, которая тотчас овладевает стариками, когда они сталкиваются с чем-то неожиданным.

- Его имя, - сказала она, - постоянно связывают с вашим, и это ему очень вредит. А ведь вы, конечно же, не хотите ему зла.

Миссис Ноуэл покачала головой, и леди Кастерли продолжала:

- С того вечера, когда ваш друг мистер Куртье вывихнул ногу, чего только не говорят. Милтоун поступил крайне опрометчиво. Вам это тогда, должно быть, и в голову не пришло.

- Я не знала, что кому-нибудь есть до меня дело, - с нескрываемой горечью ответила миссис Ноуэл.

Леди Кастерли, не сдержавшись, досадливо отмахнулась.

- О господи! Всем на свете всегда дело до женщины без определенного положения. Живете вы одна, не вдова, - конечно же, вы всем мозолите глаза, да еще в деревне.

Миссис Ноуэл искоса посмотрела на нее долгим, ясным, холодным! взглядом, который, казалось, говорил: "Даже вам".

- Я не вправе рассчитывать на вашу откровенность, - продолжала леди Кастерли, - но если вы окружаете себя тайной, надо быть готовой к тому, что люди истолкуют это наихудшим образом. Мой внук - человек самых строгих правил. У него свой, особенный взгляд на вещи, а потому вам следовало быть вдвойне осторожной, чтобы не скомпрометировать его, да еще в такое важное для него время.

Миссис Ноуэл улыбнулась. В этой улыбке ничего нельзя было прочитать, и леди Кастерли испугалась: ей почудилась в душе этой женщины скрытая сила и даже коварство. Неужели она так и не раскроет свои карты? И леди Кастерли сказала резко:

- Ни о чем серьезном тут не может быть речи.

- Вы совершенно правы.

Именно это леди Кастерли и хотела услышать, но прозвучало это так, что смысл был отнюдь не ясен. Сама порою прибегая к иронии, леди Кастерли в других терпеть ее не могла. Женщинам этот род оружия должен быть запрещен! Но в нынешние времена женщины стали какие-то помешанные, даже добиваются права голоса, и никогда не знаешь, что у них на уме. Впрочем, эта как будто не из таких. Она очень женственна... очень... из тех женщин, которые только портят мужчин, без меры их балуя. И хотя леди Кастерли пришла сюда с твердым намерением все, решительно все разузнать и положить этому конец, она испытала немалое облегчение, увидев у калитки возвратившуюся Барбару.

- Я уже могу идти, - сказала она. И, поднявшись со скамьи, с насмешливым полупоклоном бросила миссис Ноуэл: - Благодарю за приют. Дай мне руку, детка.

Барбара подала ей руку и через плечо улыбнулась миссис Ноуэл, нота не ответила на улыбку; не двигаясь, она смотрела им вслед расширенными, потемневшими глазами.

Они шли по тропинке, и леди Кастерли молча разбиралась в своих чувствах.

- А как насчет коляски, бабушка?

- Какой коляски?

- Которую вы мне велели заказать.

- Надеюсь, ты не приняла это всерьез?

- Нет.

- Ха!

Они прошли еще немного, потом леди Кастерли вдруг сказала:

- Она не так-то проста.

- И даже загадочна. Боюсь, вы не были к ней добры.

Леди Кастерли подняла глаза на внучку.

- Терпеть не могу эту вашу новомодную привычку ничего не принимать всерьез. Даже быков, - прибавила она с хмурой усмешкой.

- И коляски, - откинув голову, со вздохом сказала Барбара.

Она закрыла глаза, а губы ее приоткрылись. "Очень хороша, - подумала, глядя на нее, леди Кастерли. - Я не представляла себе, что она так хороша... вот только великовата". И прикрикнула на Барбару:

- Закрой рот! Муха влетит!

Больше они не обменялись ни словом, пока не вошли в подъездную аллею. И тут леди Кастерли спросила резко:

- Кто это там идет?

- По-видимому, мистер Куртье.

- Что это ему вздумалось, с больной-то ногой?

- Хочет поговорить с вами, бабушка.

Леди Кастерли круто остановилась.

- Ты хитрюга, - сказала она. - Прехитрая хитрюга. Смотри, Бзбс, я этого не потерплю!

- Не придется терпеть, бабушка, - шепнула Бэбс. - Я вас от него избавлю.

- И куда только смотрит твоя мать! - рассердилась леди Кастерли. Много воли тебе дает. Ты ничуть не лучше, чем была она в твои годы!

- Хуже! Сегодня ночью мне снилось, что я могу летать.

- Только попробуй, - сурово сказала леди Кастерли, - увидишь, чем это кончится! Доброе утро, сэр! Напрасно вы не в постели.

Куртье приподнял шляпу.

- Смею ли я нежиться в постели, когда вы уже на ногах! - И мрачно прибавил: - С угрозой войны покончено!

- А-а, значит, вам здесь больше нечего делать, - сказала леди Кастерли. - Теперь вы, надо полагать, вернетесь в Лондон.

Тут она взглянула на Барбару: странно, глаза у нее полуприкрыты, а губы улыбаются... Кажется, она даже покачала головой - или, может быть, это только почудилось?

ГЛАВА XIII

По милости леди Вэллис, покровительницы птиц, в Монкленде сов не стреляли, и на благо всем, кроме мышей-полевок, эти бесшумно летающие духи сумерек кричали и охотились без помехи. Невидимые, они рассекали ночную тьму, окутывавшую фермы, коттеджи и поля. Они долетали даже до каменного истукана, - быть может, эти мудрые птицы даже знали, когда и откуда он тут взялся. От домика Одри Ноуэл их было не отогнать: они облюбовали себе уютное местечко в сплошной стене старого остролиста, и казалось, они охраняют хозяйку этого крытого соломой замка: так часто слышалось хлопанье их крыльев, так негромко и протяжно они перекликались, точно часовые на посту. Теперь, когда установились теплые дни и полевки радовались жизни и были в самом соку, совы находили их на редкость лакомым блюдом, и каждая пара вскармливала ими своих ненаглядных птенчиков - очень важных, головастых и глазастых и пока еще не знавших, что делать со своими крыльями. Начиная с полудня (ибо тут были и рогатые совы, которые не боятся света) и до ночи, когда все засыпает и никто их не слышит, они кричали неутомимо, приветствуя большую, молчаливую бескрылую птицу, которая днем бесшумно скользила над мышиными норками, а утром и вечером, примостившись в большой квадратной дыре наверху стены, чистила свои перья - то белые, то голубые, то серые. И они никак не могли понять, почему эта благородная сова никогда не охотится и не издает протяжных криков.

Вечером того дня, когда Одри Ноуэл посетили столь ранние гостьи, едва стемнело, она завернулась в длинную легкую накидку, набросила на темные волосы черное кружево и выпорхнула на дорожку, будто желая присоединиться к важным крылатым охотникам непроглядной ночи. Далекие немолчные шумы деревенской жизни, стихающие лишь после захода солнца, в этот час уже не тревожили

воздух, благоухающий маем, точно женское платье тончайшими духами. Лишь лай собак, гудение майских жуков, лепет ручья да клики сов говорили о том, что во тьме бьется нежное сердце ночи. И ни проблеска, чтоб разглядеть ее лицо; неведомое, оно таилось от всех взоров, и, когда из чьего-нибудь окошка пробивался луч света, казалось, будто бродячий художник создал картину из камня и листвы на фоне черной пустоты, оправил ее в пурпур и так и оставил висеть. Но кто сумел бы взглянуть поближе, тот понял бы, что ночь взволнована, как эта женщина, что бродит во тьме, пугливо сторонясь прохожих, и, порой наклоняясь над папоротниками, пытается охладить росой пылающее лицо, и снова идет торопливыми шагами в надежде утолить жар сердца. Ничто не могло бы вернее этой мятущейся тени выразить дух безликой ночи, ее сокровенные желания, неуловимый трепет ее темных крыльев, ее тайный и страстный бунт против своей безликости...

В Монкленде в то утро ни у кого, кроме Энн, не было охоты разговаривать: все чувствовали, что надо действовать, но никто не знал, как. За завтраком единственным намеком на то, что волновало всех, был вопрос Харбинджера:

- Когда возвращается Милтоун?

Ему ответили, что была телеграмма, видимо, он приедет сегодня вечером.

- Чем скорей, тем лучше, - негромко сказал Уильям. - У нас есть еще две недели.

Но по тону этого опытного политика все почувствовали, что он считает положение весьма серьезным.

Если к "утке" о миссис Ноуэл прибавить провал военной угрозы, было о чем беспокоиться.

С дневной почтой пришло письмо от лорда Вэллиса с пометкой "Срочное".

Леди Вэллис встревожилась, взяв его в руки, и по мере того, как она читала, тревога все усиливалась. Ее красивое, цветущее лицо стало печальным, что бывало не часто. Но, надо сказать, неприятную новость она приняла с истинным достоинством.

"Юстас объявил о своем намерении жениться на этой миссис Ноуэл, гласило письмо. - К несчастью, я совершенно не знаю, как этому помешать. Если ты сумеешь вызвать его на разговор,

непременно постарайся его разубедить... Дорогая моя, хуже просто быть не может".

Поистине, хуже ничего быть не могло! Если Милтоун решил жениться на ней, еще не зная об оскорбительной сплетне, какова же будет его решимость теперь? И тут леди Вэллис пришла в негодование. Нет, этого брака не будет! Против него восставало все существо этой женщины, практической не только по характеру, но и по образу жизни и по воспитанию. Ее горячую, полнокровную натуру влекло к радостям любви, и не будь она столь практична, эта сторона ее характера была бы серьезной помехой уверенному ходу ее жизни, протекавшей на виду у общества. Сама не чуждая этой опасности, она особенно остро чувствовала, чем грозит любому политическому деятелю предосудительная связь, а тем более женитьба. К тому же были задеты ее материнские чувства. Никогда она не любила Юстаса так нежно, как Берти, но все же ведь он ее первенец! И, узнав эту новость, означавшую, что она окончательно его теряет, ибо это, разумеется, будет "единение двух душ" (или как там говорится), она ощутила острую ревность к женщине, завоевавшей любовь ее сына - любовь, которую ей, матери, завоевать не удалось. И эта ревнивая боль придала ее лицу выражение одухотворенности, но оно тут же сменилось досадой. С какой стати Юстасу жениться на этой особе? Все можно уладить. Люди уже говорят о незаконной связи: что ж, пусть эта выдумка станет правдой. На худой конец здешний избирательный округ - еще не вся Англия. А такая связь долго не продержится. Все что угодно, только не этот брак, который всю жизнь будет Милтоуну помехой. Но такая ли уж это помеха? В конце концов красота ценится высоко! Только бы ее прошлое не было слишком скандальным! Но что же все-таки у нее в прошлом? Какая нелепость до сих пор ничего не знать! Вот беда с людьми, которые не принадлежат к свету, - о них так трудно что-нибудь разузнать! И в леди Вэллис поднялась злость, чуть ли не ярость, столь легко вспыхивающая в людях, которым едва ли не с пеленок внушают, что они - соль земли. С такими чувствами леди Вэллис передала письмо дочерям. Они прочли и, в свою очередь, передали его Берти; он, прочитав его, молча вернул листок матери.

Но вечером в бильярдной, устроив так, чтобы оказаться вдвоем с Куртье, Барбара сказала ему:

- Ответите ли вы на мой вопрос, мистер Куртье?

- Если только смогу.

На ней было темно-зеленое, очень открытое платье с огненной искрой под стать ее волосам, и вся она - в великолепии темного, молочно-белого и золотого - была ослепительна; она застыла, прислонясь к бильярду и с такой силой сжимая его край, что ее нежные сильные пальцы побелели.

- Мы только что узнали, что Милтоун хочет просить руки миссис Ноуэл. Люди никогда не окружают себя тайной, если у них нет на то веских причин, не правда ли? Скажите мне, кто она такая?

- Я что-то не понимаю, - пробормотал Куртье. - Вы сказали, он хочет на ней жениться?

Барбара протянула руку, словно умоляя сказать правду.

- Но как же ваш брат может на ней жениться... она замужем!

- Как?!

- Мне и в голову не приходило, что вы даже этого не знаете.

- Мы думали, что она разведенная.

На лице Куртье появилось выражение, о котором уже приходилось упоминать, - злая, отчаянная насмешка.

- Ага. Сами себе вырыли яму. Обычная история. Стоит хорошенькой женщине поселиться одной - и злые языки сделают остальное.

- Не совсем так, - сухо сказала Барбара. - Говорили, что виновная сторона не она, а муж.

Пойманный на том, что, по обыкновению, забежал вперед, Куртье закусил губу.

- Лучше уж я расскажу вам ее историю. Отец ее был сельский священник, друг моего отца, так что я знал ее еще девочкой. Стивен Ли Ноуэл был его помощником. Это была скоропалительная свадьба - Одри едва минуло двадцать, и у нее, в сущности, просто не было знакомых мужчин. Ее отец заболел и хотел перед смертью видеть ее пристроенной. Ну, и, как очень многие, она почти сразу поняла, что совершила роковую ошибку.

Барбара чуть подалась к нему.

- Что это был за человек?

- ...Неплохой в своем роде, но один из тех ограниченных, добросовестных тупиц, из которых выходят самые невыносимые

мужья - безмерные себялюбцы. Если таким оказывается священник, это безнадежно. Все, что ему положено делать и говорить, лишь усугубляет дурные стороны его характера. У такого человека жена - все равно что рабыня. В конце концов ей стало невтерпеж, хотя она из тех, кто тянет лямку, пока не свалится. Ему понадобилось четыре года, чтобы это понять. И тогда встал вопрос: как быть дальше? Он очень ортодоксален, не признает расторжения брака. По счастью, задето было его самолюбие. Словом, два года назад они разъехались, и вот она на меля. Говорят, сама виновата. Надо было знать, что делаешь, - в двадцать-то лет! Надо было тянуть лямку дальше, молчать, и терпеть, и не показывать виду. Будь они неладны, толстокожие благодетели, где им понять страдания впечатлительной женщины! Простите меня, леди Барбара... Не могу я говорить об этом спокойно. - Он умолк. Потом, видя, что она не сводит с него глаз, продолжал: - Ее мать умерла при ее рождении, отец - вскоре после ее свадьбы. К счастью, у нее достаточно своих средств, чтобы жить хоть не в роскоши, но безбедно. Муж ее перевелся в другой приход, где-то в Мидленде. Его, беднягу, тоже, конечно, жалко. Они не видятся и, насколько я знаю, не переписываются. Вот вам, леди Барбара, и вся история.

- Благодарю вас, - сказала Барбара и пошла из комнаты. - Какой ужас! негромко вырвалось у нее уже в дверях.

Но он не знал, чем вызвано это восклицание: судьбой ли миссис Ноуэл, ее мужа или мыслью о Милтоуне.

Она озадачивала его своим почти суровым хладнокровием - как она умеет не выдать свои чувства! Но какой женщиной стала бы она, если не дать тлетворной великосветской жизни обезличить ее, иссушить ей душу! Как оплодотворил бы эту душу восторг, сумей он туда проникнуть! Барбара напоминала ему большую золотистую лилию. И точно лилия, освобожденная от корней и от теснившей ее тщательно обработанной почвы, на которой ее взрастили, она представлялась ему вольно парящей в чистом; незамутненном воздухе. Каким пылким, благородным созданием стала бы она! Какое сияние и аромат исходили бы от нее! Душа лилии! Сестра всем благородным и лучезарным цветам, чьим благоуханием напоен мир!

Куртье стоял в оконной нише и глядел в безликую ночь. Он слышал крики сов и чувствовал, как где-то во тьме бьется сердце ночи, но не находил ответа на свои вопросы. Смогла бы она, эта

девушка, эта большая золотистая лилия, не внешне только, а всем существом забыть о своем высоком круге и стать просто женщиной, которая дышит, страдает, любит, радуется заодно с поэтической душой всего человечества? Отважилась бы она разделить жизнь маленькой кучки больших сердец - тех, кто отверг всякие привилегии и преимущества? Вот уже двадцать лет Куртье не бывал в церкви, ибо, по его мнению, переступать порог мечети в его отечестве нельзя, не сняв обувь свободы, но библию он читал, видя в ней великое поэтическое творение. И сейчас слова древней книги не шли у него из головы: "Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство божие". Глядя в ночь, во тьме которой, казалось, хранились ключи ко всем тайнам, он пытался разгадать будущее этой девушки, словно от этого зависело решение другой, великой загадки: насколько в этом мире дух способен высвободиться из пут материи.

Ночь вдруг встрепенулась - и из самых глубин, словно со дна морского, всплыла луна, сбрасывая с себя бледную мантию тумана, пока наконец не засияла, обнаженная, на занавесе неба. Теперь ночь уже не была безликой. Перед глазами Куртье в полутьме сада медленно возникла статуя Дианы, а за нею, словно ее храм, поднялся ввысь острый шпиль кипариса.

ГЛАВА XIV

Номер газеты, где описывалось вечернее приключение Милтоуна, попал ему в руки, только когда он уже собирался в обратный путь. Заметка была отчеркнута синим карандашом, и к ней приложена записка:

"Дорогой Юстас!

Эта дерзость, как бы она ни была безосновательна, требует внимания. Но мы ничего не станем предпринимать до твоего возвращения.

Твой Уильям Шроптон".

Быть может, Милтоун отнесся бы к этому иначе, если бы не его решение просить руки Одри Ноуэл; впрочем, вероятно, при любых обстоятельствах он только улыбнулся бы и разорвал газету. Подобные вещи так мало его волновали и огорчали, что он просто не понимал, насколько они могут взволновать и огорчить других. Если есть люди, которых это задевает, тем хуже для них. Милтоун искренне, хоть и

молчаливо, презирал обывателей, к какому бы слою общества они ни принадлежали; он и не подумал бы ни на шаг свернуть с избранного пути в угоду их блажи. Точно так же ему и в голову не приходило, что миссис Ноуэл, которую он окружил столь романтическим ореолом, способна страдать из-за каких-то пошлых сплетен. В сущности, из этих двух бумажек его больше раздосадовала записка Шроптона. Как это похоже на зятя - делать из мухи слона!

Он почти не сомкнул глаз, пока автомобиль мчался мимо спящих полей и деревень; и, добравшись до своей комнаты в Монкленде, он тоже не лег. Чудесное, окрыляющее волнение владело им - волнение человека, который вот-вот достигнет цели. И мысль и чувства обострились - ибо такова была эта женщина; при ней все его существо должно было жить полной жизнью, и он был счастлив, что она так много от него требует.

Выпив чаю, он вышел из дому и зашагал знакомой тропинкой. Не было еще и восьми часов, когда он поднялся на ближний холм. Он стоял на вершине, и вересковая пустошь внизу, и каменистые холмы вокруг, и небо над головой все было под стать владевшему им восторгу. Словно звучала прекрасная симфония, или возвышенный разум открылся ему в необъятном величии, словно сам бог предстал перед ним во всей своей многоликости. В бескрайней синеве небес был разлит покой; на востоке три огромных облака, точно мысли о судьбах тех, что пребывают внизу, медленно плыли к морю, тенями своими покрывая долины. А все вокруг сияло в солнечных лучах и переливалось всеми красками, словно осиянное улыбкой божества. Ветер с севера, где птичьей стайкой белели мелкие облачка, проносился в вышине, вольный, бесшумный, не зная преград. Перед Милтоуном пестрела равнина, подернутые дымкой зеленые, розовые, бурые поля, белые и серые крапинки домов, церквей и постепенно терялись в туманной сияей дали, замкнутой грядою дальних гор. А позади зыбилась одна лишь волнистая, поросшая вереском лилово-коричневая пустошь. В этом буйном море плещущего на ветру кустарника не видно было ни одного корабля, созданного руками человека, лишь далеко на горизонте темнела мрачная громада Дартмурской тюрьмы. Ни звука, ни запаха не долетало до Милтоуна, и ему казалось, что дух его, покинув телесную оболочку, сливается с величием божества. Так он стоял, обнажив голову, и, однако, странная

улыбка, которая всегда появлялась на его губах в минуту глубокого волнения, говорила о том, что он не покорился божьему величию, что дух его от этого слияния только крепнет - и это и есть подлинный, тайный источник владеющего им экстаза.

Милтоун лег среди камней. Лучи солнца проникали и сюда, но ветер не задувал, и молодые побеги вереска пахли терпко и сладко. И это тепло и аромат пронизывали щит его духа и прокрадывались в кровь; пламенные видения вставали перед ним, ему мерещилось нескончаемое объятие. Такое объятие и породило жизнь, из которой возник весь этот мир с несчетными формами бытия, столь бесконечно разными, что ни для одной не сыщешь двойника. И они двое тоже дадут жизнь новым людям, которые со временем займут их место в этом, великом и сложном многообразии! Это казалось таким удивительным и справедливым - ибо лишь те достойны существовать, кто передаст из поколения в поколение традиции, представляющиеся ему великими и необходимыми. А потом его захлестнула волна страстного желания, с каким ему так часто приходилось бороться и которое он так часто с огромным трудом преодолевал. Он вскочил и побежал под гору, прыгая через камни и кустики вереска.

Одри Ноуэл тоже поднялась спозаранку, хотя накануне легла поздно. Она одевалась лениво, но тщательно, ибо принадлежала к числу тех женщин, которые надевают броню в поединке с судьбой, потому что они горды и не хотят видом своих страданий доставлять страдания другим, и еще потому, что собственное тело для них подобно священному сокровищу, доверенному им на некий срок для того, чтобы радовать глаз. Кончив, она посмотрела на себя в зеркало несколько более недоверчивым взглядом, чем обычно. Она чувствовала, что женщин, подобных ей, теперь не слишком ценят, и, чуткая и восприимчивая, была неизменно недовольна и внешностью своей и поведением. И, однако, она ни в чем не менялась, по-прежнему хотела выглядеть как можно очаровательней; и, даже если некому было ею любоваться, ей все равно хотелось быть очаровательной. Как тонко подметила леди Кастерли, Одри Ноуэл была из тех женщин, которые своей излишней мягкостью только портят мужчин, и отнюдь не из тех, кто умеет постоять за себя: мужчин, которые ценят в женщине самостоятельность, она не привлекала; и, однако, чувствовался в ней какой-то совершенно

неожиданный кроткий стоицизм. Она редко сама принимала решение и обычно покорялась обстоятельствам или чужой воле, но то, что было решено за нее, доводила до конца с твердостью, которая посрамила бы самого решительного человека; она не способна была кого-либо о чем-либо просить, но все ее существо жаждало любви, как растение жаждет воды; она могла отдавать себя без остатка и при этом ничего не требовала взамен; короче говоря, она была неисправима, и тем, кто ее понимал, это в ней нравилось. И, однако, она была не совсем то, что принято называть "милочка" - выражение, которое сама она не переносила: была в ней еще и жилка своеобразного, мягкого цинизма. Она обладала поразительной зоркостью, как будто родилась в Италии, и душу ее все еще окутывал прозрачный воздух, в котором все видится так ясно и отчетливо. Она любила свет, тепло, яркие краски; если ей и свойствен был мистицизм, то мистицизм языческий; и она мало к чему стремилась, довольствуясь миром таким, каким он представал перед нею.

В это утро, надушившись геранью и покончив с другими невинными ухищрениями, без которых даже лучшая из женщин чувствует себя неуверенно, она спустилась в свою маленькую столовую, зажгла спиртовку и, просматривая газету, стала ждать, когда можно будет заварить чай.

Этот ранний час был ей всего милее. Пусть в ее собственной жизни не осталось ни капли утренней росы, но росной свежестью сверкал по утрам лик самой природы и лепестки цветов в саду; и у Одри оставалась эта радость видеть, как просыпаются крохотные зеленые создания, сколько новых родилось с рассветом, кому из них плохо, кто требует внимания. И каждое утро ей, как всем одиноким людям, начинало казаться, что она не одинока, - чувство, которое рассеивается лишь постепенно, по мере того, как приближается вечер и вновь убеждаешься в этой печальной истине. Не то чтобы время ее проходило в праздности: через Куртье она получила работу в одной газете для женщин писала музыкальные обзоры. Она была просто создана для этого. Это занятие, уход за цветами, игра на фортепьяно и помощь некоторым соседям-фермерам заполняли чуть ли не все время Одри. А она только того и хотела, чтобы занята была каждая минута, ибо ей, как всем, чей ум несколько ленив, свойственна была эта страсть к работе, не требующей выдумки и новых решений.

Вдруг она отбросила газету, подошла к столику, на котором накрыт был завтрак, вынула из вазы с цветами две веточки лаванды и, брезгливо держа их подальше от себя, вышла в сад и выкинула их за ограду.

Уничтожить две жалкие веточки, едва увидевшие свет и с самыми лучшими намерениями поставленные в вазу заботливой горничной, - очень странный и неожиданный поступок со стороны женщины, глаза которой сияют радостью при виде каждого цветка и которая старается никогда никого не обидеть. Но лавандой всегда пахли носовые платки и одежда ее мужа, с этим запахом было связано слишком многое, и Одри его не выносила. Ничто другое не напоминало ей так ясно человека, жизнь с которым постепенно превратилась в пытку. Словно раскованный этим запахом, на нее нахлынул поток воспоминаний. Воспоминания тех трех лет, когда она сделала открытие, что обречена на пожизненную каторгу, стиснула зубы и решила все терпеливо сносить; и воспоминание о том, как все это внезапно оборвалось и она бежала, чтобы в одиночестве хоть немного прийти в себя. И о том, как в первый год освобождения, которое отнюдь не было настоящей свободой, ей дважды пришлось искать себе новое убежище, чтобы уйти от сплетен - не потому, что она стыдилась своего прошлого, но потому, что оно напоминало ей о том, как она несчастна. И как наконец она перебралась в Монкленд, где мирное уединение помогло ей понемногу оправиться от пережитого. А потом встреча с Милтоуном; нежданный подарок судьбы - его дружба; откровенная радость первых четырех месяцев. Она вспоминала, как, еще не думая о любви, даже не подозревая о ней, втайне безмолвно ликовала оттого, что она не одна на свете, что в ее жизнь вошел близкий человек. И вот однажды, ровно три недели назад, когда Милтоун помогал ей подвязывать розы в саду, нечаянное прикосновение открыло ей глаза. Но даже тогда - и до того памятного вечера, до происшествия с Куртье, - она не смела себе в этом признаться. Больше озабоченная теперь его судьбою, чем своей, она тысячи раз спрашивала себя: не дурно ли она поступила? Она ему позволила себя полюбить - она, женщина, лишенная всех прав, она, чья жизнь кончена. Это тяжкий грех! Но ведь все зависит от того, что она готова ему отдать! А она рада отдать все, ничего не прося взамен. Он знает, как сложилась ее судьба, он сам сказал, что ему все известно. Она счастлива этой

любовью, и будет счастлива, и готова страдать ради нее, я ни о чем не пожалеет. Милтоун не ошибался, веря, что газетные сплетни не могут задеть Одри, хотя причины ее неуязвимости были совсем иные, чем он предполагал. Не в том дело, что она, как и он, считала подобное вмешательство в чужую личную жизнь чем-то низменным, пошлым и не стоящим внимания, - столь возвышенные и отвлеченные соображения пока не приходили ей в голову; она не огорчилась просто потому, что душой уже всецело принадлежала Милтоуну, и почти обрадовалась, когда его собственностью объявили и все остальное. Но ее охватила тревога за Милтоуна. Она поняла, что роняет его в глазах людей и, быть может (ибо, как это ни странно, она была практична и очень трезво смотрела на вещи), надолго испортит ему карьеру. Она села пить чай. Не слезливая от природы, она страдала молча. Без сомнения, Милтоун скоро придет. Что ему сказать? Конечно же, она значит для него не так много, как он для нее! Он мужчина, а мужчины забывают быстро. Но нет, он не такой, как другие. По глазам его сразу видно, что он способен глубоко страдать! О своем добром имени она ни минуты не думала. И сама жизнь, и присущий Одри трезвый взгляд на вещи убедили ее, что пресловутое доброе имя женщины вовсе не так уж важно, - его выдумали мужчины для своего удобства; в романах, в пьесах, в зале суда они из самых корыстных побуждений курят фимиам этому молью траченному божку. Чутье подсказывало ей, что мужчинам необходимо верить, будто для женщины страшно важно слыть добродетельной и неприступной: ведь только так они могут спокойно, ничего не опасаясь, владеть своими женщинами. А во что они хотят верить, в то и верят. Но она знала правду. Женщины выдающегося ума, которых ей случалось встречать и о которых эна читала, как видно, мало значения придавали физической верности или неверности, женская честь была для них прежде всего понятием духовным. А по себе Одри знала, что для обыкновенной женщины сохранить доброе имя значит не уронить себя в глазах того или той, кого любишь больше всех на свете. Что до женщин, искушенных в жизни - а таких очень много и кроме светских львиц, и все они очень разные, - она часто замечала, что им важна их репутация не сама по себе, но как некая коммерческая величина: не как венец добродетели, но как ценность, которую можно продать. Одри ничуть не опасалась тоге,

что могут сказать о ее дружбе с Милтоуном, и вовсе не думала, что брачные узы, которые она бессильна расторгнуть, запрещают ей его любить. В глубине души она чувствовала себя свободной с той самой минуты, как поняла, что никогда по-настоящему не любила мужа; она безропотно тянула лямку, пока они не разъехались, по прирожденной пассивности и потому, что причинить кому-нибудь боль было противно ее натуре. Человек, который и поныне считался ее мужем, был для нее попросту мертв, как будто он никогда и не существовал. Она знала, что не может второй раз выйти замуж. Но она может любить и любит. И если этой любви суждено зачахнуть и умереть, то уж никак не из-за высоконравственных соображений.

Она лениво развернула газету и под заголовком "Предвыборные новости" увидела следующую заметку:

"В связи с нападением на мистера Куртье нас просят сообщить, что спутницей лорда Милтоуна, пришедшего на помощь пострадавшему, была миссис Ли Ноуэл, супруга преподобного Стивена Ли Ноуэла, приходского священника в Клесемптоне, графство Уорикшир".

Эта сомнительная попытка обелить ее лишь вызвала у Одри невеселую улыбку. Не допив чай, она вышла в сад. Милтоун открывал калитку. Сердце ее заколотилось. На она спокойно пошла ему навстречу и поздоровалась, опустив глаза, с таким видом, словно ничего не случилось.

ГЛАВА XV

Восторженное настроение все еще не оставляло Милтоуна. Его всегда бледное лицо раскраснелось, глаза блестели, он был почти красив; и Одри Ноуэл, которая, как немногие женщины, умела по лицу прочесть то, что творится в душе, смотрела в эти глаза с упоением мотылька, летящего на огонь. Но в голосе ее не слышалось ни малейшего волнения, когда она сказала:

- Итак, вы со мной, позавтракаете. Как мило с вашей стороны!

Милтоун был не из тех, кто, бросаясь в бой, заботится о формальностях. Если бы ему предстояла дуэль, он тоже обошелся бы без долгих предисловий; довольно было бы взгляда, поклона - и скрестились шпаги! Так же случилось и в этом его первом поединке с душою женщины.

Он не сел сам и не дал ей сесть; глядя на нее в упор, он сказал:

- Я вас люблю.

Вот оно - и так внезапно, врасплох; но Одри не смутилась, она была странно спокойна. Теперь она твердо знает, что любима, и это такое счастье, что, словно по мановению волшебной палочки, рассеялись все страхи, осталась тихая радость. Ничто не отнимет у нее этого знания - и отныне она уже никогда не будет до конца несчастна. Притом, не рассуждая, всем существом она принимала в жизни одну лишь силу - любовь и теперь втайне ощущала небывалую уверенность, торжество. Он ее любит! И она любит его! И тут ей стало страшно: вдруг он отречется от своих слов? Она положила руку ему на грудь и сказала:

- И я вас люблю.

Так сладостно было оказаться в его объятиях, ощутить всю страстную полноту этой минуты, что Одри, не в силах ни о чем думать, только смотрела на него; губы ее приоткрылись, глаза потемнели; Милтоун и не подозревал, что взгляд может сказать так много. А сам он, обезумев от любви, не мог вымолвить ни слова. И так они стояли обнявшись, поглощенные друг другом, забыв обо всем на свете. В комнате царила тишина; розы и гвоздики в хрустальной вазе, словно зная, что их хозяйка на верху блаженства, источали благоухание, напоившее до отказа недвижный воздух, и залетная пчела вновь и вновь описывала круги вокруг влюбленных, словно чуяла мед в их сердцах.

Как уже говорилось, Милтоун не был некрасив; для Одри Ноуэл в эти минуты, когда глаза его совсем близко смотрели в ее глаза и губы касались ее губ, он преобразился и стал воплощением красоты. А она - она, чье сердце торопливо стучало так близко, чьи глаза полузакрылись от счастья, волосы благоухали, словно желая, чтобы ими восхищались, щеки побледнели от волнения и руки, отяжелев от блаженной слабости, не в силах были его обнять, казалась Милтоуну олицетворенной мечтой.

И мгновение миновало.

Его оборвала пчела: в досаде на цветы, которые скрывают свой мед так глубоко, она запуталась в волосах Одри. И тогда Одри увидела, что слова - а что может быть опаснее слов - вот-вот сорвутся с его губ, и попыталась остановить их поцелуем. И все же он сказал:

- Когда вы станете моей женой?

Мир словно пошатнулся. И Одри сразу поняла, какая над ними стряслась беда. Со сверхъестественной ясностью увидела она, как все запуталось. В памяти вспыхнуло то, что он сказал однажды, когда они говорили об отношении церкви к браку и разводу. Так, значит, он ничего не знал! Голова у нее закружилась, и только одно спасло ее от обморока - чувство юмора, ее своеобразный цинизм. Итак, сплетники сделали свое дело - объявили ее разведенной женой, а Милтоун поверил молве! И всего смехотворнее, что он хочет жениться, тогда как она в мыслях уже принадлежит ему, и это для нее свято, и она рада исполнять все его желания без каких-либо обрядов и церемоний. Гневная досада на человека, который стоял между нею и Милтоуном, всколыхнулась в ней, и она едва не разрыдалась. Тот человек завладел ею прежде, чем она успела узнать свою душу, и вот она связана с ним до тех пор, пока он, волею благодатного случая, не расстанется с жизнью, - но тогда ее волосы уже побелеют, и в глазах угаснет пламя любви, и щеки уже не будут бледнеть под поцелуями; сгустятся сумерки, и цветам и пчелам не будет до нее дела.

Эта внезапная вспышка отчаяния и гнева пожизненно осужденной придала ей силы: она взяла со стола газету и протянула ее Милтоуну.

Он прочел короткую заметку. Прошла целая вечность- минута, быть может, две. Наконец он сказал:

- Очевидно, это правда? - и, не дождавшись ответа, прибавил: Простите.

Это прозвучало так странно, так коротко и сухо - страшнее самого яростного возгласа, - что у Одри перехватило дыхание и она только молча смотрела ему в лицо.

На губах Милтоуна, точно жгучее обвинение, заиграла усмешка старого кардинала. Непостижимо, что за окном по-прежнему жужжали пчелы и шелестела листвою липа, и весь мир жил и дышал, нимало не заботясь о ней, о ее горе. Потом к Одри вернулась доля мужества и с ним - безмолвная женская власть. Прекрасное неподвижное лицо, сжатые губы, потемневшие глаза, горящие чуть ли не мятежным огнем под изогнутыми бровями, неудержимо притягивали Милтоуна.

Наконец он прервал молчание:

- Как видно, я преглупым образом ошибся. Я полагал, что вы свободны.

- Я думала, вы знаете. Я и не подозревала, что вы захотите на мне жениться, - едва шевеля губами, ответила она.

Ей казалось вполне естественным, что он думает только о себе; но, движимая инстинктом самозащиты, она напомнила и о своей трагедии:

- Должно быть, я слишком привыкла к мысли, что моя жизнь кончена.

- И нет никакого выхода?

- Нет. Ни я, ни он ни в чем не провинились; и он считает, что брак вечен и нерасторжим.

- О боже!

Она все-таки стерла с его губ усмешку, жестокую усмешку, хоть он этого и не сознавал; и с улыбкой, в которой тоже была жестокость, Одри сказала: - А я думала, что в этих случаях и вы не видите выхода.

Потом лицо ее дрогнуло, словно, ранив Милтоуна, она ранила и себя.

Теперь, глядя на нее, он понял наконец, что она страдает. Одри почувствовала, что ему огромного труда стоит не заключить ее снова в объятия. И холодные губы ее вновь порозовели, и опять засветились глаза, но она упорно не желала встречаться с ним взглядом. И хотя она застыла в гордой неподвижности, какая-то скорбная сила исходила от нее, притягивая Милтоуна точно магнитом; и его лицо и руки задрожали. Казалось, никогда не кончится этот немой, горестный поединок в белой комнатке, где было полутемно, оттого что свет заслоняла веранда, и сладко пахло гвоздикой и дровами, разгоравшимися, должно быть, на кухне. Внезапно, не сказав ни слова, Милтоун повернулся и вышел. Она услышала стук - это хлопнула калитка. Ушел.

ГЛАВА XVI

Лорд Деннис удил на муху; день был слишком солнечный, чтобы надеяться, что некрупная форель, какая водилась в этом мелком, говорливом ручье, жадно набросится на столь малозаметную приманку. И, однако, рыболов забрасывал тихонько свистящую леску во все новые закоулки, надеясь перехватить подводных путников. Он пробирался по берегу среди орешника и терновника, в костюме из

грубой шерсти и старой, мятой шляпе, и чувствовал себя совершенно счастливым. Точно старый спаньель, который когда-то гордо приносил хозяину подстреленных зайцев, кроликов и прочую дичь, а теперь рад, если ему бросят хотя бы палку, и этот некогда прославленный рыбак, совершавший набеги на воды Шотландии и Норвегии, Флориды и Исландии, теперь не брезговал форелью размером с сардинку. Тысячи волшебных воспоминаний озаряли эти часы, которые он проводил у темного ручья. Он удил неторопливо, благоговейно, точно добрый католик, снова и снова перебирающий четки, удил так истово, словно вполне серьезно, без единой жалобы готовился выудить сам себя в лучший мир. И каждая пойманная рыбка доставляла ему глубочайшее удовлетворение.

Как было бы хорошо, если бы в это утро рядом с ним была Барбара! Но он только раз после завтрака украдкой взглянул на нее, когда она не могла этого заметить, и, криво усмехнувшись, ушел один. Внизу, у ручья, все пестрело пятнами света, проходящего сквозь листву, было безветренно, тепло и вместе с тем прохладно; ветви деревьев смыкались над водой, среди множества камней образовались маленькие заводи, покрытые рябью, и не так-то просто было забросить муху. Лощина эта. заросшая кустарником, тянулась на многие мили среди теснящихся друг к дружке холмов. Ее облюбовали сойки; зато здесь было безлюдно, лишь в лачуге, соломенная крыша которой спускалась чуть не до земли, жила вдова фермера; она кормилась тем, что указывала дорогу горожанам, приезжавшим отдохнуть на лоне природы, да так ловко, что они вскоре возвращались к ней. напиться чаю.

Стараясь забросить удочку подальше, в затененный, покрытый мелкой рябью уголок, лорд Деннис вдруг услышал громкий шорох и треск - кто-то шел напролом сквозь кусты. Он слегка нахмурился: распугают всю рыбу! Нежданным гостем оказался Милтоун - разгоряченный, бледный, растрепанный, какой-то словно затравленный. При виде дядюшки он круто остановился и тотчас, как под маской, укрылся под своей обычной улыбкой.

Лорд Деннис был отнюдь не склонен замечать то, что для него не предназначено.

- А, Юстас! - сказал он только, словно встретился с племянником где-нибудь в лондонском клубе.

Милтоун не менее учтиво пробормотал:

- Надеюсь, я не спугнул вашу добычу.

Лорд Деннис покачал головой и отложил удочку со словами:

- Присаживайся, дружок, поболтаем. Ты ведь не рыболов?

Он прекрасно разглядел боль под маской Милтоуна; у него и сейчас еще был острый глаз, к тому же он и сам лет двадцать страдал из-за женщины теперь это была уже старая история - и для человека его лет на удивление чутко подмечал признаки страдания в других.

Милтоун ни от кого не принял бы такого приглашения, но было что-то в лорде Деннисе, перед чем никто не мог устоять; его суховатая, насмешливая учтивость заставляла каждого почувствовать, что ослушаться его было бы неслыханной, непозволительной грубостью.

Они сидели бок о бок на древесных корнях. Поговорили немного о птицах, потом умолкли, да так основательно, что, осмелев, невидимое население ветвей стало громко перекликаться. Наконец лорд Деннис прервал молчание.

- Этот уголок всегда напоминает мне Марка Твена, - сказал он. - Сам не знаю почему, разве, может быть, тем, что здесь всегда зелено. Люблю Твена и Мередита - вечнозеленых философов. Мужество - единственное спасение от всех бед, хотя "сильную личность" - повелителя своей души, вроде Хенли, Ницше и прочих, - я никогда не переваривал, эти мне не по нраву. А твое мнение, Юстас?

- У них были благие намерения, - ответил Милтоун, - но они против слишком многого восставали.

Лорд Деннис кивнул.

- Быть повелителем своей души! - с горечью продолжал Милтоун. - Недурно звучит!

- Очень недурно, - пробормотал лорд Деннис.

Милтоун покосился на него.

- И к вам подходит.

- Ну, нет, мой милый, - сухо сказал лорд Деннис. - Слава богу, ничего похожего.

Взгляд его был прикован к тишайшей, светлой заводи, где всплыла из глубины крупная форель. Полфунта потянет, не меньше! Мысли его лихорадочно закружились: какая из мух, наколотых у него на шляпе, тут самая подходящая? Руки так и чесались, но он не

шелохнулся, и ясень, под которым он сидел, сочувственно зашелестел листвой.

- Смотрите, ястреб, - сказал Милтоун.

Прямо над ними, выше самых высоких холмов, повис в синеве ястреб-канюк. Удивленный их неподвижностью, он присматривался, не съедобны ли они; только раз дрогнули загнутые кверху кончики широко раскинутых крыльев, словно в доказательство, что обладатель их - живая частица гордого воздушного океана, символ свободы в глазах людей и рыб.

Лорд Деннис посмотрел на внучатого племянника. Мальчику (а кто же он, как не мальчик, если ему тридцать, а тебе уже семьдесят шесть?) - что бы там с ним ни случилось - очень и очень нелегко. Он такой - будет бежать, пока не упадет замертво. Таким труднее всего помочь, это злосчастная порода, из-за всего-то они мучаются! И перед мысленным взором старика предстал терзаемый орлом Прометей. Это была его любимая трагедия, он и сейчас время от времени ее перечитывал в подлиннике, заглядывая в старый греческий лексикон, когда значение какого-нибудь слова уносили воды Леты. Да, Юстас рожден для взлетов и падений.

- Ни о чем таком говорить тебе, должно быть, не хочется? - спросил он негромко.

Милтоун покачал головой, и опять наступило молчание.

Ястреб, увидев, что они зашевелились, медленно взмахнул крыльями, словно бабочка, и исчез. А вместо него с обросшего мхом, обрызганного жаркими солнечными пятнами камня на них смотрела любопытная малиновка. В том тихом заливчике снова плеснуло.

- Она выскакивает уже второй раз, - прошептал лорд Деннис. - Пожалуй, она клюнет на "Радость рыболова".

Он извлек из шляпы последнюю новинку, привязал к леске и начал тихонько раскачивать удочку.

-- Сейчас подцеплю, - пробормотал он.

Но Милтоуна уже не было...

Новая подробность биографии миссис Ноуэл, уже известная Барбаре и сообщаемая местной газетой, стала достоянием обитателей Монкленда лишь после того, как лорд Деннис отправился удить рыбу. Одновременно выяснилось, что Милтоун вернулся из Лондона и тут же ушел, не позавтракав, и потому новость вызвала смешанные

чувства. Берти, Харбинджер и Шроптон, наскоро посовещавшись, сошлись на том, что с точки зрения предстоящих выборов, пожалуй, это лучше, чем если бы миссис Ноуэл оказалась divorcee {Разведенная жена (франц.).}, но все же полагали, что нельзя терять ни минуты, - хотя, как тут следует поступить, они решить не могли. Совершенно не известно, как к этому отнесется Милтоун при его трудном характере, а сверх того, задача оказалась дьявольски запутанной, как всегда в тех случаях, о которых справедливо говорится: чем меньше слов, тем меньше вреда. Пред ними встала самая страшная угроза - угроза публичного скандала. Изложить голые факты, не подчеркивая вытекающую из них мораль (а блюсти правила морали обязаны все без исключения), изложить их просто как некие занятные сведения, либо - того хуже - в искренней уверенности, что избиратели не должны слепо голосовать за человека, чья личная жизнь боится гласности, - не правда ли, как все законно и естественно! И, однако, сторонники Милтоуна понимали, что это простое сообщение о том, где он проводит вечера, опасно, как спичка в пороховом погребе, ибо действует на ту область людского воображения, которую легче всего воспламенить. Они хорошо знали, сколь силен некий первобытный инстинкт, который правит миром, сколь трудно ему не покориться и сколь любопытно и увлекательно, особенно в глуши, видеть или слышать, как ему покоряются другие - и сколь это с их стороны предосудительно (хотя втайне, конечно, можно на это смотреть и по-иному). Сторонники Милтоуна слишком хорошо знали, как по душе придется кое-кому этот слух, как будут облизываться добродетельные ханжи. И знали также, как заманчива эта тема для читателей, наделенных хоть малой толикой воображения: представитель высшего общества, стало быть, человек, который не привык ни в чем себе отказывать, бывает у одинокой женщины! Как выразился Харбинджер, положение и впрямь до черта неловкое. Если отвечать на газетную заметку, еще больше народу поверит, что это чистая правда. А между тем она отравляет умы, это они чувствовали и по себе: тайный голос твердил каждому, что они и сами всему поверили бы, не знай они настоящей правды. И не решаясь что-либо предпринять, они в растерянности ждали Милтоуна.

Леди Вэллис встретила новость вздохом величайшего облегчения, но заметила, что это, вероятно, просто очередная выдумка. Когда же

Барбара подтвердила, что газета не лжет, она сказала только: "Бедный Юстас!" - и тотчас написала супругу, что Незнакомка все еще замужем, а значит, самого худшего, к счастью, можно не опасаться.

Милтоун вернулся домой ко второму завтраку, но по его лицу и поведению ничего нельзя было угадать. Он был, пожалуй, чуть словоохотливей обычного и стал рассказывать о речи Брэбрука - часть ее он слышал. Он многозначительно посматривал на Куртье, а после завтрака спросил:

- Не заглянете ли ко мне?

Эта комната в елизаветинском крыле Монклендской усадьбы была когда-то гостиной, и ее заполняли гобелены, вышивки и молитвенники прекрасных дам, утопавших в кружевах и оборках; теперь их заменили книги, брошюры, дубовые панели, трубки, рапиры, а одну стену занимала коллекция, которую Милтоун вывез из Соединенных Штатов, - оружие и украшения индейцев. На этой стене надо всем царила бронзовая посмертная маска знаменитого вождя племени апашей - копия гипсового слепка, сделанного профессором Йэльского университета, который объявил покойного вождя идеальным представителем вымирающей расы. Лицо это, пугавшее странным сходством с Данте, словно накладывало на все в комнате отпечаток какого-то жестокого и трагического стоицизма. Взглянув на него, нельзя было не почувствовать: вот воплощение несокрушимой воли, дающей человеку силы вынести непосильное.

Куртье, увидевший эту маску впервые, сказал:

- Превосходная штука! Кажется, вот-вот оживет.

Милтоун кивнул.

- Садитесь, - предложил он.

Куртье сел.

Последовало долгое молчание - в такие минуты люди, даже очень разные, но которых роднит известная широта души, многое могут без слов сказать друг другу. Наконец Милтоун заговорил:

- Как видно, до сих пор я витал в облаках. Вы ее старый друг. Самое важное сейчас - так сделать, чтобы эта мерзкая сплетня задела ее возможно меньше.

Слово "мерзкая" прозвучало, как удар хлыста. Даже и сам Куртье не сумел бы вложить в него больше презрения.

- Не обращайте внимания, - сказал он Милтоуну. - Пусть их болтают. Она из-за этого волноваться не станет.

Милтоун слушал молча, с каменным лицом.

- Ваши здешние друзья, кажется, очень всполошились, - чуть презрительно продолжал Куртье. - Не давайте им вмешиваться, пускай помалкивают. Отнеситесь к этой сплетне, как она того заслуживает. Она заглохнет сама собой.

Милтоун скептически улыбнулся.

- Я не уверен, что все выйдет, как вы говорите, - сказал он. - Но я последую вашему совету.

- Что до вашей кандидатуры, всякий, кто не совсем чужд благородства, именно теперь вас и поддержит.

- Возможно, - сказал Милтоун. - Но меня все-таки не изберут.

И, смутно почувствовав, что в их последних словах сказалась вся разница характеров и убеждений, они испытующе посмотрели друг на друга.

- Нет, - сказал Куртье, - никогда не поверю, что люди так низки.

- Пока не увидите этого своими глазами.

- Ну, хоть мы и подходим к этому по-разному, в главном мы согласны.

Милтоун облокотился на каминную доску и заслонил лицо рукой.

- Вы знаете ее судьбу, - сказал он. - Есть какой-нибудь выход?

На лице Куртье появилось выражение, с каким он всегда сражался на стороне тех, кто проигрывает: на него словно лег жаркий отсвет огня, пылавшего в его сердце.

- Выход только один, - сказал он спокойно. - По крайней мере, так поступил бы я на вашем месте.

- А именно?

- Не посмотрел бы ни на какие законы.

Милтоун отнял руку от лица. Взгляд его, устремленный куда-то вдаль, вновь обратился на Куртье.

- Да, - сказал он. - Другого я от вас и не ждал.

ГЛАВА XVII

В эту ночь, когда все в доме стихло, Барбара в халате, с распущенными волосами, выскользнула из своей комнаты в полутемный коридор. Неслышно ступая в обшитых мехом домашних туфлях на босу ногу, она тихо переходила от одной двери к другой. В

высокое, незавешанное готическое окно вливался мягкий лунный свет. Барбара остановилась у той двери, перед которой на полу растеклось луням пятно, и постучала. Никакого ответа. Она осторожно приотворила дверь.

- Юсти, ты спишь?

Опять никакого ответа; она вошла.

Занавеси были задернуты, но пробившийся между ними луч падал на кровать. Она была пуста. Барбара стояла в нерешительности, прислушиваясь. В самой глубине этой тьмы ей почудилось что-то - не звук, но словно еле уловимая тень звука, странная дрожь, - так беззвучно трепещет в воздухе язычок свечи. Барбара прижала руку к груди, сдерживая стук сердца казалось, оно вот-вот выпрыгнет, прорвав тонкий шелк. Из какого угла комнаты исходит этот безмолвный трепет? Она подкралась к окну, слегка раздвинула занавеси и обернулась, вглядываясь в темноту. В другом конце комнаты, прямо на полу, обхватив голову руками, лицом к стене лежал Милтоун. Барбара выпустила занавеси и замерла, у нее перехватило дыхание; незнакомое чувство шевельнулось в ней - протест, уязвленная гордость. Но тотчас все захлестнула жалость. Она быстро шагнула вперед, в темноту, и остановилась: ей стало страшно. Весь вечер брат был точно такой же, как всегда. Быть может, чуть больше говорил, чуть больше язвил, чем обычно. И вот что с ним теперь! Барбаре от природы было отпущено не так уж много почтительности, но все, сколько было, безраздельно принадлежало старшему брату. Еще совсем девочкой она чувствовала, что он особенный, недоступный, и с гордостью целовала его ведь он никому другому не позволял себя целовать! Несомненно, эта детская ласка радовала ее как завоевание: лицо Милтоуна было для ее губ неведомой страной. Она любила Милтоуна, как любишь то, что возвышает тебя в собственных глазах; и притом было в ее чувстве к нему что-то покровительственное, материнское, точно к кукле, которая немножко не в ладах с другими куклами, и толика непривычного благоговения.

Посмеет ли она ворваться в эту его тайную муку? Что, если бы ее кто-нибудь застал вот так поверженной страданием? Он ее не слышал, и она стала отступать к двери. Но под ногой скрипнула половица;

Юстас шевельнулся, и она, отбросив все свои страхи, опустилась подле него на колени:

- Это я, Бэбс!

Не будь в комнате такая непроглядная тьма, она никогда бы на это не осмелилась. Она хотела прижать к себе голову брата, но не нашла ее в темноте и ощутила под рукой его плечо. И стала снова и снова гладить его по плечу. Не возненавидит ли он ее за это на всю жизнь? Какое счастье, что здесь такая тьма, кажется, будто ничего не происходит - и в то же время от этого еще страшнее. И вдруг плечо Юстаса ускользнуло из-под ее руки. Барбара поднялась и тихо вышла. После темной комнаты коридор показался ей полным серого туманного света, словно призрачные пауки заткали его от стены до стены, и в этих сетях бьется несчетное множество белых мотыльков, таких крохотных, что их и не разглядеть. Всюду чудились какие-то едва уловимые шорохи. Барбару вдруг охватил страх, захотелось тепла, света, ярких красок. Она кинулась к себе. Но уснуть не могла. Ее преследовал тот пугающий незримый трепет в комнате, полной мрака, - словно язычок свечи дрожит в недвижном воздухе; она еще чувствовала на своей щеке пылающую руку брата; вновь и вновь пронзало ее все пережитое в те страшные минуты. Жестокая сила любви впервые открылась ей во всем своем скорбном неистовстве. Вот он каков, алый цветок страсти, одним лишь видом своим он опалил ей щеки; она лежала в прохладной постели, а по всему телу опять и опять пробегала мгновенная жгучая дрожь; невидящими глазами она смотрела в потолок. Быть может, та женщина, которую так любит Юстас, тоже лежит сейчас без сна, распростертая на полу, в напрасной жажде прохлады и покоя прижимаясь пылающим лбом и губами к холодной стене?

Долгие часы Барбара не могла уснуть, а потом ей пригрезилось, что она отчаянно, изо всех сил бежит по лугам, поросшим высокими колючими цветами, похожими на асфодели, а за нею гонится ее двойник.

Утром ей страшно было сойти вниз. Как встретиться с Милтоуном теперь, когда она знает о сжигающей его страсти и он знает, что она знает? Она попросила, чтобы завтрак принесли ей в комнату. Не успела она кончить, как вошел Милтоун. Он казался особенно недоступным, чтобы не сказать насмешливым.

- Если поедешь кататься, вот записка, отвези, пожалуйста, старику Холидею в Уиппинкот, - попросил он.

И Барбара поняла: самым своим приходом он сказал все, что хотел сказать о тех горестных ночных минутах. Да, конечно, о том, что было ночью, надо молчать, иначе просто нельзя будет смотреть друг другу в глаза. И, благодарно поглядев на брата, она взяла записку.

- Хорошо, отвезу.

Милтоун неторопливо обвел взглядом комнату и вышел.

А Барбара осталась растревоженная, лишенная покрова безмятежной уверенности, охваченная непривычным тревожным ожиданием: вот сейчас перед нею затрепещут пестрые крылья жизни и прозвучит их порывистый шелест. В это утро ее злило каждое слово окружающих: вечно те же разговоры о том, что происходит сегодня и что будет завтра, все принимают мир таким, как он есть, и ничего другого не желают. На прогулку она выехала одна. Ей хотелось услышать не о том, что есть, но о том, что может быть, проникнуть взором сквозь завесу и подсмотреть сокровенную суть вещей, освобожденную от будничной оболочки. Необычное для Барбары настроение; ведь в этом прекрасном, безупречно здоровом теле кровь так спокойно струилась по жилам, что странно было ей не наслаждаться настоящей минутой и ее дарами. Она и сама понимала, как необычно то, что с ней творится. После прогулки верхом она отказалась от второго завтрака и пошла побродить. Но часа в два, изрядно проголодавшись, зашла в первый попавшийся дом и попросила стакан молока. На кухне, на скамье перед очагом, где пылал огонь, точно три галчонка с жадными клювами, сидели три паренька и жевали хлеб с сыром. Над головами у них висело охотничье ружье, в дыму коптились два окорока. Черноволосая девушка резала лук, у ног ее лежала старая-престарая овчарка, положив морду на вытянутые лапы, - в маленьких голубых глазах старого пса мерцало предчувствие надвигающейся вечности. Все уставились на Барбару. А один паренек радостно улыбнулся ей, и улыбка так и осталась на его лице; он явно забыл обо всем на свете и видел только ее одну. Барбара выпила молока и неторопливо вышла; спустилась по крутой каменистой тропинке с холма, вышла за ворота и села на нагретый солнцем камень. Солнечные лучи жадно набросились на нее, словно быстрая незримая рука скользила по ней,

всего нежней касаясь лица и шеи. Тихий, ласковый ветерок, что летал меж холмов, играя молодым папоротником, прильнул к ней, обдал терпким и свежим ароматом. Все дышало теплом и покоем, лишь где-то далеко в кустах терновника, - словно эти колючие ветви отвел ей сам творец, - куковала кукушка, тревожа сердце. Но как ни был свеж, напоен благоуханием этот чудесный день, он не приносил Барбаре успокоения. По правде говоря, она и сама не знала, что с ней, только ощущала какую-то тревогу, тоскливую пустоту в душе и жгучую досаду... бог весть на кого и на что. Мучительное чувство, - казалось, что-то ускользает от нее, безвозвратно проходит мимо. Никогда еще она не испытывала ничего подобного, ибо не было на свете девушки, меньше склонной к беспричинной грусти и сожалениям. И все время она невольно сжимала губы и хмурилась, презирая себя за излишнюю чувствительность и малодушие. В ней всегда воспитывали преклонение перед "твердостью", которую никак нельзя было совместить с нахлынувшими на нее сейчас чувствами, и потому она прислушивалась к себе насмешливо и недоверчиво. Не терпеть чувствительности и сумасбродства ни в себе, ни в других - таково было первое правило: никогда не распускаться. Вот почему Барбаре было чуть ли не отвратительно ее новое настроение. И, однако, справиться с ним не удавалось. Тогда она решила махнуть на все рукой и дать себе полную волю. Развязав шарф, она подставила ветру обнаженную шею и раскинула руки, словно готовая его обнять; потом со вздохом поднялась и побрела дальше. Ей вспомнилась Незнакомка, и она снова и снова думала о том, в каком положении очутилась эта женщина. Уже одна мысль, что молодое, красивое существо лишено всех радостей жизни, пробуждала в Барбаре досаду и гнев: попробовали бы проделать такое с нею! Она бы им показала! При всей своей тщательно воспитываемой "твердости" Барбара не могла видеть чьих бы то ни было страданий. Всякое страдание казалось ей противоестественным. Приходя в больницу, где на средства леди Вэллис содержалась целая палата, или на виллу, куда летом привозили детей-калек, или на благотворительный концерт для изнуренных тяжелым трудом рабочих, Барбара каждый раз чувствовала такую жгучую жалость, что у нее перехватывало дыхание. Однажды, когда она пела в концерте, вид всех этих худых, бледных лиц так потряс ее, что она забыла и слова и мелодию и, внезапно замолчав, подарила

своих слушателей улыбкой, которая, быть может, была им дороже недопетого романса. И каждый раз после подобного зрелища она уносила в душе возмущение, чуть ли не ярость, и продолжала заниматься благотворительностью лишь потому, что знала: в ее кругу не принято от этого уклоняться.

Но не жалость и не возмущение заставили ее остановиться у домика миссис Ноуэл; и не любопытство. Просто ей очень захотелось пожать этой женщине руку.

Одри Ноуэл, видимо, приняла свое горе, как умеют это делать только женщины, неспособные за себя постоять: она вела себя так, как будто ничего не произошло, разве что побледнела немного да плотно сжаты были губы.

В первую минуту обе молчали и не решались посмотреть друг другу в глаза. Наконец Барбара порывисто шагнула к Одри и поцеловала ее.

После этого, точно двое детей, которые сперва целуются, а потом уже знакомятся, они отступили на шаг и, чуть улыбаясь, молча смотрели друг на друга. Поцелуй этот, полный неподдельной нежности и понимания, словно означал: мы обе - женщины, весь мир против нас, но мы заодно; а через минуту обеим стало немного неловко. Обменялись бы они поцелуем, будь судьба не так жестока? Разве он не знак случившейся беды? Так говорила улыбка миссис Ноуэл, и улыбка Барбары невольно подтверждала ее правоту. Обе поняли, что разговор возможен лишь самый простой, обыденный, и заговорили о музыке, о цветах, о том, какие забавные мохнатые лапки у пчел. Глаза Барбары улыбались, держалась она легко и непринужденно и, однако, поневоле замечала каждую мелочь, по которой женщина всегда угадывает, что творится в душе другой женщины. Она видела, как еле заметно подергиваются уголки рта, как внезапно расширяются и темнеют глаза и судорожный вздох колеблет тонкую блузку. И воображение, подстегиваемое памятью о минувшей ночи, рисовало ей эту женщину во власти воспоминаний о любви. В ней шевельнулась нетерпеливая досада, с какою прирожденный завоеватель смотрит на натуры безвольные и покорные, - быть может, к досаде примешивалась и капля зависти.

Что бы ни решил Милтоун, эта женщина всему подчинится! Такая покорность, хоть она и упрощала дело, оскорбляла Барбару, ибо

какая-то часть ее существа возмущалась всякой бездеятельностью и восставала против каждого, кто подавляет чужую волю, хотя бы это был и ее любимый брат.

- Неужели вы все стерпите? - воскликнула она. - Неужели не попробуете освободиться? Будь я на вашем месте, я бы не успокоилась, пока не добилась бы свободы.

Но миссис Ноуэл не ответила; и, охватив ее взглядом с головы до ног, нежную, женственную, всю в белом, с короной мягких темных волос, Барбара воскликнула:

- Я вижу, вы фаталистка!

И вскоре после этого, не зная, о чем еще говорить, простилась и ушла. Но по дороге домой, в полях, где на легких качелях ветерка весело качалось лето и где уже не было грозного быка, одни бурые коровы щипали лютики и повитель - Барбара неотступно думала над этим неожиданным открытием: оказывается, в мягкости и покорности таится особая сила! Словно в белой стройной фигуре и в голосе Незнакомки она увидела и услышала что-то нездешнее, непостижимое и все же несомненное.

ГЛАВА XVIII

Разговоры о войне утихли, и, получив возможность отдохнуть от государственных дел, лорд Вэллис в пятницу вечером возвратился домой. Сказать, что узнав, что миссис Ноуэл не свободна, он испытал чувство облегчения, было бы слишком мягко. Его взгляды на неравные браки были не столь старомодны, как взгляд его тещи, он готов был признать, что кастовая замкнутость отжила свое, и только посмеивался и пожимал плечами при виде многочисленных союзов, с помощью которых аристократия поправляет свои денежные дела; притом как специалист он не раз говорил об опасных последствиях частых браков в одном и том же узком кругу; но собственная семья - совсем другое дело, тут он был весьма чувствителен; пожалуй, тому виной было еще и замужество Агаты: Шроптон, конечно, славный малый и богат чрезвычайно, но все же он всего лишь третий баронет, а предки его были уж вовсе не знатного происхождения. Нет, если к тому не вынуждают материальные обстоятельства, не следует выходить за пределы своей среды. Сам он их не преступил. И надо же считаться с чувствами окружающих!

Наутро, еще до завтрака, лорд Вэллис пошел взглянуть на собак и, беседуя с псарем и лаская влажные носы двух своих любимых пойнтеров, почувствовал себя как школьник, отпущенный на каникулы. Красавцы пойнтеры жались к его ногам, виляли хвостами, изнемогая от гордости и преданности, смотрели в лицо хозяину желтыми монгольскими глазами, и у него становилось тепло на душе, как бывает только, когда отдаешься своему заветному пристрастию. Эту пару он получил от родителей, состоящих в самом близком родстве, и огромный риск увенчался успехом. Рискнуть ли еще раз, скрестив эту породистую пару? Может быть, удастся наконец получить потомство без малейших следов рыжины в масти? Это была азартная игра, потому-то она так захватывала.

Тонкий голосок нарушил течение его мыслей; лорд Вэллис обернулся и увидел Энн. Накануне вечером, когда он приехал, она уже спала, а значит, сейчас он был для нее самой последней новостью.

Держа на руках морскую свинку, Энн быстро заговорила:

- Дедушка, тебя бабушка зовет. Она на площадке перед домом, она разговаривает с мистером Куртье. Он мне нравится, он добрый. А если я пущу свинку на землю, собаки ее укусят? Бедненькая, ее не надо кусать! Правда, она милая?

Покручивая усы, лорд Вэллис неодобрительно посмотрел на морскую свинку - он любил только тех животных, которые что-то смыслят.

Сжимая свинку в руках, точно гармонику, Энн раскачивала ее над головами пойнтеров, а те, сморщив носы и скаля зубы, следили за приманкой жадными глазами.

- Бедненькие, они хотят ее съесть, да? Дедушка!

- Что?

- Ты думаешь, новые щенятки будут все-все в пятнышках?

- Очень может быть, - все так же подкручивая усы, ответил лорд Вэллис.

- А почему ты любишь, когда они в пятнышках? Ой, они целуют Самбо! Ну, мне надо идти!

Слегка подняв брови, лорд Вэллис последовал за внучкой.

Жена увидела его и пошла навстречу. Щеки ее раскраснелись, и выражение лица было решительнее обычного - так бывало всегда, когда ей противоречили. А ей только что пришлось скрестить клинки

с Куртье, с которым, поскольку он первый открыл Карадокам истинное положение миссис Ноуэл, позволительна была известная откровенность. Спор возник, когда леди Вэллис самым, как ей казалось, естественным образом и без какого-либо недоброго умысла заметила, что во всем случившемся виновата миссис Ноуэл: следовало с самого начала дать Милтоуну понять, что она не свободна.

Куртье мгновенно побагровел.

- Тем, кто не испытал, каково быть одинокой женщиной, очень легко ее осуждать, леди Вэллис.

Не привыкшая к возражениям, она удивленно посмотрела на него.

- Я меньше всего склонна сурово отнестись к женщине только во имя каких-либо условностей. Но мне кажется, такое поведение свидетельствует о бесхарактерности.

Ответ Куртье прозвучал почти грубо:

- Не все растения двужильны, леди Вэллис. Иные, как известно, очень чувствительны.

- Вам угодно называть это столь возвышенно, но есть другое слово: слабы.

Куртье гневно выпрямился, прикусил ус.

- Каких только преступлений не совершают, прикрываясь теорией, что "выживают наиболее приспособленные"! Для всех вас, кому в жизни повезло, это очень удобная теория!

- О, об этом стоит поговорить, - сказала леди Вэллис, гордая своим самообладанием. - Мне кажется, вам не хватает умения философски смотреть на вещи.

Куртье поглядел на нее в упор. Странная, недобрая улыбка кривила его губы; леди Вэллис вдруг и встревожилась и рассердилась. Конечно, чудака вроде Куртье можно обласкать, можно даже восхищаться им, но всему есть предел. Однако она тут же спохватилась, что он гость в ее доме, и сказала только:

- В конце концов, может быть, нам и не стоит об этом говорить.

И, уже повернувшись, чтобы уйти, услышала ответ Куртье:

- Как бы то ни было, я уверен, Одри Ноуэл ни минуты не хотела ввести вашего сына в заблуждение. Для этого она слишком горда.

Хотя леди Вэллис и была задета, она не могла не оценить, как рыцарски он заступается за эту женщину.

- Мы с вами еще как-нибудь сразимся, мистер Куртье! - сказала она с вызовом.

И пошла навстречу мужу, ощущая приятный воинственный подъем, как всегда после какой-нибудь схватки.

Супруги Вэллис были добрыми друзьями. Они поженились когда-то по любви, и хоть человеку свойственно порою поддаваться соблазнам, надо считать, что союз их оказался прочным и вполне себя оправдал. Поскольку оба, занимая видное положение в обществе, вели жизнь деятельную, им не так уж много приходилось бывать вдвоем, но после этого обоим всегда прибавлялось бодрости и веры в себя. До сих пор они еще не успели обсудить увлечение сына; и теперь, взяв мужа под руку, леди Вэллис увлекла его подальше от дома.

- Я хочу поговорить с тобой о Милтоуне, Джеф.

- Гм... да. У мальчика измученный вид. Хоть бы уж остались позади эти выборы.

- Если он потерпит поражение и не найдет себе какого-то нового серьезного занятия, он совсем изведется из-за этой женщины.

Лорд Вэллис ответил не сразу.

- Не думаю, Гертруда, - сказал он наконец. - У Милтоуна достаточно твердый характер.

- Да, конечно! Но это самая настоящая страсть. А ты ведь знаешь, он непохож на большинство молодых людей, которые довольствуются тем, что само идет в руки.

Она сказала это почти печально.

- Мне ее жаль, - задумчиво промолвил лорд Вэллис. - Право, жаль.

- Говорят, эта сплетня очень повредила Милтоуну.

- Мы пользуемся достаточным влиянием и как-нибудь справимся с этим.

- Да, но это будет нелегко. Хотела бы я знать, что Милтоун намерен делать. Ты его не спросишь?

- Лучше ты сама его спроси, - возразил лорд Вэллис. - Такие разговоры не по моей части.

Леди Вэллис смутилась.

- Знаешь, дорогой, с Юстасом мне всегда как-то неловко, - пробормотала она. - Эта его улыбка сразу выбивает у меня почву из-под ног,

- Но тут ведь, без сомнения, женское дело. Кому же с ними и говорить, как не матери.

- Будь это любой из детей, только не Юстас... С ним почему-то чувствуешь себя ужасно неуклюжей.

Лорд Вэллис искоса поглядел на жену. Под влиянием случайно брошенного слова в нем, как всегда, пробудилась критическая жилка. Неуклюжа она? Прежде ему это не приходило в голову.

- Что ж, если так надо, я с ним поговорю, - со вздохом сказала леди Вэллис.

Когда она после завтрака вошла в "берлогу" Милтоуна, он пристегивал шпоры, собираясь ехать в какую-то дальнюю деревню. Под маской вождя апашей стоял Берти, еще более непроницаемый и подтянутый, чем всегда, в безупречно повязанном галстуке, безупречного покроя бриджах и сапогах, начищенных до такого блеска, что желтая кожа их начала отсвечивать черным. Берти Карадок не был заядлым франтом, но он, кажется, скорее умер бы, чем осрамил своим видом лошадь. Острые глаза его, тем более зоркие, что они никогда не раскрывались во всю ширь, мгновенно подметили желание матери остаться наедине со старшим братом, и он тихо вышел из комнаты.

Всех, кому приходилось иметь дело с Милтоуном, рано или поздно сбивало с толку одно малоприятное открытие: никогда нельзя было знать заранее, как он отнесется к вашим словам и поступкам. В складе ума его, как и в лице, была известная правильность, и вдруг - непонятно, как и почему - все смещалось и искажалось, точно в кривом зеркале. Без сомнения, это сказывалось наследственное своеобычное упорство, которое многим предкам Милтоуна помогло когда-то выдвинуться, ибо в жилах его текла кровь не только Фитц-Харолдов и Карадоков, но и других выдающихся родов английского королевства, и у всех у них в те века, когда главным в человеке еще не были деньги, существовал предок, обладавший нравом, быть может, не всегда приятным, но всегда напористым.

И вот леди Вэллис, хоть была она, как и подобает такой рослой, крепкой женщине, совсем не робкого десятка и терялась не часто, начала что-то лепетать о политике в надежде, что сын облегчит ей задачу. Но надежда оказалась напрасной, и леди Вэллис все больше

нервничала. Наконец, призвав на помощь все свое хладнокровие, она сказала:

- Меня ужасно огорчает вся эта история, мой мальчик. Отец рассказал мне о вашем разговоре. Старайся не принимать все это слишком близко к сердцу.

Милтоун не ответил, а так как молчания леди Вэллис обычно боялась больше всего, она в поисках спасения произнесла целую речь, обрисовала сыну все случившееся в том свете, как оно ей представлялось, и закончила словами:

Не стоит из-за этого расстраиваться.

Милтоун выслушал мать с обычным своим отчужденным видом, точно смотрел вдаль сквозь забрало шлема. Потом улыбнулся, сказал: "Благодарю" - и распахнул дверь.

Еще не понимая толком, чего от нее хотят, - по совести говоря, она вообще ничего в эту минуту не понимала, - леди Вэллис вышла из комнаты, и Милтоун притворил за нею дверь.

Десять минут спустя он и Берти уже ехали прочь от дома.

ГЛАВА XIX

В этот день ветер, медленно, но неуклонно усиливаясь, нагнал с юго-запада стаи туч. Они рождались где-то над Атлантическим океаном и плыли, сначала легкие, быстрые, точно белые ладьи - застрельщики могучего флота, потом - все чаще, гуще, заслоняя солнце. Часа в четыре хлынул дождь, ветер с холодным шелестом и свистом нес его струи почти горизонтально. Как умирает сияющая прелесть юного лица под холодными житейскими ливнями, так умерла красота вересковой пустоши. Каменистые холмы превратились из воздвигнутых самой природой замков в уродливые серые наросты. Даль исчезла. Умолкли кукушки. Тут не было и той красоты, какая присуща смерти, ни следа трагического величия, только унылое однообразие. Но около семи часов солнце вновь пробилось сквозь серую пелену и ослепительно засверкало. Словно гигантская звезда, простершая лучи свои вдаль, за горизонт, и в самую недосягаемую высь, сияло оно необычайным, грозным блеском; тучи, пронзенные копьями его лучей, налились оранжевым светом и словно в изумлении теснились друг к другу. Под жарким дыханием этого могучего светила вереск начал куриться, и его влажные, еще не раскрывшиеся бубенцы вспыхнули мириадами крохотных дымящихся пожаров. Вымокнув до

нитки, братья молча скакали к дому. Они всегда были добрыми друзьями, но говорить им, в сущности, было не о чем: Милтоун понимал, что его образ мыслей слишком чужд Берти; а Берти даже, брату ни намеком не хотел открывать своих мыслей, как не любил он делиться дипломатическими новостями, секретами конюшен и ипподромов и иными своими познаниями, ибо ему казалось, что, разделив их с другими, он уже не будет в жизни господином. Он не любил откровенничать, потому что втайне опасался утратить долю высоко им! ценимой независимости - это уязвляло странную гордость, запрятанную глубоко в тайниках его души. Но скупой на слова, он был склонен к раздумью - дар, которым нередко бывают наделены люди решительные и желчные. Однажды, отправившись на охоту в Непал, он не без удовольствия провел целый месяц с глазу на глаз с единственным слугой-туземцем, не говорившим ни слова по-английски. И когда его потом спрашивали, как он там не умер со скуки, он неизменно отвечал:

- Какая же скука? Я много думал.

Беде Милтоуна он не мог не сочувствовать как брат, но и возмущался ею как убежденный холостяк. Уж эти женщины, с ними хлопот не оберешься! Он испытывал глубочайшее недоверие к этим созданиям, которые так умеют вывернуть вас наизнанку. Берти был из тех мужчин, в которых женщина может в один прекрасный день пробудить подлинную, глубокую привязанность; но до этого дня они относятся с истинно мужским презрением ко всем женщинам без исключения. А потом ко всем, за исключением одной. Женщины как сама жизнь, за "ими надо зорко следить, с осторожностью пользоваться тем, что они могут дать, и держать их в должном повиновении. Вот почему единственный намек на горе Милтоуна, которым ограничился Берти, прозвучал совершенно неожиданно:

- Надеюсь, ты бросишь это гиблое дело. Ответом было молчание. Но когда они проезжали мимо домика миссис Ноуэл, Милтоун сказал:

- Прихвати мою лошадь; я зайду сюда.

Она сидела у фортепьяно, уронив руки на клавиши и неподвижно глядя в ноты. Она сидела так уже давно, но значки на нотных линейках все еще не дошли до ее сознания.

Когда тень Милтоуна упала на ноты, которых она не видела и при свете, она слегка вздрогнула и поднялась. Но не шагнула ему

навстречу и ничего не сказала.

Милтоун, тоже не говоря ни слова, прошел к камину и остановился, глядя вниз, на пустую холодную решетку. Дымчатый кот, следивший за полетом ласточек и потревоженный приходом гостя, спрыгнул с подоконника и укрылся под креслом.

Минуты молчания, в которые решалась их судьба, показались обоим бесконечными; но ни тот, ни другая не в силах были прервать его.

Наконец, тронув Милтоуна за рукав, Одри сказала:

- Вы совсем промокли!

От этого прикосновения, робкого и все же словно бы говорящего о каких-то ее правах на него, Милтоун вздрогнул. И опять они застыли в молчании, в котором только и слышалось, как кот вылизывает лапу.

Но Одри лучше умела молчать, чем Милтоун, и пришлось ему заговорить первым.

- Простите, что я пришел. Надо что-то предпринять. Эта сплетня...

- А, вы об этом... - сказала она. - Что я могу сделать, чтобы эти разговоры вам не вредили?

Настала очередь Милтоуна презрительно усмехнуться.

- О господи! Пусть их болтают.

Взоры их встретились и уже не могли оторваться друг от друга.

Наконец миссис Ноуэл сказала:

- Простите ли вы меня когда-нибудь?

- За что же... я сам во всем виноват.

- Нет, я должна была знать вас лучше,

Милтоун поморщился, словно от боли: так много было в этих словах почти неуловимое и потрясающее признание в том, на что она была готова для него, и горькая мысль, что он не готов и никогда не был готов отстаивать свое чувство наперекор судьбе.

- Дело не в том, что я боюсь... поверьте хотя бы этому.

- Верю.

И опять долгое, долгое молчание. Но хоть они стояли так близко, почти касаясь друг друга, они уже друг на друга не смотрели. Потом Милтоун сказал:

- Что ж, простимся.

Он сказал это внятно, даже чуть улыбаясь, но губы его искривились от боли; и лицо миссис Ноуэл стало белее платья. Но на лице этом горели огромные глаза, и казалось, в них сосредоточена вся ее жизнь, вся гордость и скорбный упрек.

Не в силах унять дрожь, яростно обхватив себя руками за плечи, Милтоун отошел к окну. За его спиной - ни единого звука. Он оглянулся: миссис Ноуэл не сводила с него глаз. Он порывисто закрыл лицо рукой и быстро вышел. Несколько минут миссис Ноуэл стояла не двигаясь; потом снова подошла к фортепьяно, и села, и опять вперила взгляд в ту же строчку нот. И кот опять прокрался к окну и стал следить за ласточками. На верхних ветвях липы медленно угасал свет заходящего солнца; потом начал накрапывать дождь.

ГЛАВА XX

У Клода Фресни, виконта Харбинджера, в тридцать один год было, вероятно, меньше забот, чем у любого другого пэра во всем Соединенном королевстве. Благодаря одному из предков, который приобрел земли и переселялся в лучший мир за сто тридцать лет до того, как на малой части его земель построен был городок Нетлфолд, а также отцу, который умер, когда сын был еще младенцем, но перед смертью очень разумно продал упомянутый городок, виконт Харбинджер, помимо своих земель, обладал весьма солидным доходом. Он был высок, хорошо сложен, с красивым, мужественным лицом и на первый взгляд все в нем так и дышало силой, но это впечатление почему-то рассеивалось, едва он раскрывал рот. И дело было не столько в его манере говорить быстро, небрежно, щеголяя грубоватыми новомодными словечками и все обращая в шутку, сколько в ощущении, что ум, диктующий эти речи, по самому складу своему предпочитает выбирать пути наименьшего сопротивления. И действительно, он был из тех людей, какие нередко играют видную роль в обществе и в политике просто потому, что они недурны собой, богаты, знатны, уверены в себе и довольно деятельны - отчасти по природной склонности, отчасти по унаследованной привычке всегда идти напролом. Бездельником он, во всяком случае, не был: написал книгу, путешествовал, носил звание капитана территориальных войск, был мировым судьей, отлично играл в крикет и много ораторствовал. Сказать, что он лишь притворялся пылким сторонником социальных преобразований, было бы несправедливо. Он по-своему ими

увлекался, а стало быть, не лишен был ни воображения, ни доброты. Но в нем была чересчур сильна привычка, смолоду воспитываемая в британцах его круга привилегированной школой, привычка, которая так въелась, что стала второй натурой, - все на свете оценивать с точки зрения мерок и предрассудков своей касты, Поскольку все его друзья и знакомые точно так же погрязли в этой привычке, он, естественно, ее не замечал; напротив, он весьма строго осуждал в политике всякую предубежденность и узость взглядов, которую тотчас подмечал, например, у нонконформистов или лейбористских деятелей. Никогда в жизни он не признался бы, что для него иные двери захлопнулись уже с самого его рождения, закрылись на засов его поступлением в Итон и были заперты наглухо Кембриджем. Никто не стал бы отрицать, что в нем есть немало хорошего: высокая честность, прямодушие, порядочность, душевная чистоплотность, уверенность в своих силах и при этом отвращение ко всему, что, так сказать, официально признано жестокостью; и сознание своего долга служить государству, которое существует прежде всего для блага привилегированной школы и управляется ее питомцами; но потребовалось бы куда больше самобытности, чем Харбинджеру было отпущено природой, чтобы он сумел взглянуть на жизнь с какой-то иной точки зрения, чем та, что прививалась ему с колыбели. Чтобы до конца понять этого человека, следовало бы без предубеждения, свежим взглядом поглядеть на какие-нибудь крупные крикетные состязания, видным! участником которых он бывал в школьные годы; следовало бы с какого-нибудь нейтрального места, с высоты, в час перерыва понаблюдать за стадионом, сплошь заполненным удивительной толпой, где у всех и каждого в точности та же походка, та же шляпа на голове, и на всех лицах одно и то же выражение, и у всех и каждого в точности те же верования и привычки всеобщий стандарт, какого больше нигде и никогда не видывали с сотворения мира. Нет, среда виконта Харбинджера не благоприятствовала развитию самобытного характера. К тому же он от природы отличался скорее стремительностью, чем глубиной, и как-то так выходило, что ему почти не случалось побыть одному и помолчать. Он постоянно сталкивался с людьми, для которых политика в какой-то мере игра; все и всюду за ним ухаживали; всегда он делал, что хотел, не ведая никакого принуждения, - и остается лишь удивляться, что он обладал

хоть небольшой долей серьезности. Влюблен он тоже никогда не был, и только в прошлом году впервые начавшая выезжать Барбара "положила его на обе лопатки" (как выразился бы он, если б речь шла не о нем самом). Но хоть и отчаянно влюбленный, он до сих пор не просил ее руки - у него, так сказать, не хватило времени, а может быть, и храбрости или уверенности, что иначе нельзя. Вблизи Барбары он просто не мог себе представить, как жить дальше, не зная своей судьбы; а вдали от нее испытывал чуть ли не облегчение: ведь так много всяких дел, о стольком надо поговорить, и вечно ничего не успеваешь. Но в последние две недели, когда ради Барбары Харбинджер деятельно поддерживал кандидатуру Милтоуна, любовь его росла не по дням, а по часам: и душевное равновесие несколько нарушилось.

Он не хотел себе признаться, что в его тревоге повинен Куртье: ведь, в конце концов, Куртье просто никто, да еще в придачу "крайний", а люди крайних воззрений вызывали у Харбинджера совсем особенное, чисто физическое чувство, отчего на губах у него начинала играть особенная улыбка и по-особенному звучал голос. И, однако, всякий раз, как он видел перед собою это живое, насмешливое лицо, в глазах его появлялся холодный, испытующий блеск, а порою и тень страха. Правда, они почти не встречались: Харбинджер целыми днями разъезжал в автомобиле и произносил речи, а Куртье целыми днями писал или ездил верхом, так как больная нога его еще недостаточно окрепла для пеших прогулок. Но раза два поздно вечером в курительной виконт затеял полушутливые споры с рыцарем безнадежных битв; и очень скоро в голосе его поневоле начала звучать плохо скрытая досада. Непостижимо, чего ради человек тратит попусту время и силы в погоне за несбыточной мечтой! Жизнь есть жизнь, человеческую природу не переделаешь! И его безмерно злили насмешливые искорки в глазах Куртье и нотки в голосе, явственно говорившие: "Понапрасну кипятишься, мой юный друг!"

Наутро после одной из таких стычек, увидев, что Барбара выходит из дому одетая для верховой езды, Харбинджер попросил разрешения проводить ее в конюшню и пошел с нею рядом, необычно молчаливый; сердце его как-то странно сжималось, и в горле, бог весть почему, пересохло.

Конюшня в Монкленде была не меньше иного загородного дома. Сейчас тут стояла двадцать одна лошадь, включая и пони маленькой Энн, а могли разместиться все тридцать. Во всем графстве не нашлось бы другой конюшни, построенной так высоко и просторно, с таким превосходным освещением и вентиляцией, где все так и сверкало чистотой. Право, нельзя было себе представить, как в таких хоромах лошадь может еще помнить, что она всего-навсего лошадь. Каждое утро у главного входа ставили корзинку с морковью, яблоками и кусками сахара к услугам тех, кому захочется побаловать общих любимцев.

С девяти до десяти утра они всегда были на виду: поводья привязаны к медному кольцу в стойле, голова обращена к дверям, шея изогнута, уши торчком, начищенные бока лоснятся; прислушиваясь к знакомому негромкому посвистыванию еще занятых уборкой конюхов, они раздумывали о чем-то своем, готовьте приветливо закивать навстречу всякому, кто придет их навестить.

В конце северного крыла конюшни, в просторном деннике, помещался любимец Барбары - гнедой гунтер с громкой родословной: пятнадцать его предков были внесены в племенные книги и только одна шестнадцатая свежей крови текла в жилах, чтоб не портилась порода; заслышав знакомые шаги, он замер, изогнув шею. Несколько минут назад он дожевал яблоко, лежавшее в кормушке среди прочей еды, и еще ощущал аромат этого лакомства, а слух его уже привлек близящийся звук, вместе с которым обычно появлялась морковка. Когда Барбара, отворив дверь денника, позвала: "Хэл", - он тотчас направился к кормушке, доказывая свою независимость, но услыхав: "Ах, так? Ну, хорошо же!" - повернулся и подошел к хозяйке. Выпуклые, сверкающие мягким блеском глаза, затененные густыми каштановыми ресницами, внимательно оглядели ее с головы до ног. Морковки нигде не было видно; он вытянул шею, понюхал ее талию и легонько, одними губами ущипнул руку в перчатке. Не учуяв морковки, он отдернул голову и фыркнул. Потом, осторожно переступив, чтобы не отдавить ей ногу, стал легонько подталкивать ее плечом: и наконец ловко зашел сзади и задышал ей в затылок. Но и тут не пахло морковкой, и, потянувшись через плечо Барбары, он уронил капельку слюны ей на щеку. Морковка появилась на уровне ее талии, и он, свесив голову, потянулся к любимому лакомству. Почувствовав

под челюстью твердое, прохладное прикосновение, опять втянул ноздрями запах и слегка подтолкнул Барбару коленом. Но морковка все не давалась, и тогда он, вскинув голову, отошел и притворился, что никого не замечает. И вдруг нечто длинное, гибкое с двух сторон обвило его шею и что-то мягкое прильнуло к носу. Он молча терпел, только прижал уши. Мягкое тихонько подуло ему в нос. Он вновь наставил уши и дунул в ответ, но посильнее, с любопытством, и мягкое отстранилось. И вдруг оказалось, что морковка уже у него в зубах.

Харбинджер, прислонясь к переборке денника, наблюдал эту сценку, и щеки его покрывала непривычная бледность. Когда все это кончилось, он вдруг сказал:

- Леди Бэбс!

Голос его, наверно, и в самом деле прозвучал странно: Барбара круто обернулась.

- Да?

- Долго еще мне так мучиться?

Она не покраснела, не опустила глаз и смотрела на него почти с любопытством. В этом взгляде не было жестокости и ни теня недоброжелательства или женского коварства, но он испугал Харбинджера безмятежной непроницаемостью. Невозможно понять, что скрывается за этим спокойным взором. Харбинджер взял руку Барбары и склонился над нею.

- Вы ведь знаете мои чувства, - сказал он тихо. - Не будьте ко мне жестоки!

Она не отняла руки - видно, ей это было все равно.

- Я ничуть не жестока.

Он поднял глаза и увидел, что она улыбается.

- Но тогда... Бэбс!

Его лицо было совсем близко, но Барбара не отшатнулась. Она только покачала головой. Харбинджер вспыхнул.

- Почему? - спросил он и, словно вдруг пораженный ее безмерной несправедливостью, выпустил ее руку.

- Почему? - повторил он резко.

Но ответом было молчание, лишь чирикали воробьи за круглым окошком да Хэл дожевывал морковку. Каждым нервом Харбинджер ощущал сладковатый, терпкий и сухой запах денника, смешавшийся с

ароматом волос Барбары и ее платья. И уже почти жалобно он спросил в третий раз:

- Почему?

Заложив руки за спину, она сказала мягко:

- Дорогой мой, откуда же я знаю, почему?

Так просто было бы ее обнять, если б только он осмелился; но он не осмелился и опять отошел к переборке. Прикусив палец, он хмуро смотрел на Барбару. Она ласково гладила коня по носу, и в душе отвергнутого начало закипать что-то вроде холодного бешенства. Она ему отказала - ему, Харбинджеру! До этой минуты он не знал, даже не подозревал, как сильна его страсть. Да разве существуют для него другие женщины, когда есть на свете это юное, спокойное, улыбающееся, дышащее сладостным ароматом создание! От одного ее вида у него кружилась голова, щемило сердце и страстное томление наполняло все его существо! В эту минуту он сам себе казался несчастнейшим из людей.

- Я от вас не отступлюсь, - пробормотал он.

Барбара улыбнулась; в улыбке этой была и капелька любопытства, и сочувствие, и в то же время почти признательность, как будто она говорила: "Спасибо... как знать?"

И сразу же, держась подальше друг от друга и разговаривая только о лошадях, они направились к дому.

Около полудня Барбара в сопровождении Куртье выехала на прогулку.

Дувший три дня кряду юго-западный ветер упал, настала лучезарная тишина, когда дышать - уже счастье. Подле ручья, струившегося по краю вересковой пустоши, у ног каменного истукана, всадники остановили лошадей и постояли, прислушиваясь, вдыхая свежесть чудесного дня. Голоса всего живого слились в нежнейший хор; лепет ручьев и ленивого ветерка, зовы людей и животных, пение птиц и жужжание пчел - все смешалось в единую гармонию, тонким покровом окутала она землю, и ни единый звук не разрывал ее. Был полдень - час тишины, но гимн во славу солнца, которого не было так долго, не смолкал ни на минуту. А под этим покровом был другой, тончайший, сотканный из душистых соков молодого папоротника, почек вереска, еще не утративших аромата лиственниц, дрока, едва начинающего буреть, и во все вплеталось дыхание боярышника, и

откуда-то тянуло дымком. А над двойною одеждой земли - над убором из благоуханий и звуков - простиралось пышное покрывало воздушных высей, беспредельный задумчивый простор, который могут измерить одни лишь крылья Свободы.

Так они стояли, впивая сладость этого дня, потом, лишь изредка перекидываясь словом, поехали в глубь вересковой пустоши, к самой высокой ее точке. И здесь снова долго стояли, не спешиваясь, оглядывая даль, открывшуюся взорам. Далеко на юге и на востоке виднелось море. Под ними, на склоне холма, медленно приближаясь друг к другу, паслись два табунка необъезженных лошадей.

Куртье негромко продекламировал:

- "Так буду я петь, держа любимую в объятиях: смешаются наши стада на лугу, и далеко внизу раскинется моря божественная лазурь".

Вновь наступило молчание. Потом, пристально глядя ей в лицо, он прибавил:

- Боюсь, леди Барбара, что мы видимся наедине в последний раз. Итак, пока еще можно, я должен сказать, что преклоняюсь перед вами. Вы всегда останетесь для меня божественно прекрасной звездой. Но ваши лучи слишком ослепительны: я буду поклоняться вам издалека. Прошу вас, с вашего седьмого неба порою обращайте на меня снисходительный взор и хоть изредка меня вспоминайте.

Барбара замерла, слушая эту речь, в которой странно смешались ирония и горячее, искреннее чувство; лицо ее пылало.

- Да, - сказал Куртье, - только бессмертному дано заключить в объятия богиню. А я буду сидеть, скрестив ноги, за пределами владений сильных мира сего и трижды в день простираться ниц.

Барбара молчала.

- Рано поутру, - продолжал Куртье, - покинув темные, мрачные обители Свободы, я буду обращаться лицом к храмам великих, и там очами веры я узрю вас.

Он умолк, заметив, что губы Барбары шевельнулись,

- Прошу вас, не мучьте маня.

Куртье перегнулся в седле, взял ее руку и поднес к губам.

- Поедемте... - сказал он.

В тот вечер за обедом, сидя напротив своей внучатой племянницы, лорд Деннис всмотрелся в нее и был поражен.

"Необыкновенно красивая девочка, - подумал он. - Нет, она просто очаровательна!"

Барбару посадили между Куртье и Харбинджером. И старик своими все еще зоркими глазами внимательно наблюдал за ее соседями. Оба были внимательны к своим соседкам с другой стороны, но все время украдкой следили за Барбарой и друг за другом. Лорду Деннису все было совершенно ясно, и под его суровыми седыми усами, над аккуратной острой бородкой затаилась улыбка. Но он терпеливо выжидал, чутье рыболова подсказывало ему, что ни одного клочка водяной глади не следует оставлять без внимания; и вот наконец спокойная минута, девочку никто не занимает разговором, - посмотрим, что же вынырнет на поверхность. Барбара мирно, с аппетитом ела, как и полагается молодому здоровому существу, но взгляд ее из-под ресниц скользнул в сторону Куртье. В этом быстром; взгляде лорду Деннису почудилась тревога, словно что-то волновало девушку. Тут заговорил Харбинджер, и она обернулась, отвечая ему. Лицо у нее стало спокойное, чуть улыбающееся, в нем сквозило оживление, неудержимая, почти вызывающая радость бытия. Лорду Деннису невольно вспомнилась собственная молодость. Как они хороши, как подходят друг другу! Если Бэбс выйдет за Харбинджера, лучшей пары не найдешь во всей Англии. Он снова посмотрел на Куртье. Мужественное лицо! Говорят, опасный человек. И чувствуется в нем тщательно сдерживаемый жар... пожалуй, такой может увлечь молодую девушку! Для сугубо практичного и здравомыслящего лорда Денниса Куртье был загадкой. Наружность у него приятная, но как-то смущает эта постоянная усмешка и способность вдруг багроветь, свойственная очень вспыльчивым людям. Этот малый со своей проповедью человеколюбия того и гляди занесется бог весть куда! Лорд Деннис настороженно относился к человеколюбцам. Быть может, они оскорбляли присущее ему безошибочное чувство приличия. Всюду и везде они ищут жестокость и несправедливость, и найдя, кажется, приходят в восторг, прямо раздуваются, учуяв что-нибудь такое, - а поскольку жестокости и несправедливости вокруг немало, они так никогда и не принимают своих естественных размеров. В сущности, люди, которые живут идеями, несколько утомительны для человека, которому вполне довольно и трезвых фактов. Легкое движение Барбары вернуло лорда Денниса к

действительности. Неужели обладательница этой короны золотисто-каштановых волос и дивных плеч - та самая малютка Бэбс, которая верхом на пони каталась с ним в Хайд-парке? Черт его знает, как летит время! Барбара что-то искала глазами, и, посмотрев в ту же сторону, лорд Деннис увидел Милтоуна. Какая разница между братом и сестрой! Несомненно, обоих терзает сейчас самая жгучая забота юных лет, та, что иной раз - он знал это по себе - не отпускает чуть ли не до старости. Девочка смотрит на брата как-то странно, словно просит о помощи. На своем веку лорд Деннис немало видел молодых созданий, которые, покинув убежище своей свободы, вступали в дом, где разыгрывается великая лотерея; многие вытянули счастливый билет и уже не знали больше, что значит холод жизни; а многим не повезло, и глаза их угасли в этом доме, за плотными ставнями. Мысль, что и "малютка" Бэбс вступает в эту беспощадную игру, наполнила его сердце тревожной печалью, и ему противно стало смотреть на этих двух мужчин, подстерегающих ее, точно охотники дичь. Нет, только бы она не выбрала этого рыжего, немолодого, который может, очевидно, похвастать идеями, но отнюдь не родословной; пусть держится своего круга, пусть выйдет замуж за юнца, черт его дери, который похож на греческого бога, отпустившего усы. Старику вспомнилось, что говорила племянница недавно об этих двоих, о том, какая разная у них жизнь. Какие-то романтические представления бродят в ее голове! Лорд Деннис опять посмотрел на Куртье. Есть в нем что-то донкихотское, такие кидаются очертя голову навстречу любой опасности. Все это прекрасно, но не для Бэбс! У нее нет ничего общего с прославленной Анитой, подругой прославленного Гарибальди. Весьма характерно для лорда Денниса - и для многих других, - что умерших борцов за свободу он ценил гораздо выше живых. Нет, Бэбс нужно куда больше или, быть может, меньше, чем такая жизнь, когда над головою звезды вместо крыши и у тебя только и есть, что твой любимый да дело, за которое он сражается. Ей нужны удовольствия, не слишком много усилий, а там и немножко власти; не та неуютная слава, что осенит когда-нибудь женщину, прошедшую через великие испытания, но слава и власть красоты, поклонение высшего света. Должно быть, эта ее прихоть (если она вообще есть) - просто плод девичьей фантазии. Ради мимолетной тени отказаться от того, что прочно и надежно? Немыслимо! И снова лорд Деннис

вперил проницательный взор в Барбару. Какие глаза, какая улыбка! Нет, это пройдет, как корь. И она выберет этого греческого бога или умирающего галла - словом, этого юнца с усиками!

ГЛАВА XXI

Куртье покинул Монкленд только утром знаменательного дня выборов. Все последнее время его мучили угрызения совести. Колено почти зажило, и он прекрасно понимал, что его удерживает здесь одна лишь Барбара. И самый воздух этого огромного дома с целой армией слуг, которые не дают тебе пальцем двинуть самому, и ощущение, что все страсти и тяготы жизни остались за непроницаемой стеной, безмерно раздражали его. Куртье искренне жалел людей, которые вели такое странное существование, словно задыхаясь под бременем собственной значительности. И не по своей вине. Видно, что они стараются изо всех сил. Отменные представители своей породы: не слишком изнежены и не слишком злоупотребляют роскошью - по нынешним временам, в век расточительства и мотовства, могло быть и похуже, - они явно силятся быть попроще, но от этого только больше их жаль. Судьба обошлась с ними чересчур милостиво. Чей дух способен устоять и не сломиться под натиском стольких материальных благ? Куртье, бездомному кочевнику, казалось, что перед глазами его разыгрывается очень незаметная и все же тяжкая драма; и в самом средоточии ее - девушка, к которой его так влечет. Каждый вечер, возвратясь в великолепную комнату, где так хорошо пахло и где чьи-то невидимые руки делали все, чтобы ему было удобно и уютно, Куртье думал:

"Ну, уж завтра непременно уеду!"

И каждое утро, встретясь с нею за чаем, он снова думал: "Завтра, непременно завтра!" - и в иные минуты уже спрашивал себя: "Может быть, эта жизнь меня одурманила и я становлюсь малодушным неженкой?" Ясней, чем когда-либо, он понимал, что пресловутая искусственная "твердость" патрициев - это просто особый раствор или уксус, которым они пропитываются, движимые инстинктом самосохранения, дабы уберечь от гнили и распада свою избалованную чрезмерным благополучием душу. Даже Барбара и та старается уйти в эту непроницаемую для чувства, оболочку, в своеобразный панцирь недоверия ко всему, что волнует и трогает, старается презирать всякие проявления нежности и сострадания. И с каждым днем Куртье все

сильнее хотелось грубой рукой сорвать эти покровы и посмотреть, способна ли она вспыхнуть, загореться какой-либо мыслью или чувством. Как ни хорошо она владела собой, он видел, что она понимает его желание сорвать с нее покровы, и ее горящие тревожным нетерпением взгляды вызывали его сделать это.

И, однако, прощаясь с нею в канун выборов, он не мог похвалиться, что ему и в самом деле удалось высечь искру из этой души. Да в эту последнюю встречу Барбара и не дала ему случая сказать ей хоть слово с глазу на глаз; она не отходила от остальных женщин, спокойная, улыбающаяся, словно твердо решила, что не позволит ему вновь уязвить ее своим насмешливым поклонением.

Наутро он поднялся спозаранку, надеясь уехать незаметно. У крыльца ждал предоставленный в его распоряжение автомобиль, и на заднем сиденье он увидел девчурку в пышном полотняном платье, которая откинулась на подушки, так что ножки в сандалиях торчали горизонтально, словно указывая на спину шофера. Это маленькая Энн во время своего утреннего обхода обнаружила у крыльца поданную Куртье машину. Дерзкий носик обратился к гостю, дерзкий, приветливый, но не слишком приветливый голосок прозвучал почти как утешение в ушах Куртье:

- Вы уезжаете? Я могу доехать с вами до ворот.

- Какая удача!

- Да. А это весь ваш багаж?

- Увы, да.

- Но ведь у вас очень много вещей, правда?

- Сколько заслужил.

- А морских свинок вы с собой, наверно, не возите?

- Обычно не вожу.

- А мне приходится. Вот прабабушка!

В нескольких шагах от аллеи стояла леди Кастерли, объясняя рослому садовнику, как следует поступить со старым дубом. Куртье вылез из машины и подошел проститься. В ее лице и голосе, когда она с ним заговорила, сквозило какое-то хмурое дружелюбие:

- Итак, вы уезжаете! Я рада, хотя сами вы мне очень по душе, - это вы, конечно, понимаете,

- Да, конечно!

Ее глаза лукаво блеснули.

- Я уже вам говорила: людей, которые смеются, как вы, надо остерегаться!

И прибавила торжественно:

- Моя внучка будет женою лорда Харбинджера. Упоминаю об этом, мистер Куртье, для вашего душевного спокойствия. Вы человек чести; это останется между нами.

- Счастливчик Харбинджер! - сказал Куртье, целуя ей руку.

Старая леди и бровью не повела.

- Вы совершенно правы, сэр. Всего наилучшего!

Куртье с улыбкой приподнял шляпу. Щеки его горели. Он сел в автомобиль и оглянулся. Леди Кастерли уже снова наставляла садовника. Голосок Энн прервал мысли Куртье.

- Приезжайте еще. Я, наверно, буду здесь гостить на рождество, и мои братья тоже приедут, Джок и Тидди, а Кристофер нет, он еще маленький. Ну, мне пора. До свидания! А, Сьюзи!

Она выскользнула из автомобиля и подошла к бледной, худенькой дочурке сторожа, взиравшей на нее с обожанием.

Автомобиль выехал за ворота.

Будь признание леди Кастерли обдуманным заранее (а она его делать не собиралась, но уж так подействовал на нее смех Куртье), она и тогда не могла бы с большей точностью попасть в цель, ибо в нем глубоко укоренилось недоверие, почти презрение вечного скитальца к оседлым, закосневшим в неподвижности аристократами буржуа, и присущее человеку действия отвращение ко всему, что он называл канителью. Преследовать Барбару с какими-либо целями, кроме женитьбы, и в голову не приходило человеку, не слишком чтившему общепринятую мораль, зато наделенному высокой степенью самоуважения; а хитростью оттеснить Харбинджера и жениться на Барбаре, выступив в роли какого-то пирата, тоже было вовсе не по вкусу человеку, привыкшему считать, что он не хуже других.

Он попросил шофера свернуть к домику Одри Ноуэл - не мог же он уехать, не попытавшись подбодрить этот терпящий бедствие корабль.

Увидев его, Одри вышла на веранду. Она крепко пожала ему руку тонкой, тронутой загаром рукой - рукой женщины, не привыкшей к праздности, - и по этому пожатию Куртье понял, что она ждет от него

понимания и сочувствия, а такая безмолвная просьба о заступничестве неизменно пробуждала все лучшее в его душе. Он сказал мягко:

- Держитесь, пусть они не воображают, что вы пали духом, - и, крепко стиснув ее руку, продолжал: - Чего ради ваша жизнь должна пройти впустую! Это просто грешно!

Он посмотрел ей в лицо и замолчал: к чему его слова, когда эти недвижные черты говорят куда больше. Он протестует как цивилизованный человек; ее лицо - протест самой природы, беззвучный крик красоты, обреченной блекнуть, не принося никому радости, - красоты, в которой сама жизнь взывает к объятию, чтобы породить новую жизнь.

- Я вот уезжаю, - сказал Куртье. - Мы с вами тут не ко двору. Вольным птицам здесь не место.

Она еще раз пожала ему руку и ушла в дом, а Куртье стоял и смотрел туда, где только что белело ее платье. Он всегда испытывал к Одри Ноуэл нежность старшего и сильного, и если бы она хоть немного пошла ему навстречу, чувство это могло бы стать более теплым. Но она давно уже, попав в столь трудное, противоестественное положение, считала его верным другом, и ни за что на свете он не спугнул бы это доверие. И теперь, когда он загляделся в другую сторону, а ее постигла еще горшая беда, в нем поднимался гнев, какой ощущает брат, когда нет для его сестры ни справедливости, ни жалости. Голос Фриса, шофера, прервал его мрачные раздумья:

- Там леди Барбара, сэр!

Проследив за его взглядом, Куртье увидел на фоне неба, на вершине холма над Причудой Эшмана, всадницу, застывшую на своем коне, точно изваяние. Он тотчас остановил машину и вышел.

Он подошел к ней; за развалинами его не было видно с дороги благословенный случай всегда на стороне того, кто и сам ему помогает. Куртье не знал, заметила ли его Барбара; он отдал бы все, что имел (не так уж много!), лишь бы сквозь плотное серое сукно и белую кожу заглянуть в таинственную глубь ее сердца. Если бы, подобно сумасброду Эшману, разом покончить с грубой прозой и обрести блаженство той жизни, где между мужчиной и женщиной нет преград! Улыбка Барбары озадачила его - живая, смелая улыбка эта

пробилась на ее губах, точно первый цветок, пробивающийся из земля назло весенним ветрам). Как понять, что она означает? А ведь он гордился своим знанием женщин, немало повидал их на своем веку. И все же только и нашелся сказать:

- Я рад, что так случилось.

Внезапно подняв глаза, он увидел, что она очень бледна и лицо ее слегка подергивается.

- В Лондоне увидимся! - сказала Барбара, тронула лошадь хлыстом и, не оглядываясь, поскакала прочь.

Куртье вернулся на дорогу и, оказавшись в автомобиле, пробормотал:

- Побыстрее, пожалуйста, Фрис...

ГЛАВА XXII

Голосование было уже в разгаре, когда Куртье приехал в Баклендбери; отчасти из вполне естественного любопытства, отчасти в тайной надежде еще раз хоть мельком увидеть Барбару, он отнес чемодан в гостиницу и решил дождаться результатов. Потом вышел на Хайстрит, приглядываясь и прислушиваясь. Его потрепало в жизни многими ветрами, и он давно уже утратил наивную веру в политику. Он повидал на своем веку несравненно более яркие знамена - и желтый и синий цвета, притом довольно тусклые и нечистые, не вызывали у него чрезмерного почтения. При виде их он ощущал глубочайшее философическое равнодушие. Но деваться от них было некуда, в этот день весь мир, казалось, был окрашен в желтое и синее, а третий цвет - красный, принятый обеими партиями, отнюдь не означал, что каждая признает в другой какие-то достоинства; скорее напротив - что каждая жаждет вражеской крови! Но вскоре по тому, какие взгляды бросали встречные на его рассеянное, а вернее, насмешливое лицо, он понял, что философическое равнодушие обе враждующие стороны ненавидят еще сильнее, чем друг друга. Бесстрастного наблюдателя и те и другие готовы были закидать камнями. Ведь философ смотрит дьявольски беспристрастно, не довольствуясь внешней оболочкой, старается проникнуть в суть вещей, - как жене видеть в нем подлинного, злейшего противника, исконного врага всех пресловутых фактов и фактиков: вырядившись в желтую или в синюю одежду, они кричат, бахвалятся, бранятся, сажают друг другу фонари под глазом и в кровь разбивают носы. У

этих милых напыщенных крикунов все для виду, все напоказ. Как же им не ненавидеть философа, который, доискиваясь сути, уж непременно заглянет за пышный фасад и обнаружит пустоту! Лихие ярко-желтые и ярко-синие вояки, размахивая жестяными мечами и трубя в жестяные трубы, глядели из всех окон, со всех стен и уверяли каждого гражданина, что именно они, и только они, могут послать его в парламент. И не так уж трудно было убедить в этом избирателей: ненавидя всякую неопределенность, они жаждали поверить, что пресловутые факты (желтые или синие - это дело вкуса) в два счета спасут страну от всех бед; притом у избирателя, конечно, была и еще дюжина веских оснований стать на ту или иную сторону: к примеру, за желтых (или за синих) голосовал еще его отец; желтые (или синие) мажут его хлеб маслом; в прошлый раз он голосовал за тех, нынче попробует за этих; он все хорошенько обдумал, и решение его твердо; желтые (или синие) только что без всякой задней мысли угостили его пивом, и он принял угощение; как не проголосовать за его светлость - кто может быть достойнее; или просто ему нравилось выкликать: "от Баклендбери - Чилкокс!" - а главная, единственно достойная уважения причина та, что, насколько они могли судить, истина сегодня окрашена либо в желтый, либо в синий цвет.

Узкая улица кишела голосующими. Расставленным на ней рослым полицейским нечего было делать. Как видно, уверенность каждого, что победит именно его партия, у всех поддерживала отменное расположение духа. Покуда незачем было проламывать кому-либо череп: как ни зорко все подстерегали - не видать ли кругом равнодушных скептиков, кроме Куртье, равнодушно глядели только младенцы в колясочках, да какой-то старик на расхлябанном велосипеде - он остановился посреди улицы и спросил полицейского, что это нынче в городе за суматоха, да два молодца, изрядно позеленевшие, которые развозили на тележках даровое пиво для синих и желтых.

Но хоть к "фактам" Куртье относился подозрительно, его поразил неподдельный жар разгоревшихся страстей. Люди принимали происходящее всерьез. Они долго ждали этого дня и еще долго будут его вспоминать. Как видно, для них это было некое священнодействие, итог самых возвышенных чувств; и тому, кто сам

был человек действия, это казалось вполне естественным, достойным, быть может, жалости, но отнюдь не презрения.

Уже под вечер по улице потянулась вереница "живых сандвичей", у каждого на груди и на спине висели плакаты - красиво выведенные синим по бледно-голубому полю слова:

НОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

ОПАСНОСТЬ ЕЩЕ НЕ МИНОВАЛА

ГОЛОСУЙТЕ ЗА МИЛТОУНА И ПРАВИТЕЛЬСТВО И СПАСИТЕ ИМПЕРИЮ

Куртье остановился и с возмущением посмотрел на плакаты. Слова эти попирали не только дорогую его сердцу веру в мир, он видел в них больше любого менее искушенного человека. Для него это был символ всего показного, крикливого в жизни Англии, невыразимо печальная эпитафия на могиле британского благородства и достоинства. А между тем с партийной точки зрения что может быть оправданней? Разве не самое главное для синих напрячь сегодня все силы и добиться, чтобы до наступления ночи все желтые, если не посинели, то хотя бы позеленели? Разве не святая истина, что империю можно спасти, только голосуя за синих? Могла ли синяя газета не напечатать слова, прочитанные им в это утро - "Новые осложнения"? Не могла, как не могла желтая газета не напечатать "Вечернее приключение лорда Милтоуна". Синие жаждали одного: победить, воюя по всем правилам. Желтые боролись не по правилам, так было всегда, и самый бесчестный их прием - обвинять в бесчестной игре синих, поистине смехотворное обвинение! А что до истины... Все, что помогает окрасить мир в синий цвет, безусловно, истина; все остальное, безусловно, ложь. Середины нет! Кто смотрит на вещи иначе, тот безмозглый дурак и плохой англичанин. Поверить, будто желтые говорят, что думают? Желтые-то в искренность синих ни за что не поверят! Все это Куртье прекрасно знал, и, однако, новый плакат возмутил его до глубины души, и он, не удержавшись, ударил тростью по доске одного "сандвича". Громкий стук испугал лошадь мясника, стоявшую у панели. Она встала на дыбы, потом рванулась вперед; Куртье, не задумываясь, ухватил ее под уздцы. Под ноги подвернулся бежавший мимо пес. Куртье споткнулся и упал. Лошадь задела его по голове копытом. На минуту он потерял сознание; а очнувшись, отказался от всякой помощи и пошел к себе в гостиницу.

Голова кружилась, он перевязал сильно рассеченный лоб и прилег на кровать.

Улучив минуту после обхода участков (необходимо было показаться избирателям - завершающий "факт" предвыборного церемониала!), к нему заглянул Милтоун.

- Уж этот ваш последний плакат, знаете ли! - с места в карьер напустился на него Куртье.

- Я только что распорядился, чтоб его убрали.

- Могу поздравить с удачным ходом - теперь вас выберут!

- Это было сделано без моего ведома.

- Милый мой, я в этом не сомневался.

- Знаете, Куртье, когда между паломником и Меккой лежит пустыня, он не повернет вспять оттого, что в пути надо будет умываться грязной водой. Но толпа... как она мне мерзостна!

Такая долго сдерживаемая ярость прорвалась в этих словах, что даже Куртье, всю свою жизнь шедший наперекор большинству, был поражен.

- Ненавижу ее низость, ее тупость, ненавижу ее голос и ее вид - все в ней так уродливо, так мелко... Поверьте, Куртье, одна мысль, что дорогу в парламент мне прокладывают голоса толпы, причиняет мне адские муки. Пользоваться поддержкой черни - тяжкий грех, и я за него расплачиваюсь.

Куртье не сразу ответил на эту странную вспышку.

- Вы переутомились, - сказал он помолчав, - это вывело вас из равновесия. В конце концов, толпа - это такие же люди, как вы и я.

- Нет, Куртье, не такие. Иначе толпа не была бы толпой.

- Похоже, что вы взялись не за свое дело, - серьезно сказал Куртье. Я, например, всегда держался от этого подальше.

- Вы живете по велению сердца. Я не столь счастлив.

С этими словами Милтоун шагнул к двери.

- Бросьте политику, - от души сказал на прощание Куртье. - Если вы так к этому относитесь, бросьте, чего бы вы на этом пути ни искали. Не губите зря свою жизнь и ее жизнь тоже!

Но Милтоун не ответил.

В тихий, погожий час, незадолго до полуночи, надвинув шляпу на перевязанный лоб, рыцарь безнадежных битв вышел из гостиницы и направился к зданию школы узнать, чем кончилось голосование. Он

шел на далекий звук, подобный дыханию какого-то чудовища, и, наконец выйдя на пустынную улицу, круто сбегавшую под гору, увидел площадь, сплошь покрытую толпой, точно темным ковром в узоре светлых бликов горящих фонарей. Высоко над толпой на островерхой школьной башенке ярко светился циферблат часов; а еще выше, над жаркими надеждами тысяч сердец, объединенных тревожным ожиданием, раскинулся темно-фиолетовый простор, не запятнанный ни единым облачком. Куртье спускался к площади, глядя на белеющие внизу, чуть качающиеся, обращенные в одну и ту же сторону лица, и ему казалось, что это колышутся под ветром какие-то огромные цветы на темном лугу. Колдовская ночь развеяла синие и желтые факты и вдохнула в толпу неподдельное волнение. И Куртье вдруг ощутил красоту и значительность этой картины - проявление вечно беспокойных сил, чьи приливы и отливы, покорные закону равновесия, движут миром. Тысячи сердец самозабвенно отдались единому властному чувству!

Стоявший рядом с Куртье старик с длинной седой бородой пробормотал:

- Беспокойное это дело... а я нипочем бы не упустил.

- Хорошо, а? - отозвался Куртье.

- Хорошо, это верно, - сказал старик. - Я такого не видывал с самого сорок восьмого. Великий был год... А, вон они, аристократы!

Куртье взглянул в ту сторону, куда указывала костлявая старческая рука: на балконе стояли рядом лорд и леди Вэллис и невозмутимо смотрели вниз. Тут же, прислонясь к окну, разговаривала с кем-то стоявшим позади Барбара. Старик все что-то бормотал, глаза его заблестели, гнев и ненависть преобразили его, - он был взволнован до глубины души, и у Куртье потеплело на сердце. И вдруг он поймал на себе взгляд Барбары, она коснулась рукою виска, давая понять, что заметила его повязку. У него хватило самообладания не снять шляпу.

Старик снова заговорил:

- Вы-то, конечно, не помните сорок восьмой. Вот когда поднялся народ! Нас тогда и смерть не страшила. Мне уже восемьдесят четыре, но тот дух до сих пор вот здесь! - Он прижал трясущуюся руку к груди. - Дай бог победы радикалам!

Где-то позади, на самом краю темного людского моря, несколько голосов запели: "Там, далеко, на реке Суони". Песня взлетела, оборвалась, еще раз встрепенулась и замерла.

Тогда на самой середине площади могучий баритон загремел: "Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней?"

Множество голосов, от звонких дискантов до дрожащего баса старого чартиста, подхватили песню; скоро пела уже вся площадь; кое-где люди взялись за руки и раскачивались в такт. В правой руке Куртье оказались нежные пальцы какой-то молодой женщины, в левой - сухая дрожащая лапа старика чартиста. Он и сам пел во весь голос. Торжественная и грозная мелодия взлетела ввысь, раскатилась в стороны и затерялась среди холмов. Но едва замерли последние звуки, как тот же мощный баритон взревел: "Боже, храни короля!" Казалось, толпа вдруг стала на два фута выше ростом, и из-под сплошного навеса поднятых шляп вырвался оглушительный хор.

"Вот это свято для всех!" - подумал Куртье.

Пели даже на балконах; он видел при свете фонаря, как сдержанно приоткрывает рот лорд Вэллис, будто ему неловко присоединяться к этому хору; видел, как, откинув голову, прислонясь к столбу балкона, самозабвенно поет Барбара. Не было в толпе человека, который остался бы нем. Словно на крыльях этих звуков вырвалась из темиицы привычной сдержанности сама душа английского народа.

Но внезапно, как подстреленная птица, песня смолкла и пала наземь. Под светящимся циферблатом появилась темная фигурка. За нею вышли другие. Куртье разглядел среди них Милтоуна. Где-то далеко одинокий голос выкрикнул:

- Да здравствует Чилкокс!

- Тс-с! - пронеслось по площади; настала такая тишина, что за добрую милю явственно донеслось пыхтение маневрового паровоза.

Темная фигура под часами выступила вперед, на фоне черного сюртука блеснул листок бумаги.

- Леди и джентльмены! Результаты голосования: Милтоун - четыре тысячи восемьсот девяносто восемь голосов, Чилкокс - четыре тысячи восемьсот два.

Тишина раскололась на тысячи кусков. В хаосе приветственных кликов и ропота Куртье еле пробился сквозь бурлящую толпу к

балкону. Лорд Вэллис, широко улыбаясь, наклонился вперед; леди Вэллис провела рукой по глазам. Барбара глядела прямо в лицо Харбинджеру, ее рука была в его руке. Куртье остановился. Старик чартист опять оказался возле него; слезы скатывались но его щекам и терялись в бороде.

На балконе вперед выступил Милтоун и застыл без улыбки, бледный, как смерть.

* ЧАСТЬ ВТОРАЯ *

ГЛАВА I

Девятнадцатого июня, в три часа пополудни, Энн Шроптон начала восхождение по главной лестнице особняка Вэллисов в Лондоне. Она медленно взбиралась по самой середине лестницы - крохотная белая фигурка на широких сверкающих ступенях - и считала их вслух. Счет ни разу еще не сошелся два дня подряд, вот почему лестница чрезвычайно привлекала это существо, для которого в новизне была главная прелесть бытия. Дойдя до того места, где лестница раздваивалась, Энн призадумалась: по которой стороне она шла в прошлый раз? - но так и не вспомнила и села на ступеньку. Ей дали поручение. Когда она пустилась в путь, оно было совсем новенькое, но уже отчасти утратило новизну и, наверно, станет еще более старым - ведь ей надо пройти всю галерею предков. Она сидела, обдумывая свои дальнейшие странствия, а солнечный свет, вливаясь в широкое окно, наполнил слепящим сиянием просторный мир из полированного дерева и мрамора, откуда она пришла. Энн не очень-то верила в фей и всяких сказочных духов; о них слишком много говорят, а всетаки они какие-то ненастоящие, неживые - и волшебное сияние, которое переливалось над ее головкой и причудливо играло на колоннах, бессильно было пробудить в ней фантазию или душевный трепет. Ее весьма практический и деятельный ум поглощало одно стремление: дойти до конца галереи предков и узнать, что там есть. Она выбрала левое крыло лестницы, и вот перед нею нескончаемо длинная галерея, узкая, полутемная, с завешенными окнами. Энн шла с осторожностью, потому что пол тут был скользкий, и очень серьезная, отчасти из-за темноты, отчасти из-за картин. Что я говорить, в этом полумраке они выглядели внушительно, Карадоки былых времен- иные совсем почерневшие, в воинских доспехах, - и, казалось, угрюмо, настороженно и с какой-то жадностью глядели на

шагавшую сквозь их суровый строй маленькую праправнучку. Но Энн твердо знала, что они просто нарисованные, и шла своей дорогой, а когда кто-нибудь из них казался ей особенно безобразным, только морщила дерзкий носишко. В конце галереи, как она и предполагала, была дверь. Энн отворила ее и вышла на площадку. Тут в углу была каменная лестница и еще две двери. Интересно бы подняться по лестнице, но и посмотреть, что за дверьми, тоже интересно. Энн подошла к первой двери и не без волнения повернула ручку. За дверью оказалось помещение из тех, которые необходимы в каждом доме, но которые она не любила; она пренебрежительно захлопнула эту дверь, отворила другую и оказалась в комнате, совсем не похожей на те, что внизу: те все были высокие, с красивой позолотой, а эта напоминала классную комнату - низкий потолок, кожаные кресла и много-много книг. С другого конца комнаты - ей не было видно, откуда послышался такой звук, как будто кого-то чмокнули, и, сама не зная, почему, Энн уже хотела уйти, но вдруг у нее с языка сорвалось:

- Это я!

И тут же она увидела у камина бабушку с дедушкой. Не совсем уверенная, что они ей рады, она не стала мешкать.

- Ты всегда здесь сидишь, дедушка? - начала она, подойдя ближе.

- Да.

- Тут очень славно, правда, бабушка? А та лестница куда идет?

- На крышу башни, Энн.

- Ага. Ну, мне надо идти, у меня поручение.

- Очень жаль с тобой расставаться.

- Да. До свидания!

Когда дверь за нею закрылась, лорд и леди Вэллис смущенно посмотрели друг на друга.

Беседа, которую прервала Энн, началась так.

Эта тихая, скромная комната, где его не могли, как в рабочем кабинете, настичь секретари с делами, была излюбленным убежищем лорда Вэллиса, и после второго завтрака он пришел сюда выкурить трубку и побыть наедине с тревожными мыслями.

Его заботило Пендридни, их Корнуэльское имение. Оно давно уже не давало покоя и самому лорду Вэллису и его поверенному, и теперь надо было что-то решать. Речь шла о двух селениях, примыкавших с севера к землям лорда Вэллиса: тамошние жители

кормились тем, что работали в большой каменоломне, а она в последнее время приносила одни убытки.

Лорд Вэллис, человек мягкий, с отвращением думал о каких-либо мерах, которые могли бы ввергнуть в нужду его арендаторов, особенно в тех случаях, когда у него не было с ними никаких неладов. Но суть дела сводилась к следующему: если не считать эту самую каменоломню, имение Пендридни не только не стоило никаких денег, но и приносило доход, которого хватало бы и на лондонский особняк Вэллисов, и на конюшни в Ньюмаркете, и на многое другое; но пока работает эта каменоломня, учитывая, что какие-то средства нужны и на содержание и ремонт самого Пендридни, и на пенсии престарелым слугам, оно становится убыточным.

В этот день, покуривая в своем убежище, лорд Вэллис окончательно решил, что у него нет иного выхода, кроме как закрыть каменоломню. Решение это далось ему нелегко; хотя, надо признать, мысль, что корнуэльские, а пожалуй, и лондонские газеты непременно поднимут шум, втайне скорее подстегивала его, чем удерживала от этого шага. Словно ему заранее предписывали, как поступить, а он этого не любил. Если придется лишить бедняков куска хлеба, ему самому это будет куда неприятнее, чем всем, кто по этому случаю поднимет крик, это он знал, и совесть его была чиста; а неизбежные вопли и протесты легко будет презреть, как обычное проявление межпартийной вражды. Он честно старался все как следует обдумать и рассуждал так: сохранив каменоломню, я тем самым признаю закон пауперизации: ведь, на мой взгляд, каждое мое имение должно полностью окупать себя - дом, землю, охоту, да еще давать свою долю на содержание и этого, лондонского, дома, моей семьи, конюшен и прислуги. Допустить, чтобы в одном из моих имений велись какие-то работы, которые не приносят своей доли дохода? Но тогда часть моих арендаторов обнищает и начнет существовать за счет остальных; а это значило бы строить хозяйство на ложной основе, допустить какой-то скрытый социализм. Доведенный до логического конца такой порядок может меня разорить, против чего я лично, может быть, и не возражал бы, но это значило бы отказаться от убеждения, что я по самому своему происхождению и воспитанию - наилучшее орудие, при помощи которого государство обеспечивает благосостояние народа...

И тут сознание лорда Вэллиса - или, вернее, его сокровенное "я" - в приливе вполне естественного возмущения воскликнуло:

- Вздор!

Объективность была в моде, и, как правило, лорд Вэллис верил в свою способность мыслить объективно. Однако наступает минута, когда, мысля так, изменяешь самому себе, своему сословию и своей стране. Конечно, могут сказать: нет ли какой-то несоразмерности в, том, что один человек росчерком пера лишает средств к жизни сотни себе подобных? Лорд Вэллис был настолько прозорлив, что сам первый задал себе этот вопрос - и ответил: "Если этого не сделаю я, это сделает какой-нибудь плутократ, или акционерное общество, или - еще того хуже - само государство". Всякие компании и объединенные предприятия, на его взгляд, не соответствовали британскому духу, а значит, иного выхода не оставалось. Факты есть факты, против них не пойдешь!

Несмотря на все эти веские доводы, необходимость принять такое решение огорчала его, ибо, если вышеупомянутая несоразмерность мало смущала его, то он был, по крайней мере, человек с сердцем.

Он все еще курил свою трубку, глядя на испещренный цифрами лист бумаги, когда вошла жена. Она пришла спросить его совета по совсем другому поводу, но тотчас увидела, что он чем-то обеспокоен, я спросила:

- Что случилось, Джеф?

Лорд Вэллис поднялся, подошел к камину, неторопливо выбил трубку и наконец протянул жене лист с расчетами.

- Все эта каменоломня! Ничего не поделаешь, придется закрыть.

Леди Вэллис переменилась в лице.

- Нет, нет! Это будет ужасное несчастье.

Лорд Вэллис принялся внимательно разглядывать свои ногти.

- Она лежит тяжким бременем на всем имении, - сказал он.

- Я знаю, но как же мы будем смотреть людям в глаза? Я никогда больше не смогу туда поехать. И у них у всех столько детей.

Муж все еще сосредоточенно рассматривал ногти, и леди Вэллис продолжала с жаром:

- Лучше уж я откажусь от чего-нибудь. Я предпочла бы сдать все Пендридни в аренду, чем лишить этих людей работы. Сдать его, вероятно, удастся?

- Еще бы! В целом свете нет лучшей охоты на вальдшнепов.

Но леди Вэллис занимало другое.

- Со временем мы поможем людям найти какой-то другой заработок, продолжала она. - Ты советовался с Милтоуном!?

- Нет, - сухо ответил лорд Вэллис. - И не собираюсь. Он слишком непрактичен.

- Мне кажется, он всегда прекрасно знает, чего хочет.

- Поверь мне, Милтоун в таких делах не разбирается, - повторил лорд Вэллис. - У него какие-то средневековые понятия.

Леди Вэллис подошла ближе и положила руку ему на плечи.

- Джеф, ну, право, ради меня... придумай что-нибудь другое.

Лорд Вэллис нахмурился и с минуту смотрел ей в лицо; наконец он сказал:

- Ради тебя... Хорошо, я отложу это на год.

- По-твоему, это лучше, чем сдать Пендридни в аренду?

- Мне не хочется пускать туда чужих. Еще успеем, если не будет другого выхода. Прими это как мой рождественский подарок.

Леди Вэллис даже покраснела, наклонилась и поцеловала его в ухо.

В эту самую минуту и появилась Энн.

Когда она ушла, они смущенно посмотрели друг на друга.

- Меня беспокоит Бэбс, - сказала леди Вэллис. - Не пойму, что с ней творится с тех пор, как мы переехали в город. Она ко всему охладела.

- Вероятно, на нее действует жара... или Клод Харбинджер, - ответил лорд Вэллис. Хоть он был не слишком нежным отцом, мысль, что у него отнимут дочь, которой он от души восхищался, была ему неприятна.

- Ну... не знаю, - протянула леди Вэллис.

- То есть?

- С Бэбс происходит что-то странное. Не удивлюсь, если окажется, что она увлеклась этим Куртье.

- Что-о! - Лицо лорда Вэллиса залил отнюдь не философский румянец.

- Да, именно.

- О господи! Истории с Милтоуном и одной хватит на целый год.

- Даже на двадцать лет, - прошептала леди Вэллис. - Я не спускаю с нее глаз. Говорят, Куртье собирается в Персию.

- Надеюсь, он там сломит себе шею, - проворчал лорд Вэллис. - Нет, право, это уже слишком. Все-таки ты, наверно, ошибаешься.

Леди Вэллис подняла брови. В таких делах мужчины - сущие младенцы.

- Ну, - сказала она, - мне пора на заседание. Возьму ее с собой и попробую что-нибудь разузнать.

Речь шла об учредительном заседании Общества поощрения рождаемости, на котором она согласилась председательствовать. Она с самого начала всячески поддерживала идею этого общества, вполне отвечавшую ее широкой, полнокровной натуре. Многие благотворительные затеи, в которых она не могла не участвовать, сами по себе мало ее интересовали, - а так приятно, когда хоть какая-то часть твоей деятельности тебя по-настоящему увлекает! Леди Вэллис не была педантична и в дружеском кругу вовсе не настаивала на том, что все женщины обязаны неуклонно исполнять свое предназначение и всемерно содействовать приумножению рода человеческого. Нет, она рассуждала с великолепной широтой, без ханжества. В хорошей, здоровой семье должно быть много детей, но, конечно, возможны исключения. Заветной идеей леди Вэллис было: больше британцев! Ее девиз, который она намеревалась сделать девизом нового общества, был: "De l'audace et encore de l'audace!" {Смелость и еще раз смелость! (франц.).} Речь идет о полном развитии всех сил нации. Леди Вэллис искренне и даже почти трогательно верила в национальный флаг, независимо от того, что он собой прикрывает, - ей свойствен был особый идеализм.

- Рассуждайте, сколько угодно, о том, что жизнь нация следует направлять, сообразуясь с принципами социальной справедливости, - скажет она. - Но какое дело нации до социальной справедливости? Речь идет о большем. О национальном чувстве. Наша нация должна расти и множиться.

Так по дороге на собрание она обдумывала речь, которую ей предстояло произнести, и не пыталась вовлечь Барбару в разговор. С этим придется подождать. Девочка, правда, какая-то вялая и немножко бледна, но так хороша, что приятно прийти с нею на собрание.

В полутемной комнатке позади зала уже дожидался Учредительный комитет, и все тотчас вышли на эстраду.

ГЛАВА II

Ничуть не смущаясь под взглядами присутствующих, Барбара предалась своим невеселым мыслям.

Три недели, прошедшие с избрания Милтоуна, были заполнены таким множеством всяких собраний и приемов, что у нее просто не оставалось ни времени, ни сил разобраться в собственных чувствах. После того утра в конюшне, когда Харбинджер глаз не спускал с Барбары, кормившей Хэла морковкой, он, казалось, только ради того и жил, чтобы видеть ее. И его страсть приятно волновала ее. Она ездила с ним верхом, танцевала с ним, и минутами это было почти счастье. Но в другие минуты, правда, при этом она всегда немного презирала себя, как тогда, сидя у подножия холма, на камне, нагретом солнцем, - странное недовольство просыпалось в ней, жажда чего-то такого, чего нет в окружающем ее мире, где ей приходится изобретать для себя какие-то препятствия и лишения и только играть в серьезность.

За это время она видела Куртье три раза. Однажды он у них обедал, его пригласила леди Вэллис премилой, чуть игривой записочкой, - этот стиль она выработала специально для тех, кто занимал в обществе не столь высокое положение, особенно если эти люди были умны; в другой раз он присутствовал на приеме в саду особняка Вэллисов, и Барбара сказала ему, в котором часу поедет завтра верхом, и увидела его в Хайд-парке; он не катался, а стоял за барьером в том месте, мимо которого она непременно должна была проехать, и на лице его была столь характерная для него смесь почтительности и насмешливой независимости. Оказалось, что он покидает Англию. Но на ее вопросы, почему и куда он едет, он только пожимал плечами. И вот Барбара сидит на пыльном помосте в душном зале с голыми стенами перед множеством народа и слышит речи, смысл которых она, усталая, занятая своим, не в силах уловить, и этот хаос мыслей, и лица вокруг, и голоса ораторов - все сливается в какой-то кошмар, в котором она только и различает шею матери под черной широкополой шляпой да лицо члена комитета, сидящего справа, который, прикрываясь газетой, усердно грызет ногти. Потом она поняла, что говорит кто-то из зала, отрывисто, словно кидая слова

небольшими связками. Это был малорослый человечек в черном, бледное лицо его дергалось вверх и вниз.

- По-моему, это ужасно, - услышала она его слова. - По-моему, это просто кощунство. Пытаться направлять величайшую силу... величайшую, самую священную и таинственную силу... которая движет миром... по-моему, это отвратительно. Я просто слышать этого не могу; мне кажется, от этого все становится таким мелким и ничтожным!

Он сел на свое место, и леди Вэллис поднялась, чтобы ответить ему.

- Все мы должны отнестись с сочувствием к искренности и до некоторой степени к побуждениям! нашего друга - предыдущего оратора. Но спросим себя: вправе ли мы позволить себе роскошь дать волю нашим личным чувствам, когда речь идет об умножении и росте нации? Нет, мы не должны поддаваться чувствам. Наш друг, предыдущий оратор, выступал здесь - да простит он мне такие слова - скорее как поэт, но не как реформатор общества. Боюсь, что, если мы позволим себе предаться поэзии, рождаемость в нашей стране очень скоро тоже превратится в одно лишь поэтическое понятие. А на это, я полагаю, мы не можем смотреть сложа руки. Резолюция, которую я собиралась предложить, когда наш друг, предыдущий оратор...

Но тут Барбара вновь погрузилась в странный хаос мыслей и чувств, из которого так неожиданно вырвал ее человечек в черном. А потом увидела, что все уже расходятся, и услышала голос матери:

- Ну, моя дорогая, сегодня еще надо в больницу. Времени у нас в обрез.

Они снова сели в автомобиль, Барбара откинулась на подушки и, не произнося ни слова, смотрела прямо перед собой.

Леди Вэллис искоса наблюдала за дочерью.

- Ну и сюрприз поднес этот коротышка! - сказала она. - Должно быть, он попал к дам по недоразумению. Знаешь, Бэбс, говорят, мистер Куртье приглашен сегодня на бал к Элен Глостер.

- Несчастный!

- Но ведь там будешь ты, - сухо возразила леди Вэллис.

Барбара снова откинулась на сиденье.

- Не дразни меня, мама.

По лицу леди Вэллис промелькнула тень раскаяния; она взяла руку Барбары в свои. Но вялая рука дочери не ответила на пожатие.

- Я понимаю твое настроение, дорогая. Чтобы стряхнуть его с себя, нужно собрать все свое мужество; не давай ему тобой завладеть. Поезжай-ка лучше завтра, навести дядю Денниса. Ты чересчур утомилась за эти дни.

Барбара вздохнула.

- Хоть бы уже настало завтра...

Автомобиль остановился у больницы.

- Войдешь? - спросила леди Вэллис. - Или ты слишком устала? На больных твои посещения всегда так хорошо действуют.

- Ты устала вдвое больше меня. Конечно, я пойду.

Когда они появились на пороге, в палате поднялся негромкий говор. Рослая, полная леди Вэллис, излучая деловитую, ободряющую уверенность, проследовала к какой-то постели и уселась. А Барбара стояла в полосе июльского солнечного света, среди обращенных к ней лиц, не зная, к кому первому подойти. Все эти несчастные казались такими смиренными, печальными и усталыми. Одна больная лежала пластом и даже головы не подняла, чтобы посмотреть, кто пришел. Она дремала, бледная, с запавшими щеками, и лицо ее казалось хрупкой фарфоровой маской, готовой рассыпаться от прикосновения, от вздоха; прядь черных, тонких, как шелк, волос упала на лоб; закрытые глаза ввалились; одна рука, чуть не до костей истертая тяжелой работой, лежала на груди. Бескровные губы едва шевелились при дыхании. Странная красота была в спящей. И Барбару при виде ее внезапно охватило волнение. Эта женщина казалась такой далекой от всего окружающего, от этой неуютной, неприветливой палаты.

Вялости и равнодушия, владевших Барбарой, когда она пришла сюда, как не бывало; лицо спящей внезапно напомнило ей о родных скалистых холмах, где свистит ветер и все так пустынно и величественно и порою страшно. Что-то стихийное чудилось в этом спокойном сне. А на соседней койке лежала старуха со сморщенным коричневым лицом и удивительно живыми, блестящими черными глазами; она принялась рассказывать Барбаре, что букетик вереска в банке на подоконнике привезли ей из Уэллса:

- Матушка моя была родом из Стерлинга, милочка, вот я и люблю вереск, хоть сама-то нигде, кроме как в Бетнел-Грине, сроду не

бывала.

И ее оживление показалось Барбаре пошлым рядом с отрешенным спокойствием спящей.

Но когда Барбара, пройдя по палате, вернулась, бледная женщина уже проснулась и села, и теперь лицо у нее было совсем заурядное, от хрупкой красоты не осталось и следа.

Как избавление прозвучали слова леди Вэллис:

- Дорогая моя, в половине шестого мне надо быть на благотворительном базаре в пользу моряков, а ты пока поезжай домой, отдохни перед балом. На обед мы приглашены к Плесси.

Бал у герцогини Глостерской - событие, которое просто невозможно пропустить, - был назначен так поздно потому, что герцогиня изъявила желание продлить лондонский сезон, чтобы извозчики могли еще немного заработать; и хотя все с этим согласились, однако многие подумали, что проще переселиться за город, а в день бала прикатить в Лондон на автомобиле и на другое утро автомобилем же отправиться восвояси. И всю неделю, на которую продлен был сезон, у вокзалов и на извозчичьих биржах стояли вереницы наемных экипажей, и кучера, не подозревая об оказанной им милости, так же терпеливо, как их лошади, дожидались седоков. И поскольку все честно выполнили свое намерение, у леди Глостер на сей раз собралось еще более многолюдное, изысканное и блестящее общество, чем обычно.

В просторной зале над пестрой толпою танцующих укреплены были опахала, навевавшие прохладу, - эти огромные веера, медленно раскачиваясь, освежали легким ветерком море крахмальных манишек и обнаженных плеч и повсюду разносили аромат украшавших залу бесчисленных цветов.

Поздно вечером у одной из цветочных куп остановилась и заговорила с Берти Карадоком очень хорошенькая женщина. Это была его кузина Лили Мэлвизин, сестра Джефри Уинлоу, жена пэра-либерала, - очаровательное создание, розовощекое, с блестящими глазами, смеющимся ртом и пухленькой фигуркой, милое и жизнерадостное. Она все время исподтишка лукаво поглядывала на собеседника, словно стараясь стрелами этих взглядов пробить латы, делавшие молодого человека столь неприступным.

- Нет, мой милый, - говорила она насмешливо, - никогда вы меня не убедите, что Милтоун сделает карьеру. Il est trop intransigeant {Он слишком нетерпим (франц.).}. А вот и Бэбс!

Мимо скользила Барбара, взгляд ее лениво блуждал, губы полураскрылись; белизна шеи почти сливалась с белизною платья; на бледном лице под тяжелым венцом золотисто-каштановых волос лежала печать усталости; и казалось, кружась в вальсе, она вот-вот упадет и только объятия кавалера удерживают ее.

Не шевеля губами - умение, секрет которого знаком всем узникам высшего света, - Лили Мэлвизин шепнула:

- С кем это она танцует, Берти? Это и есть темная лошадка?

И такими же неподвижными губами Берти ответил:

- Шансы сорок против одного.

Но любопытные блестящие глаза все еще провожали Барбару, которая уносилась в танце, точно большая лилия, подхваченная водоворотом у мельничной запруды; и в хорошенькой головке мелькнула мысль: на ведь Бэбс его поймала. Право, это дурно с ее стороны. - Тут она увидела у колонны еще одного наблюдателя, не сводившего глаз с этой пары, и подумала: "Бедняжка Клод! Не удивительно, что он такой мрачный. Ох, Бэбс!"

Барбара и ее кавалер стояли на площадке перед домом у одной из статуй, там, где деревья, не обезображенные пестрыми фонариками, отбрасывали прохладную, мирную тень.

Непривычно бледная и томная, все еще глубоко дышавшая после вальса Барбара показалась Куртье неузнаваемо прекрасной. Для чего обращать речи к видению! Перед ним сама красота, запечатленная в воздухе, стоит коснуться ее - и она растает, подобно волшебным теням, что посещают путника ночью в горах, среди снегов, мерцающих под синим звездным небом или в печальном золоте осенних берез. Слова были бы святотатством! Да и что толку говорить в этом ее мире, таком непонятном и таком самоуверенном; этот мир, точно дом, где закрыты все окна и заперты все ставни. Дом, куда открыт доступ лишь тем, кто поклялся верить в этот мир, только в него и ни во что больше, и за стенами которого нет ничего, кроме обломков камня, пошедшего на его постройку. А он, Куртье, чувствовал себя в этом мире высшего света одиноким путником в пустыне, жаждущим встретить живую душу!

- Леди Бэбс! - послышался позади них голос Харбинджера.

Еще долго огромные опахала овевали своим дыханием многоцветную веселую карусель, и скрипки стонали и жаловались до утра. И вдруг все растаяло, как исчезают, блеснув на траве, капли росы в первых лучах солнца; и в просторных залах остались одни лишь лакеи, отражаясь в блестящем паркете, как фламинго на заре на берегу озера.

ГЛАВА III

В старинном кирпичном доме Фитц-Харолдов, на окраине приморского городка Нетлфолд, мирно текли дни лорда Денниса. Здесь, на южном побережье, дыша самым чистым и целительным воздухом во всей Англии, он медленно старился, почти не думая о смерти и тихо наслаждаясь жизнью. Как и этот старый дом с высокими окнами и приземистыми трубами, он был на удивление сам по себе. У него были книги, ибо он увлекался древними цивилизациями и время от времени суховато и без особой живости сообщал в одном старомодном журнале что-нибудь новенькое о давно забытых нравах и обычаях; и еще микроскоп, ибо он изучал инфузории; и еще лодка его друга, тоже рыболова, Джона Богла, который давно уже догадался, что из всей пойманной им рыбы лорд Деннис самая крупная; да изредка кто-нибудь навещал его, либо он навещал близких в Лондоне, в Монкленде и в других имениях; из всего этого складывалась жизнь, если и не приносящая неслыханных радостей, то неизменно приятная и мирная, которая, бросаясь в глаза своей простотой, несомненно, вредила людям его круга и осложняла их взаимоотношения со всеми остальными. "Вот настоящий джентльмен! - говорили в Нетлфолде. - Были бы все аристократы такие, никто бы против них слова не сказал". Лавочники и содержатели меблированных комнат чувствовали, что куда безопаснее доверить судьбы отечества ему, чем людям, которые во все суют свой нос ради блага тех, кто вовсе их об этом не просит. Притом человек, который умел так начисто забывать, что он сын герцога, о чем именно поэтому всегда помнили окружающие, был им очень по душе. Правда, он не имел влияния в общественных делах; но на это смотрели сквозь пальцы; захотел бы и было бы по-другому, а раз не хочет, это только лишнее доказательство, что он настоящий джентльмен.

Как сам лорд Деннис был в этом маленьком городке единственным человеком, против которого никто ничего не имел, так и его дом единственный из всех - не в чем было упрекнуть. С годами он стал во всем под стать этому краю. Стены, обвитые плющом, красноватая крыша, местами в желтых пятнах лишайника, протянувшиеся до самого моря тихие луга, где паслись лошади и коровы, - все дышало добродушием. По правде говоря, рядом с ним остальные дома Нетлфолда казались грубыми и безвкусными, - он высился за ними, как повелитель, может быть, даже немного чересчур замкнутый в своем совершенстве и чуждый будничных забот.

Ни с кем из ближайших соседей лорд Деннис не встречался, разве что изредка с Харбинджером, жившим за три мили от него, в Уайтуотере. Но это его не огорчало: он умел не скучать и наедине с собой. Окрестной бедноте, а особенно рыбакам, чей заработок зимою в наше время ничтожен, он помогал так щедро, что это граничило с мотовством, ибо доходы его были не так уж велики. Но в политической жизни городка участия почти не принимал, только изредка украшал своим присутствием какое-нибудь торжество. Консерватор он был весьма умеренный и не был убежден, что страну можно возродить какими-либо иными средствами, кроме добрых отношений между сословиями. А когда его спрашивали, как установить эти добрые отношения, он с обычной своей суховатой, насмешливой учтивостью отвечал, что если ворошить палкой осиное гнездо, оттуда непременно вылетят осы. Не имея собственных земель, он избегал затрагивать этот больной вопрос, но, когда ему уж очень докучали, отвечал примерно так:

- В общем, для земли лучше, когда она в наших руках, но хорошо, если бы среди нас было поменьше "собак на сене".

Как подобает людям его породы, он относился к земле с отеческой нежностью, и просто подумать не мог, чтобы она попала в равнодушные руки государства. Он посмеивался над теориями радикалов и социалистов, но не любил, когда их приверженцев оскорбляли за глаза. Однако, надо признаться, когда ему противоречили, он становился весьма язвителен; сидевший в нем природный аристократ, не имея случая высказывать свои взгляды на политической и общественной арене, поневоле искал какой-то иной возможности выразить себя.

Каждый год в конце июля лорд Деннис предоставлял свой дом в распоряжение лорда Вэллиса, которому было очень удобно останавливаться здесь на время Гудвудских скачек.

На другое утро после бала у герцогини Глостерской лорд Деннис получил следующую записку:

"Особняк Вэллисов.

Милый дядюшка Деннис!

Нельзя ли мне приехать к Вам пораньше и немного отдохнуть? В Лондоне жара невыносимая. Маме надо еще побывать на трех заседаниях, и я тоже должна буду вернуться на наш последний политический прием, поэтому не хочется забираться в такую даль - в Монкленд; и всюду такой шум и суета, не то что у Вас. У Юстаса вид совсем измученный. Постараюсь привезти и его. Бабушка просто устрашающе здорова.

Нежно любящая Вас

Бэбс."

Она приехала в тот же день, но одна, без Милтоуна; ее довез со станции наемный экипаж. Лорд Деннис встретил ее у ворот, поцеловал и оглядел не без тревоги, поглаживая свою острую седую бородку. Он не мог припомнить случая, чтобы она плохо себя чувствовала, разве только однажды, когда он взял ее на прогулку в лодке Джона Богла. А она и в самом деле побледнела и переменила прическу, - этого он не понял и только забеспокоился, что Бэбс не такая, как всегда. Он взял ее под руку и повел на луг, где еще вовсю цвели лютики, и старый белый пони, на котором она двенадцать лет назад каталась в Хайд-парке, подошел и потерся носом о ее талию. И в душе лорда Денниса вдруг шевельнулось, сильно его смутив, странное подозрение, что если девочка и не заплачет сейчас, ей нужно дать время одолеть подступающие слезы. С таким! видом, словно он вовсе и не думал оставлять ее одну, он отошел к ограде и стал смотреть на море.

Прилив почти достиг высшей точки; ветер с юга доносил запах водорослей, мелкая волна шуршала чуть ли не у самых ног. Вдали под солнцем сияющие воды казались почти белыми, таинственными в дымке июльского дня, и от вида их как-то странно щемило в груди. Но хоть в иные минуты лорд Деннис и поддавался поэтическому волнению, в целом он прекрасно умел поставить море на место - ведь

в конце концов это всего-навсего пролив, а как всякий истый англичанин, лорд Деннис полагал, что вещи следует называть своими именами, иначе они перестают быть фактами, а перестав быть фактом, любая вещь может обернуться самим дьяволом! Говоря по совести, он думал не столько о море, сколько о Барбаре. Что-то с ней произошло. Но мысль эта сразу же показалась ему нелепой: что может произойти с Бэбс? Чутье подсказывало ему, что только удар большой силы мог пробить сверкающую броню молодости и благополучия. Это не смерть; значит, любовь; и ему сразу вспомнился тот, рыжеусый. Идеи пожалуйста, разводите их сколько угодно, когда это к месту, - скажем, за обеденным столом. Но влюбиться (если она и в самом деле влюбилась) в человека с идеями, да еще когда он всю жизнь свою намерен строить в согласии с этими идеями и кормиться только ими одними, - это уже казалось лорду Деннису несколько outre {Чересчур (франц.).}.

Барбара тоже подошла к ограде, и он с сомнением на нее посмотрел.

- Ищем покоя в водах Леты, Бэбс? Кстати, ты больше не видела нашего друга мистера Куртье? Весьма колоритны эти его донкихотские понятия о жизни!

Голос лорда Денниса (как бывает у людей утонченных, махнувших рукой на философию) звучал сразу на три лада: тут была и насмешка над идеями, и насмешка над самим собой за эту насмешку над идеями, и все-таки ясно слышалось, что смешна только эта его насмешка над идеями, но не насмехаться над ними ему как будто все же не к лицу.

Но Барбара не ответила на его вопрос и заговорила о другом. И весь этот день и вечер она болтала так легко и непринужденно, что если бы не чутье лорда Денниса, он бы, пожалуй, обманулся.

Эту улыбающуюся маску - непроницаемость юности - она сбросила только ночью. Сидя у окна в свете луны - "золотистой бабочки, взмывающей медленно в ночные небеса", - она жадно всматривалась в темноту, словно пыталась прочитать в ней что-то очень важное. Изредка она тихонько касалась себя рукой - ощущение собственного тела странно успокаивало. К ней вернулось давно знакомое тревожное чувство, точно душа ее раздвоилась. И эта ласковая ночь, безмятежное дыхание моря и темный бескрайний

простор пробудили в ней жгучее желание слиться воедино с чем-то, с кем-то, не быть одной. Накануне на балу ее вновь охватило "ощущение полета", и оно не проходило - странное проявление ее мятущегося духа. И это следствие встреч с Куртье, это бессильное желание взлететь и ощущение подрезанных крыльев было ей горько и обидно, как обидно ребенку, когда ему что-то запрещают.

Ей вспомнилось: в Монкленде однажды в оранжерею, спасаясь от какого-то врага, залетела сорока, и ее потом приютила экономка. Когда уже казалось, что птицу удалось приручить, ее решили выпустить и посмотреть, вернется ли она. Несколько часов сорока просидела высоко на дереве, а потом возвратилась в клетку; и тогда, опасаясь, что при новой попытке взлететь ее заклюют грачи, ей подрезали одно крыло. После этого пленения птица жила весело и беззаботно, прыгала но своей клетке и по площадке перед домом, куда ее выпускали на прогулку, но порою вдруг становилась беспокойной, пугливой и начинала махать крыльями, словно мечтала взлететь и грустила, что ей суждено оставаться на земле,

Вот и Барбара, сидя у окна, трепыхала крылышками; потом легла, но не могла уснуть и только все вздыхала и ворочалась. Часы пробили три; ей стало нестерпимо досадно на себя и, накинув поверх ночной сорочки плащ и сунув ноги в туфли, она выскользнула в коридор. В доме все было тихо. Она крадучись сошла вниз. Ощупью пробралась через сумрачную прихожую, населенную еле различимыми призраками, робкими подобиями света, осторожно сняла дверную цепочку и побежала к морю. Она бежала по росистой траве неслышно, как птица, парящая в воздухе; и две лошади, учуяв ее в темноте, зафыркали, задышали тревожно среди лютиков, сомкнувших на ночь лепестки. Барбара вышла за ограду и оказалась на берегу. Пока она бежала, ей хотелось только одного - кинуться в прохладную воду, но море было такое мрачное, окаймленное едва различимой полоской пены, и небо, тоже черное, беззвездное, застыло в ожидании дневного света!

Барбара остановилась и огляделась. И весь трепет и волнение плоти и духа медленно замерли в этой безмерной тьме и одиночестве, где тишину нарушал лишь задумчивый плеск волн. Ей не впервые случалось не спать глубокой ночью - только накануне в этот самый час Харбинджер кружил ее в последнем вальсе! Но здесь глубокая ночь

была совсем иной, у нее было иное, торжественное лицо, и Барбаре, смотревшей в широко раскрытые глава ночи, показалось, что тьма заглянула ей в самую душу, и душа пугливо сжалась, стала маленькой и робкой. Барбара дрожала в своем подбитом мехом плаще, ей стало жутковато - такой крохотной и ничтожной казалась она себе перед лицом черного неба и темного моря, которые как будто слились воедино, в нечто огромное и безжалостное. Скорчившись на берегу, она стала ждать зари.

Заря прилетела из-за холмов, обдала ее порывом холодного ветра, устремилась к морю. И Барбара вновь осмелела. Она разделась и вбежала в темные, но быстро светлеющие волны. Они ревниво укрыли ее, и она поплыла. Вода была теплее воздуха. Барбара легла на спину и смотрела, как понемногу розовеет небо. Так славно было плескаться в полутьме, с раскинутыми по волнам волосами, без купального костюма, липнущего к телу, что ей стало весело, как озорному ребенку. Она заплыла дальше, чем следовало, потом вдруг испугалась собственной смелости и под встающим солнцем поплыла обратно.

На берегу она поспешно накинула свои одеяния, перелезла через ограду и бегом бросилась к дому. Все ее уныние и лихорадочные сомнения как рукой сняло; бодрая, освеженная, она вдруг почувствовала, что умирает с голоду, и, прокравшись в темную столовую, стала шарить всюду в поисках съестного. Нашла печенье и еще жевала, когда на пороге появился лорд Деннис с зажженной свечой в одной руке и с пистолетом в другой. В старом синем халате, с белой бородкой и резкими чертами лица, он выглядел очень внушительно - в эту минуту он очень походил на леди Кастерли, словно близкая опасность облачила его в стальные доспехи.

- И это, по-твоему, называется отдых! - сказал он сухо; и, заметив, что волосы у нее мокрые, прибавил: - Я вижу, ты уже вверила свои тревоги водам Леты.

Но Барбара, не ответив, скрылась в полутемную прихожую и поднялась к себе.

ГЛАВА IV

Пока Барбара плавала, встречая рассвет, Милтоун купался в тех водах кротости и правдолюбия, что плещут в стенах британской палаты общин.

Шли нескончаемые дебаты по земельному вопросу, которых он так долго ждал, готовясь выступить со своей первой речью, и он уже девять раз поднимался с места, но спикер его не замечал, и им постепенно овладевало чувство нереальности. Конечно же, этот торжественный зал, где непрерывно звучит какой-то слабый одинокий голос, перебиваемый странными, какими-то автоматическими взрывами одобрения или недовольства, существует лишь в его воображении! И все эти лица - только плод его фантазии! И когда он наконец получит слово, он будет обращаться лишь к самому себе! Недвижный воздух, отравленный человеческим дыханием, немигающий взгляд бесчисленных ламп, длинные ряды скамей, причудливые овалы бледных, прислушивающихся лиц далеко на галерее - все это эманация его собственного духа! Даже когда кто-то входит или выходит между рядами скамей, это просто снуют взад и вперед своевольные частицы его самого! И где-то в самой глубине этого гигантского создания его фантазии слышится неясный ропот - это его еще не произнесенная речь, точно ветром, сносит куда-то мыльные пузыри слов, выдуваемые далеким, слабым, всякий раз меняющимся голосом.

И вдруг фантастическое видение рассеялось: он был на ногах, сердце сильно билось - он произносил речь.

Скоро внутренняя дрожь утихла, осталось смутное сознание, что голос его звучит необычно, и странное безрадостное удовлетворение от того, что его слова раздаются в такой тишине. Казалось, вокруг нет людей, только рты и глаза. И Милтоун наслаждался ощущением, что это он своими словами заставил онеметь жадные рты и приковал к себе глаза. Потом он понял, что вое уже сказано, и сел, и сидел, не шевелясь, среди разноголосого шума, обхватив руками колено и уставясь в чей-то затылок. Как только вновь раздался тот слабый далекий голос, он взял шляпу и, не глядя ни вправо, ни влево, вышел из зала.

Он не ощутил ни облегчения, ни бурного восторга, какой обычно испытываешь, сделав первый решительный шаг, - душа казалась глубоким темным колодцем, наполненным одной лишь горечью. В сущности, выступив со своей речью, 0н только утратил то, что до сих пор отчасти утоляло его боль. Он окончательно убедился, что теперь, когда успех его не может разделить Одри Ноуэл, политическая

карьера ничуть его не радует. Медленно пошел он к Темплу по набережной, где фонари, бледнея, уже предвещали ежедневный праздник во славу божества - встречу тьмы и света.

Милтоун был не из тех, кто сдается без боя; все глубоко задевало его, он бунтовал, отчаянно сопротивлялся судьбе. Словно всадник, погоняющий самого себя, он мчался вперед, и горячился, и вздрагивал, когда шпоры безжалостно вонзались в тело; в своем гордом одиноком сердце он нее бремя внутренней борьбы, которое натуры помельче или более общительные разделяют с друзьями.

Он шел домой, и вид у него был почти такой же затравленный, как у бездомных бродяг, каждую ночь засыпающих здесь, на берегу, будто они знают, что близость этой утешительницы, готовой в любую минуту подарить им великое забвение, одна может спасти их от соблазна погрузиться в ее объятия. Быть может, Милтоун был еще несчастнее этих людей, - их, по крайней мере, давно уже не тревожил беспокойный дух, выдавленный по капле из жалких тел тяжкой пятою жизни.

Теперь, когда Одри Ноуэл была для него потеряна, вся ее прелесть, ее непередаваемое обаяние преследовали его неотступно, точно мучительный мираж, воплощение недосягаемой красоты, - а ведь он мог ею завладеть, если бы только захотел! Вот что терзало его всего сильнее. Мог бы, если б захотел! К тому же он страдал и физически, его медленным огнем сжигала лихорадка, должно быть от того, что он промок насквозь тогда, в день их последней встречи. И этот скрытый жар неприятно приглушал все чувства и впечатления, как только что в палате прежде, чем он выступил, все доходило до него словно сквозь какую-то плотную ткань, которую он не в силах был прорвать. В нем как будто сцепились в смертельной схватке два человека: один свято веровал в божественный промысел и власть, и на этом до сих пор зиждились все его убеждения; другого сводила с ума пламенная любовь. Он был глубоко несчастен и жаждал поговорить с кем-нибудь, кто его выслушает и поймет, но, давно привыкнув не искать наперсников, не знал теперь, как утолить эту жажду.

Уже рассвело, когда он вернулся домой; но, зная, что все равно не уснет, даже не лег, а лишь переоделся, сварил себе кофе и сел у окна, выходившего в сад.

В зале Мидл-Темпл еще не кончился бал, хотя китайские фонарики уже погасли. В тени старого фонтана Милтоун увидел пару, которая укрылась здесь вместо того, чтобы последний раз потанцевать. Девушка уронила голову на плечо своего кавалера; губы их слились. В окно Милтоуна вместе с мелодией вальса, в котором они должны были бы кружиться, вливался запах гелиотропа. Эти двое, так хитро укрывшиеся в тени фонтана под щебет воробьев и украдкой обнимающиеся в саду, их пугливые взоры и шепчущие губы, - все это был мир, от которого он отрекся! Когда он опять посмотрел в ту сторону, они уже исчезли, растаяли, как дым; смолкла и музыка, и запах гелиотропа тоже больше не долетал к нему. В тени фонтана притаилась бродячая кошка, подстерегая громко чирикающих воробьев.

Милтоун вышел из дому, свернул на пустынный Стрэнд и побрел, сам не зная куда; около пяти он оказался на Пэтнейском мосту.

Он постоял, облокотись на парапет и глядя на серую воду. Солнце едва сквозило в дымке, предвещавшей знойный день; катили мимо ранние повозки, люди уже шли на работу. Для чего течет река, повинуясь приливам и отливам? И для чего дважды в день пересекает ее людская река? Для чего страдают люди? Этот полноводный поток жизни казался Милтоуну таким же бессмысленным, как кружение чаек в лучах встающего солнца.

Потом он спустился с моста и направился к Барнскому лугу. Здесь, в кустах дрока, серых от паутины и искрящихся каплями росы, еще заплуталась ночь, Милтоун прошел мимо каких-то бродяг, которые крепко спали, всей семьей тесно прижавшись друг к другу. Даже бездомные спят друг у друга в объятиях!

Он вышел на дорогу близ ворот Рейвеншема, прошел огородом и опустился на скамью подле малинника. Малинник был обнесен сеткой для защиты от воров, но, два черных дрозда, заслышав Милтоуна, встрепенулись в кустах, нырнули сквозь нее и полетели прочь.

Неподвижную фигуру на скамье заметил издали садовник, и скоро уже все знали, что в малиннике сидит молодой лорд. Слух этот дошел и до Клифтона, и он самолично вышел посмотреть, в чем дело. Старик неслышно подошел и остановился перед Милтоуном.

- Вы будете завтракать, милорд?

- Если бабушка меня примет, Клифтон.

- Как я понимаю, ваша светлость вчера вечером выступили с речью?

- Да.

- Надеюсь, палата вам понравилась.

- Ничего, Клифтон, спасибо.

- Конечно, она уже не та, что в славные времена вашего дедушки. Он был о ней очень высокого мнения. Но, разумеется, люди теперь другие.

- Tempora mutantur {Времена меняются (лат.).}.

- Это верно. Я замечаю, к государственным делам стало другое отношение. Взять хоть эти дешевые газетки; читать-то их, конечно, читаешь, но уж одобрить никак нельзя. Мне не терпится прочесть вашу речь. Говорят, в первый раз выступать очень трудно.

- Да, пожалуй.

- Но вам-то, конечно, волноваться не стоило. Я уверен, это была прекрасная речь.

Худые бледные щеки старика, окаймленные снежно-белыми бакенбардами, залила краска.

- Я давно ждал этого дня, - продолжал он, запинаясь. - Все годы, сколько знаю вашу светлость... двадцать восемь лет. Это начало.

- Или конец, Клифтон.

Лицо старика вытянулось, он посмотрел на Милтоуна с тревожным недоумением.

- Нет, нет, - сказал он. - В вашем роду такого быть не может.

Милтоун взял его за руку.

- Простите, Клифтон. Я не хотел вас огорчить. С минуту они молчали, в некоторой растерянности глядя на свои соединенные в пожатии руки.

- Не угодно ли вашей светлости принять ванну?.. Завтрак, как всегда, в восемь. Могу достать для вас бритву.

Войдя в столовую, Милтоун застал леди Кастерли с "Таймсом" в руках; перед нею стоял ее обычный завтрак - грейпфрут и сухое печенье. Она казалась совсем не такой "устрашающе здоровой", как писала Барбара; скорее, даже побледнела, словно тяжело переносила летнюю жару. Но ее небольшие серо-стальные глаза, как всегда, смотрели зорко и живо, и каждое движение было полно решимости.

- Я вижу, Юстас, ты выбрал собственное направление, - сказала она. - Я не нахожу в этом ничего дурного, напротив. Но помни, мой милый, что бы у тебя там ни переменилось, держись одного. В парламенте важно все время бить в одну точку. Ты что-то плохо выглядишь.

- Спасибо, я здоров, - пробормотал Милтоун, наклоняясь и целуя ее.

- Чепуха. За тобой плохо смотрят. Мама была в палате?

- Кажется, нет.

- Вот именно. А Барбара о чем думает? Уж она-то могла бы о тебе позаботиться.

- Барбара уехала к дяде Деннису.

Леди Кастерли поджала губы; потому пронизывая внука взглядом, сказала:

- Сегодня же отвезу тебя туда. Морской воздух тебе пойдет на пользу. Что вы на это скажете, Клифтон?

- Его светлость очень бледен.

- Распорядитесь насчет экипажа, мы поедем с Клэпхемского вокзала. Томас доставит тебе что нужно из платья. А лучше позвоним по телефону твоей маме, пусть пришлет за нами автомобиль, хоть я их терпеть не могу. Слишком жарко ехать поездом. Клифтон, пожалуйста, устройте это.

Милтоун не стал спорить. И всю дорогу сидел глубоко равнодушный и усталый, что леди Кастерли сочла в высшей степени дурным знаком, ибо усталость она почитала состоянием весьма странным и непростительным. Этой примечательной маленькой женщине - хранительнице аристократических принципов, - заряженной стремлением сохранить жизнеспособность, свойственна была особая, выработанная поколениями цепкость, которую вынуждено развивать в себе сословие, стоящее на вершине общественной лестницы, затем, чтобы не впасть в ничтожество и не оказаться перед необходимостью начинать все сначала. Говоря начистоту, ей не терпелось любым, самым жестоким способом как-то встряхнуть внука, вывести из оцепенения, ибо она знала, почему он такой, и считала это возмутительным малодушием. Будь на его месте любой другой из ее внуков, она не колебалась бы ни минуты, но в Милтоуне было нечто такое, чего побаивалась даже леди Кастерли, и

за четыре часа, проведенные в дороге, она только раз попыталась преодолеть его сдержанность. Сделала она это с необычайной для нее мягкостью - ведь он, как никто другой, был ее надеждой и ее гордостью! Просунув под его локоть сухую властную ручку, она тихо сказала:

- Не грусти, мой милый. Это никуда не годятся.

Но Милтоун мягко высвободился и положил ее руку на плед, прикрывавший колени; он ни слова не ответил и ничем не показал, что слышал ее.

И леди Кастерли, глубоко уязвленная, сжала в ниточку поблекшие губы и сказала резко:

- Пожалуйста, медленнее, Фрис!

ГЛАВА V

Только Барбаре Милтоун немного приоткрыл свою смятенную душу; это произошло в тот же день, в час отлива, когда они лежали на берегу в тени лохматого тамариска. Он и с нею не мог бы заговорить откровенно, если бы не та памятная ночь в Монкленде; и, может быть, все равно не заговорил бы, если бы не чувствовал в младшей сестре того живого тепла, которого он так жаждал. В том, что касалось любви, из них двоих старшей была Барбара: помимо присущего почти всем женщинам чутья, ей свойственно было еще врожденное знание света, как и подобало дочери лорда и леди Вэллис. Если она не очень ясно понимала, что творится в ее собственной душе, то сбивали ее с толку не любовь и страсть, как Милтоуна, а разум и любопытство, разбуженные Куртье и пытающиеся неумело трепыхать крылышками. Она горевала о безнадежной любви Милтоуна; и ей тяжело было думать о миссис Ноуэл, которая терзается тоской в своем одиноком домике. Глядя на свою примерную и степенную сестру Агату, Барбара уже давно была склонна бунтовать против общепринятой морали и отнюдь не склонна к набожности. Раз эти двое не могут быть счастливы врозь, рассуждала она, так во имя всего счастья, какое возможно на земле, пусть будут счастливы вдвоем!

Милтоун лежал на спине под кустами тамариска и смотрел в небо, а она гадала, как бы его утешить, сознавая, что не понимает его взглядов и мыслей. Позади, над полями, жаворонки песней славили зреющие хлеба; берег, обнаженный отливом, пестрел всеми красками, от ярко-зеленого до нежно-розового; у самой воды бродили черные

согнутые фигурки - сборщики морского салата. В тени ветвей сладко пахло тамариском; во всем был несказанный покой. И Барбара, окутанная пестрым покрывалом света и тени, не могла без досады думать о страданиях, которые, по ее мнению, вполне можно было исцелить, - надо только действовать. Наконец она набралась храбрости:

- Жизнь коротка, Юсти!

Милтоун не пошевельнулся, но слова его ее испугали:

- Убеди меня в этом, Бэбс, и я стану тебя благословлять. Если пенье жаворонков ничего не значит и эта лазурь над головой - глупая выдумка, если мы пресмыкаемся тут впустую и жизнь наша бессмысленна и бесцельна, ради всего святого убеди меня в этом!

Барбара растерянно подняла руку, словно защищаясь.

- Не надо так! - вымолвила она. - Ты слишком мрачно на все смотришь!

- Раз ты говоришь, что жизнь коротка, тебе не следует отравлять ее жалостью, - сказал Милтоун со своей обычной улыбкой. - В старину мы шли в Тауэр за свои убеждения. Полагаю, что и сейчас мы способны потерпеть, когда нам достается; или уж нам больше ни на что не хватает пороху?

- Что действительно надо терпеть, мы вытерпим, я полагаю, - резко ответила Барбара, обиженная его насмешливым тоном, - но с какой стати самим себя мучить? Вот чего я не выношу!

- Ох, как мудро.

Барбара густо покраснела.

- Я люблю жизнь! - сказала она.

Золотые корабли заходящего солнца уже плыли на всех парусах прямо к берегу, где все еще низко сгибались черные фигурки сборщиков салата, а жаворонки еще пели над зреющими хлебами, когда Харбинджер, скакавший по берегу из Уайтуотера к дому лорда Денниса, повстречал брата и сестру, молча возвращавшихся домой обедать.

Сказать, что сей молодой человек тонко чувствовал духовную температуру, значило бы погрешить против истины; но он в этом был не так уж виноват: ведь с самого его рождения все словно сговорилось поддерживать уровень ртути в духовном термометре окружающей его среды на тридцати градусах в тени. И если сейчас столбик ртути его

собственного духа подскочил чуть ли не до точки кипения и грозил разорвать стеклянную оболочку, от этого он только еще меньше чем всегда способен был замечать, что творится с другими. Однако он заметил, что Барбара бледна и кажется еще прелестнее, чем обычно. С ее старшим братом Харбинджеру почему-то всегда бывало не по себе. Он не решался попросту презирать не знающее компромиссов упорство в человеке своего круга, но и его, как всех, болезненно задевало плохо скрытое язвительное презрение Милтоуна ко всякой банальности; непоколебимо уверенный в себе, как это свойственно крепким, здоровым людям, чей счастливый жребий таков, что едва ли чему-нибудь удастся поколебать эту веру, он терпеть не мог, когда на него смотрели несколько сверху вниз. И испытал величайшее облегчение, когда Милтоун, сказав, что ему понадобился какой-то журнал, свернул к городку.

Харбинджер, как и Милтоун и Барбара, провел мучительную, беспокойную ночь. Видение в белом, с приоткрывшимися губами, самозабвенно кружащееся в объятиях Куртье, неотступно преследовало его. Танцуя последний вальс с Барбарой, он ожесточенно молчал; ему стоило огромного труда удержаться от едких намеков на "рыжего бахвала", как он втайне прозвал рыцаря безнадежных битв. То, что он чувствовал на балу и после, в сущности, было откровением, вернее, стало бы откровением, умей Харбинджер взглянуть на себя со стороны. Правда, на другой день он держался, по обыкновению, уверенно и небрежно ведь не станешь выставлять свои чувства напоказ, - Но в нем бушевала такая жгучая, бешеная ревность, что можно было его только пожалеть. Мужчины его склада, рослые, сильные, напористые, отнюдь не отличаются терпением. Шагая с бала домой, он решил поехать за Барбарой к морю, ибо она не без умысла сказала ему, что уезжает. После второй бессонной ночи он больше не колебался. Он должен ее увидеть! В конце концов может же человек поехать в собственное имение, а если причины такой поспешности чересчур ясны - что ж, пусть. Ясны? Чем ясней, тем лучше! В нем пробуждалась чисто мужская упрямая и грубая решимость. Нет, она от него не ускользнет!

Но теперь, когда он, ведя лошадь в поводу, шел рядом с Барбарой, вся его решимость и уверенность растаяла, уступив место растерянной робости. Он шел, повесив голову, и ему было больно, что

она так близко и все же так от него далеко; он злился на свою немоту и неловкость, едва ли не злился и на Барбару за то, что она так хороша и этим заставляет его страдать. Когда они дошли до дома Фитц-Харолдов и Барбара оставила Харбинджера у конюшни, сказав, что ей надо еще нарвать цветов, он с сердцем дернул уздечку и выругал лошадь, которая не сразу пошла в стойло. Его приводила в ужас мысль, что он может уже не застать Барбару в саду, и в то же время он почти боялся найти ее там. Но она все еще рвала гвоздики у живой изгороди, по дороге к оранжерее. А когда кончила и выпрямилась, Харбинджер, сам не зная, что делает, стиснул ее в объятиях и начал неистово целовать.

Барбара как будто и не сопротивлялась, губы ее оставались безответными, нежные щеки разгорались все жарче; но вдруг Харбинджер отпрянул, и сердце его остановилось от ужаса перед собственной непоправимой дерзостью. Что же он натворил! Барбара прижалась к изгороди, почти утонув в подстриженных кустах букса, и он услышал ее чуть насмешливый голос:

- Ну и ну!

Он готов был упасть на колени, умоляя о прощении, только страх, что кто-нибудь пройдет и увидит, удержал его.

- О господи, я сошел с ума! - пробормотал он и мрачно застыл, страшась собственного безрассудства.

- Это верно, - услышал он тихий ответ.

И видя, что она приложила руку к губам, как бы стараясь утишить боль, с усилием прошептал:

- Простите меня, Бэбс!

Долгая минута прошла в молчании, он больше не смел поднять на нее глаза и не мог совладать со своим волнением. И наконец в растерянности услышал ее слова:

- Я не сержусь - на сей раз.

Он изумлению вскинул глаза. Как может она говорить так спокойно, если любит его! А если не любит, как может не сердиться!

Она провела ладонями по лицу, пригладила волосы, поправила воротник, приводя себя в порядок после его поцелуев. Затем предложила:

- Пойдемте в дом?

Харбинджер шагнул к ней.

- Я так люблю вас! - сказал он. - Я готов отдать в ваши руки свою жизнь, а вам она не нужна.

Он сам! не очень понимал, что говорит, а у Барбары эти слова вызвали улыбку.

- Если я позволю вам подойти ближе чем на три шага, будете вы вести себя прилично?

Он поклонился, и они молча пошли к дому.

За обеденным столом в тот вечер ощущалась какая-то странная неловкость. Но если ни Милтоун, ни лорд Деннис не могли понять, что за комедия разыгрывается у них на глазах, то леди Кастерли была достаточно проницательна; и когда Харбинджер пустился на своем скакуне в обратный путь через пески, она, взяв свечу, позвала Барбару к себе. Введя внучку в комнаты, всегда отводившиеся ей в дни ее пребывания в этом доме и обставленные по ее вкусу, то есть почти пустые, леди Кастерли села, по-хозяйски придирчиво оглядела высокую стройную фигуру девушки и сказала:

- Итак, хоть ты становишься благоразумной. Поцелуй меня.

Наклонившись к ней для этого священнодействия, Барбара увидела одинокую слезу, скользящую вдоль точеного носа. Понимая, что заметить слезу было бы ужасно, она выпрямилась и отошла к окну. И глядя на темные поля и темное море, по берегу которого Харбинджер в эти минуты возвращался домой, она прижала руку к губам и в сотый раз подумала:

"Так вот как это бывает!"

ГЛАВА VI

Спустя три дня после своего первого и, как он себе пообещал, последнего великосветского бала Куртье получил записку от Одри Ноуэл: она писала, что уехала из Монкленда и сняла квартирку на набережной, неподалеку от Вестминстера.

В тот же день он пошел к ней мимо здания парламента, сверкавшего в лучах июльского солнца, согревшего эти стены, которые всегда дышат суровой торжественностью. Куртье на ходу подозрительно на них покосился. Вид этих башен всегда вызывал у него двойственное чувство. Он был не настолько поэтом, чтобы усмотреть в них всего лишь живописный силуэт на фоне неба, но в достаточной мере поэтом, чтобы ему страстно хотелось дать чему-то или кому-то пинка; в таком настроении он и вышел на набережную.

Миссис Ноуэл не оказалось дома, но горничная сказала, что она скоро вернется, и Куртье решил подождать. Квартирка была на втором этаже, окнами на реку, и, видимо, была снята вместе с обстановкой: заметны были следы недавней борьбы со вкусами, уцелевшими от царствования Эдуарда, Георгов и королевы Виктории. Знаком явной победы в этой борьбе оказалась розовая кушетка в нише у окна, очень удобная и вполне современная, на которой Куртье и уселся, по привычке бывалого солдата не упускать ни минуты отдыха.

Когда-то он относился покровительственно к удивительно миловидной темноволосой девочке; теперь к этому чувству прибавилась не только рыцарственная жалость отзывчивого человека к женщине, сраженной несчастьем, но еще и гнев, естественный для того, кто, по самому складу своего характера, никогда не чувствовал себя угнетенным, и возмущается, когда видит, как тиранят и угнетают других.

Еще смутно различимые в сумерках серые башни, под сенью которых заседали Милтоун и его отец, вызывали у Куртье немалую досаду; в его глазах это был символ власти - заклятого врага его бессмертной возлюбленной, сладостной, нескончаемой и безнадежной битвы за свободу. Но скоро река, наполняемая вольными водами, что омывали несчетные берега, касались всех песков, видели, как восходят и закатываются любые судьбы так успокоила его своим беззвучным гимном свободе, что, когда Одри Ноуэл с охапкой цветов вошла в комнату, он спал крепким сном, плотно сжав губы.

Неслышно положив цветы, она стала ждать, когда он проснется. Это живое, подвижное лицо с выдающимся подбородком, огненными усами и бровями, сходящимися римской пятеркой над сомкнутыми веками, даже во сне сохраняло выражение веселого вызова; и, должно быть, во всем Лондоне не нашлось бы ему большей противоположности, чем лицо этой женщины в раме мягких темных волос - нежное, покорное, дышащее радостью при виде единственного человека на свете, от которого она, не теряя уважения к себе, могла узнать хоть чтонибудь о Милтоуне.

Наконец он проснулся и без малейшего смущения сказал:

- Это так похоже на вас - не разбудить!

Они долго сидели и разговаривали под ровный, дремотный шумок с набережной, в дремотном аромате цветов, наполняющем

комнату; и когда Куртье ушел, сердце его ныло. Одри ни слова не сказала о себе, почти все время она говорила о Барбаре, восхищалась ее красотой и жизнерадостностью; раза два она вдруг бледнела, и видно было, с какой затаенной жадностью впитывает она каждое мельком брошенное слово о Милтоуне. Несомненно, она все так же любила его, хоть и старалась этого не показывать. Куртье жалел ее теперь почти яростно.

В таком настроения, одолеваемый еще иными противоречивыми чувствами, он надел фрак и отправился на последний в этом сезоне прием в особняк Вэллисов - в такое позднее время, в конце июля, прием этот, по необходимости носил сугубо политический характер.

Поднимаясь по широкой сверкающей лестнице, на которой так часто сбивалась со счета Энн, он припомнил картинку "Ступени, ведущие к небесам", висевшую в его детской тридцать четыре года назад. На верхней площадке он увидел Харбинджера, окруженного приятелями, тот сухо ему кивнул. Ревнивому глазу Куртье этот красивый, статный молодой человек показался еще более преуспевающим и самодовольным, чем всегда; и он, едко усмехаясь, прошел мимо и, лавируя в толпе, направился к леди Вэллис, которая, точно генерал, стояла на небольшом свободном пространстве, где непрерывно сходились и вновь расходились, подобно лучам звезды, вереницы гостей. Хозяйка дома выглядела прекрасно, простор и сверкающий мрамор очень гармонировали со всем ее обликом; она поздоровалась с Куртье особенно сердечно, - тут было не только желание подбодрить залетную птицу, которая в этом доме, наверно, чувствует себя чужой, но еще, пожалуй, и некая дипломатия, потому что ей и хотелось его обезоружить и страшновато было нечаянным словом задеть его и сделать еще более опасным. Она сказала, что слышала, будто он собирается в Персию, и выразила надежду, что он не намерен осложнять и без того трудное положение; затем со словами: "Так мило с вашей стороны, что вы пришли!" - она вернулась к своим обязанностям генерала на поле сражения.

Поняв, что разговор с ним окончен, Куртье отошел к стене - и принялся наблюдать. Стоя здесь, в стороне от всех, он напоминал одинокую кукушку, следящую, как кружит в воздухе стая грачей. Ему, столь далекому от правил и обычаев Вестминстера, вся эта суета казалась не слишком осмысленной. Он слышал, как спорили о речи

Милтоуна, подлинное значение которой они только сейчас поняли. До его ушей доносились слова: "доктринер", "экстремист", а вместе с тем - "новая сила". Речь Милтоуна их явно озадачила, обеспокоила, неприятно удивила, словно среди привычных созвездий вдруг появилось неведомое доныне светило.

Отыскивая взглядом в толпе Барбару, Куртье все время чувствовал себя пристыженным. С какой стати он затесался в это глубоко чуждое ему общество только затем, чтобы ее увидеть? С какой стати вообще он томится по этой девушке, в душе прекрасно зная, что он и недели не вытерпел бы в атмосфере, где дышит она, а она не смогла бы дышать там, куда он мог бы ее привести; да и все равно ее сердце из-за него никогда не забьется сильнее: ведь он вдвое старше ее!

- Мистер Куртье! - раздалось позади него.

Он обернулся и увидел Барбару.

- Мне надо с вами серьезно поговорить. Пройдемте в галерею, хорошо?

Когда наконец они очутились подле семейного портрета Карадоков георгианской эпохи, в достаточном отдалении от толпы, Барбара заговорила:

- Милтоун ужасно несчастен, и я не знаю, чем ему помочь. Он просто убивает себя!

И неожиданно снизу вверх поглядела на Куртье. В эту минуту она показалась ему очень юной и трогательной. В глазах ее светилось совсем детское доверие, словно она ждала, что он распутает все узлы, поможет ей понять не только беду Милтоуна, но и всю жизнь, ее смысл и секрет - как быть счастливой. И он сказал мягко:

- Что же я могу сделать? Миссис Ноуэл в Лондоне. Но это не поможет, если только... - И он умолк, не зная, как докончить фразу.

- Была бы я на месте Милтоуна... - прошептала Барбара.

Странно прозвучали эти слова; Куртье стоило большого труда не взять в свои ее руки, которые были так близко. Бунтарская вспышка Барбары отозвалась в нем жарким волнением. Но она, словно поняв, что в нем происходит, сказала холодно:

- Все это бесполезно; с моей стороны глупо было вас беспокоить.

- Вы никак не можете меня обеспокоить.

Она перестала рассматривать собственную перчатку и вдруг посмотрела ему прямо в глаза.

- Это правда, что вы едете в Персию?

- Да.

- Но я не хочу, чтобы вы сейчас уезжали! - сказала Барбара и, повернувшись, быстро вышла из галереи.

Необычно взволнованный, Куртье остался недвижим и вопросительно посмотрел в суровые лица Карадоков.

- Недурная живопись, правда? - раздался голос.

Куртье обернулся - за ним стоял Харбинджер. И снова ему вспомнились слова леди Кастерли; вспомнились двое на балконе, над толпой в день выборов, взявшиеся за руки; встрепенулась острая ревность к этому молодому красивому великану, вся враждебность к тому, в ком Куртье чутьем угадывал умение всегда сражаться на стороне победителей; мысль, что сам он ведет борьбу безнадежную, и сомнение, вправе ли он ее вести, - все это разом вспыхнуло в душе Куртье, и он ответил Харбинджеру молчаливым взглядом в упор. На лице Харбинджера сквозь светскую маску медленно проступило упрямое бешенство.

- Я сказал: "Недурная живопись, правда?", - мистер Куртье.

- Я слышал.

- И что вы соблаговолили ответить?

- Ничего.

- Учтивость, какой от вас и следовало ожидать.

- Если вам угодно разговаривать в таком духе, - с холодным презрением отозвался Куртье, - прошу выбрать место, где я смогу вам ответить.

Он круто повернулся и пошел прочь.

Но, выходя из этого дома, он скрипел зубами.

На выжженной солнцем траве в Хайд-парке не было ни росинки; звезды в небе затянуло пеленой зноя и пыли. Никогда еще Куртье так не жаждал утешения, какое обретаешь только глядя на небо, благословенного ощущения собственной ничтожности перед лицом темной красоты ночи, которая утишает пустую злобу и нетерпеливые желания, приобщает людей к своему величию, возвышает их и облагораживает.

ГЛАВА VII

На другой день в пятом часу Барбара вышла из лондонского особняка Вэллисов; она шла по улице в скромном желтом^ платье, в

котором надеялась не привлекать внимания, и все взоры обращались на нее. Скоро она взяла такси, доехала до Темпла, остановила машину у входа со стороны Стрэнда и узким проулком вошла в самое сердце обители закона. Слуги его потоком устремлялись из судебных зал и адвокатских контор, спеша подкрепиться чаем, или мчались к Лорду и в Парк - то были молодые слуги закона, еще не подвластные чарам славы или высоких гонораров. И у каждого при виде Барбары чесались руки от желания снять шляпу, и каждый с первого взгляда знал, что это и есть Она. Да и возможно ли иное чувство, если после долгого дня, отданного судебным делам и прецедентам и усилиям понять, велики ли у А шансы отстоять свои права, а у Б - помешать ему в этом, перед тобою вдруг возникает такое невозмутимо спокойное видение, подобное шествующему по земле гибкому золотому деревцу. Один молодой человек, у которого Барбара спросила, как пройти к Милтоуну, застенчиво и церемонно показав ей дорогу, глядел вслед, пока она поднималась по пыльным ступеням, и еще помедлил в надежде, что она не застанет того, к кому пришла и, возвращаясь, может быть, спросит у него дорогу к выходу. Но она не вернулась, и он печально побрел прочь, потрясенный до самых недр души, - единственного своего достояния.

А между тем на стук Барбары никто не ответил, но, заметив, что дверь не заперта, она через прихожую, мимо каморки секретаря, превращенной в кухоньку, прошла в приемную. Она никогда еще не бывала у Милтоуна и теперь с любопытством осматривалась. Так как Милтоун не практиковал, многих необходимых принадлежностей адвокатской канторы тут не было. Потертый ковер на полу, несколько старых стульев да по стенам, до самого потолка, полки с книгами - вот и вся обстановка. Но простенок между окон занимала громадная карта Англии, сплошь исчерченная какими-то цифрами и крестиками, а перед нею на большущем столе громоздились стопками листы бумаги, исписанные четким, заостренным почерком Милтоуна. Барбара поглядела на них, наморщив лоб; она знала, что Милтоун работает над книгой по земельному вопросу, но никогда не подозревала, что для книги надо так много писать. На поместительном бюро лежала груда газет и Синих книг и стояли бронзовые бюсты Эсхила и Данте.

"До чего же неуютно!" - подумала Барбара. Самый воздух этой комнаты давил и угнетал ее. Из окна она увидела во дворе несколько цветочков, и ее отчаянно потянуло туда. Потом ей послышался за спиной чей-то голос. Но в комнате никого не было; а все-таки неведомо откуда доносился одинокий голос, произносящий какие-то отрывочные слова, и это было так жутко, что Барбара отступила к двери. Странные звуки, словно две тени переговаривались одним и тем же голосом, стали громче, и Барбара невольно покосилась на бронзовые бюсты. Но и у Эсхила и у Данте вид был самый невинный. Когда она стояла у окна, голос слышался у нее за спиной, теперь, когда она отошла к двери, он опять слышался сзади; и вдруг она поняла, что он доносится из-за книжных полок, посредине стены. Барбара унаследовала отцовское мужество; она подошла к полкам и увидела, что они прикреплены к приотворенной двери, которую собою закрывают. Барбара потянула дверь и вошла в соседнюю комнату. Это была неприбранная спальня, и по ней из угла в угол шагал Милтоун в одной сорочке и брюках. Он был босой, с волос капала вода; Барбара взглянула в его худое потемневшее лицо, и у нее защемило сердце. Она подбежала к брату и взяла его за руку. Рука была горячая, как огонь, но глаза при виде Барбары словно оледенели, и он умолк. И от этой обжигающей руки и ледяного молчания Барбаре стало страшно. В замешательстве она свободной рукой коснулась его лба. Он тоже горел огнем.

- Зачем ты пришла? - спросил Милтоун.

Она едва сумела прошептать:

- Ох, Юсти! Ты болен?

Горячими руками он сжал ее запястья.

- Это ничего. Я слишком напряженно работал; меня немного лихорадит.

- Это я вижу, - сказала Барбара. - Тебе надо лечь в постель. Поедем домой.

Милтоун улыбнулся.

- Это не тот случай, когда зовут лекарей.

От его улыбки, от голоса Барбару пробрала дрожь.

- Я не оставлю тебя тут одного, - сказала она.

Милтоун крепче стиснул ее руки.

- Дорогая моя Бэбс, ты сделаешь, как я велю. Иди домой, держи язык за зубами и дай мне спокойно перегореть.

Барбара не поморщилась, хотя руки были, как в тисках; к ней вернулось самообладание.

- Но ты должен пойти со мной! У тебя тут ничего нет, даже освежающего питья!

- О господи! Как же без ячменной воды!

Презрение, прозвучавшее в этих словах, было куда убийственней любых филиппик по поводу спасительности житейских удобств. Барбара, уязвленная, замолкла.

Он выпустил ее руки и вновь принялся шагать из угла в угол; но вдруг остановился:

Во тьме ни солнца, ни звезды,
Пустынной дали нет конца,
Ни хлеба, ни глотка воды.
Лишь тьма касается лица.

- Надо читать Блейка, Одри.

Испуганная Барбара почти выбежала из комнаты. Через приемную и коридор (Вышла на лестницу. Он болен... Бредит! Казалось, лихорадка, палившая Милтоуна, через жаркие тиски его рук проникла и в ее кровь. Лицо ее горело, мысли путались, дыхание прерывалось. В ней смешались и обида на брата и горькая жалость к нему; и снова обжигало воспоминание о поцелуях Харбинджера.

Она сбежала с лестницы, пошла, не сознавая, куда идет, и скоро очутилась на набережной. И вдруг, со своей обычной способностью быстро принимать решения, окликнула такси и поехала к ближайшему телефону.

ГЛАВА VIII

Женщине, подобно Одри Ноуэл, созданной для того, чтобы стать чьим-то дополнением и отражением, которой чужды самостоятельность, стремление чего-то достичь, заняться какими-то важными делами, резкая перемена образа жизни, даже если она решается на такой шаг по доброй воле, дается очень нелегко.

Лишенная знакомых лиц, цветов, дружеского дыхания липы, бедняков, которым надо помогать, лишенная однообразных мелких хлопот по дому - опоры и утешения одиноких женщин, - она чувствовала себя потерянной и никому не нужной. Даже статьи для

музыкального обозрения, казалось, уже не занимали ее. Она никогда не жила в Лондоне, у нее не было здесь любимых уголков и связанных с ними привычек; все надо было создавать заново, а чтобы создать привычки и найти любимые уголки, надо иметь сердце, способное хотя бы протянуть щупальца и коснуться окружающего мира, у ее же сердца сейчас не было на это сил. Она воевала со старомодной обстановкой своей квартиры и налаживала распорядок своих неприхотливых трапез, а покончив с этим, растерялась, точно узник, выпущенный из тюрьмы, который должен начинать жизнь сначала. Ей даже не надо было скрывать свои чувства из страха кого-то обеспокоить, этой надежной опоры она тоже была лишена. Она оказалась наедине со своей тоской и горем - и некому и нечему было отвлечь ее от нее самой. Но поскольку она сама поставила себя в такое положение, она старалась переносить его с честью, и, во всяком случае, это было не так нестерпимо, как оставаться в Монкленде, где она совершила такую горькую, непростительную ошибку - позволила себе полюбить.

В грехе этом, как и в другом тяжком, непростительном грехе - в своем замужестве, женщина, наделенная великим талантом быть счастливой и дарить счастье, оказалась повинной потому, что слишком легко покорялась чужой воле. Но слабое это было утешение - сознавать, что желание любить и быть любимой дважды разбивало ее жизнь. Из чего бы ни возникло полудетское чувство, побудившее ее в двадцать лет выйти за преподобного Ноуэла, в ее любви к Милтоуну была не просто покорность, а страстное самоотречение. Она жаждала поступать так, как будет лучше для него, и не могла даже утешаться мыслью, что ее жертва принесла ему счастье. От нее ничего не зависело! И однако, неизменно покорная судьбе, она даже и в душе не бунтовала. Быть может, ей было суждено пятьдесят, а то и шестьдесят лет вести бесплодную, пустую, тоскливую жизнь, искупая ту первую ошибку юности, но если и так, бунтовать все равно было ей не свойственно. Если же она -и могла взбунтоваться, то не в мыслях, а на деле. Отвлеченные теории были ей чужды; она не тратила сил на невеселые раздумья о том, справедлива ли ее участь, а лишь старалась примириться с ней.

Назавтра после посещения Куртье она весь день провела в Национальной галерее, - казалось, во всем Лондоне это было ее

единственное прибежище. Один портрет кисти какого-то итальянского художника напомнил ей Милтоуна, и она так долго сидела перед ним, что подагрический старик - смотритель зала стал коситься на нее. Эта женщина с мягким овалом лица, вся ее печальная красота возбудили в "ем и любопытство и кое-какие нравственные сомнения. Безусловно, она ждет любовника. Смотритель по опыту знал, что не станет женщина сидеть так долго перед одной и той же картиной, если у нее нет для этого особого повода; и он глядел в оба, решив узнать, каков собой этот повод. И ощутил горькое разочарование, когда, вновь обходя зал, увидел, что эта пара избежала его бдительного ока. Так как он весь день провел на ногах, они порядком ныли, и он опустился на мягкую скамью, где прежде сидела посетительница, и невольно тоже стал смотреть на картину. Она была написана в манере, которая ему вовсе не нравилась, и лицо изображенного на ней человека показалось ему странным: как будто этого джентльмена что-то грызет изнутри. Но, просидев так недолгое время, смотритель вдруг заметил, что та женщина стоит подле картины, а нарисованный джентльмен что-то ей говорит, неслышно шевеля губами. Это уже было против правил, и смотритель тотчас поднялся и направился к ним, но почувствовал, что глаза его закрыты, и поспешно их открыл. У картины никого не было.

После Национальной галереи Одри пошла в кондитерскую выпить чаю, а оттуда домой. У подъезда стояло такси, и горничная сообщила, что в гостиной дожидается леди Карадок.

И в самом деле, посреди комнаты стояла Барбара; в лице у нее, как иной раз у ее отца на скачках, на охоте или на бурных заседаниях кабинета министров, были и тревога и решимость.

- Я узнала ваш адрес у мистера Куртье, - тотчас начала она. - Мой брат заболел. Боюсь, что у него горячка, вам надо сейчас же ехать к нему в Темпл; нельзя терять ни минуты.

Комната поплыла перед глазами Одри; и однако все ее чувства сверхъестественно обострились, она даже различала доносящийся с реки запах илистого берега, обнаженного отливом. Она сказала дрожащим голосом:

- Я поеду... да, я сейчас же поеду.

- Он совсем один. Он не просил вас позвать; но мне кажется, одна надежда - на вашу помощь. Он принял меня за вас. Когда-то вы мне

говорили, что вы неплохая сиделка.

- Да.

Стены уже не плыли перед глазами, но сверхъестественная острота чувств исчезла, все словно окутал туман. Смутно донесся голос Барбары:

- Я довезу вас до самого дома.

- Я сейчас, - пробормотала Одри и ушла в спальню.

Минуту она стояла в растерянности, опустив руки. Потом все мысли захлестнула странная, тихая, почти мучительная радость. Она сразу словно преобразилась; и быстро, обдуманно, без суетливости она стала собираться. Уложила в чемодан самое необходимое для себя; затем - фланель, вату, одеколон, грелку, спиртовку, плед, термометр - все, что могло пригодиться для ухода за больным. Переоделась в простое, скромное платье и с чемоданом в руках вышла к Барбаре. Они сели в такси. И едва оно тронулось, приближая ее к испытанию, столь желанному и столь страшному, Одри вновь охватил ужас, и, молча, бледная, как полотно, она забилась в угол. Потом услышала, как Барбара окликнула шофера:

- Поезжайте через Стрэнд и остановитесь у мясной, нам нужен лед.

И когда им подали ящик со льдом, вновь послышался голос Барбары:

- Если он в самом деле серьезно заболеет, я доставлю вам все, что вы скажете.

Наконец они доехали. Одри увидела распахнутую дверь и лестницу, и тут к ней вернулось мужество.

Теплая рука Барбары сжала ее руку, - и, подхватив чемодан и ящик со льдом, Одри стала поспешно подниматься по ступеням.

ГЛАВА IX

Покинув Нетлфолд, Милтоун возвратился к себе и тотчас принялся за работу над своей книгой по земельному вопросу. Он работал всю ночь напролет - это была уже третья бессонная ночь и весь следующий день. К вечеру он почувствовал, что у него тяжелая голова, вышел из дому и прошелся взад и вперед по набережной. Потом, опасаясь, что будет ворочаться в постели без сна, сел в кресло. Так, сидя, и уснул, но его мучили страшные сны, и, проснувшись, он не почувствовал облегчения. Приняв ванну, выпил кофе и опять

заставил себя взяться за работу. Среди дня он совсем обессилел, голова непрестанно кружилась, но есть ничуть не хотелось. Он вышел на раскаленный солнцем Стрэнд, купил понадобившуюся ему книгу, выпил еще стакан кофе и, возвратясь домой, опять сел за работу. Часа в четыре он поймал себя на том, что тупо смотрит на строчки, не понимая ни слова. Лоб и виски горели, он пошел и подставил голову под кран. А потом, сам этого не заметив, начал ходить взад и вперед по спальне и разговаривать сам с собой; и так его застала Барбара.

Едва она ушла, силы совсем оставили его. Над кроватью висело небольшое распятие; Милтоун бросился на колени и замер, зарывшись лицом в постель, протянув руки к стене. Он не молился, только жаждал покоя. Оцепенелый мозг его изредка молниями пронизывали какие-то фантастические образы. А потом он уже ничего не чувствовал, кроме бесконечной тошнотворной слабости, и воля его возмутилась. Нет, он не поддастся болезни, это просто смешно обратиться в беспомощный чурбан и чтоб с тобой нянчились женщины. Но приступы слабости возвращались все чаще, не отпускали все дольше, и в надежде прогнать их Милтоун поднялся и некоторое время опять шагал по комнате; потом закружилась голова и пришлось сесть на постель, чтобы не упасть. Жар сменился ледяным ознобом, и он рад был натянуть на себя одеяло. Потом его снова бросило в жар; но инстинкт больного подсказал ему, что надо не раскрываться и лежать тихо. Комнату заполнила какая-то вязкая белая масса; она тучей окутала Милтоуна, и он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Обоняние и слух неестественно обострились; он чувствовал запахи дальних улиц, цветов, пыли, кожаных переплетов, даже слабый запах духов, оставшийся после ухода Барбары, и запах ила, которым тянуло с реки. Часы пробили шесть, он сосчитал удары; и сразу весь мир наполнился боем часов, топотом конских копыт, велосипедными звонками, шарканьем ног. Зато видеть он ничего не видел, кроме окутавшей его белой, плотной, как одеяло, тучи, которая под глухой, непрестанный стук множества молотков подняла его высоко над землей. На поверхности тучи засверкали несчетные золотые пятнышки; они шевелились, и Милтоун понял, что это жабы. Потом за ними возникло огромное, темное, словно отлитое из бронзы, лицо с огненными глазами, которые жгли ему мозг. И чем отчаянней Милтоун старался уйти от этих глаз, тем неотступней они сверлили его и жгли.

Крикнуть он не мог, у него не было голоса, и внезапно этот грозный лик надвинулся на него.

Когда он очнулся, голова у него была влажная - кто-то, склонясь над ним, придерживал у него на лбу что-то мокрое. Подняв руку, он коснулся чьей-то щеки, услышал всхлип, мгновенно подавленный, и вздохнул. Легкие руки тихо сжали его руку, нежные губы коснулись ее.

В комнате было так темно, что он не различал ее лица, да и в глазах стоял туман; но он слышал ее дыхание, и шорох платья, и малейшее движение; благоухание ее рук и волос окутывало его, и, как ни мучительна была лихорадка, железный обруч, казалось, уже не так сжимал его мозг. Он не спрашивал, давно ли она здесь, и лежал совсем тихо, стараясь не сводить с нее глаз, в страхе, что тот грозный лик, притаившийся где-то, вновь надвинется на него. Потом вдруг почувствовал, что больше не в силах отгонять это видение, и, знаком подозвав ее, прильнул к ней, ища защиты у нее на груди. На этот раз обморок длился не так долго; потом начался бред, но в минуты просветления он сознавал, что она здесь, и при огоньке затененной свечи видел, как она легко, словно по воздуху, проходит мимо в своей белой одежде или сидит неподвижно, прикрыв его руку своей; и даже радовался, ощущая на голове пузырь со льдом или запах одеколона. И снова переставал сознавать, что она здесь, и погружался в непонятный и страшный мир, где распятие, висевшее над кроватью, вдруг распухало и наклонялось, готовое рухнуть на него. Он решил, что надо сбросить распятие; это желание обуревало его все сильнее, и наконец с великим трудом он приподнялся и сорвал его со стены. И, однако, даже в самых мрачных своих странствиях по той неведомой стране он каким-то чудом все же сознавал, что она где-то рядом; а однажды она оказалась там вместе с ним; в таинственном сиянии открылись перед ним поля и деревья, темная полоса вересковой пустоши и лучезарное море, и все сверкало белым, чарующим и ослепительным блеском.

На рассвете сознание вернулось к нему надолго, и он с удивлением увидел ее на низеньком стуле у его кровати. Она сидела совсем тихо, в белом свободном платье, бледная от бессонной ночи, не сводя с него глаз, плотно сжав губы и вздрагивая при малейшем его

движении. И он жадно вливал прелесть этого лица, дышавшего беззаветным самоотречением,

ГЛАВА X

Барбара никому больше не сказала о болезни брата, здравый смысл подсказывал ей, что опасно было бы потревожить его уединение. Она сама пригласила к нему доктора и дважды в день заходила справиться о нем у Одри.

Родители на время Гудвудских скачек уехали к лорду Деннису, и надо было лишь как-то объяснить, почему она сама на сей раз пропускает это излюбленное развлечение. Барбара прибегла к полуправде, сказав, что Юстас просил ее остаться в городе; и поскольку лорд и леди Вэллис все еще чувствовали себя неловко после того, что произошло со старшим сыном, этого предлога оказалось достаточно.

Только на шестой день, когда кризис уже миновал и температура упала, Барбара возвратилась в Нетлфолд.

Здесь она прежде всего осведомилась, дома ли мать, и застала ее в спальне. Леди Вэллис отдыхала после Гудвуда, где жара была отчаянная.

Барбара не боялась матери, она вообще никого на свете не боялась, кроме Милтоуна, да, пожалуй, немножко побаивалась Куртье; и все же, когда горничная вышла, она не сразу начала свой рассказ. Леди Вэллис, только что услыхавшая в Гудвуде подробности последнего великосветского скандала, начала делиться с нею этой новостью, заботливо опуская все не подходящее для девичьего слуха - не поделиться ни с кем было свыше ее сил.

- Мама, - неожиданно сказала Барбара, - Юстас был болен. Сейчас он уже вне опасности и быстро поправляется. - И, в упор глядя на растерявшуюся леди Вэллис, прибавила: - За ним ухаживает миссис Ноуэл.

Прошедшее время, в котором было упомянуто о болезни, сразу же успокоило тревогу, охватившую было леди Вэллис, и на смену пришло смятение, вызванное последними словами Барбары. Она собиралась утолить свойственную всем смертным слабость, посплетничав на чужой счет, а вместо этого сплетня и скандал угрожали ей самой и ее семье, - положение не из приятных. Если женщина ухаживает за

больным при подобных обстоятельствах, значит, она ему ближе всех, так рассудят люди. А дочь между тем продолжала:

- Это я привела ее к Милтоуну. Другого выхода не было; ведь это все оттого, что он измучился из-за нее. Разумеется, никто ничего не знает, кроме доктора и... Стейси.

- Боже милостивый! - прошептала леди Вэллис.

- Это его спасло.

В леди Вэллис вдруг проснулся страх за сына.

- А ты говоришь правду, Бэбс? Опасность в самом деле миновала? Как нехорошо, что ты ничего мне не сказала раньше!

Но Барбара и бровью не повела; и мать вновь погрузилась в раздумье.

- Стейси просто дрянь! - неожиданно сказала она. В очищенной от всего неподходящего истории, которую она начала было рассказывать дочери, тоже, как полагается, не обошлось без горничной. Но на сей раз она не уловила комичность такого совпадения. Тут она заметила, что Барбара улыбается, и сказала резко:

- Не вижу ничего смешного.

- Нет, мамочка, я только думала, что тебе будет приятно, если я припутаю к этому Стейси.

- Как! Значит, она ничего не знает?

- Ровным счетом ничего.

Леди Вэллис улыбнулась.

- Ты скверная девчонка, Бэбс! - и лукаво прибавила: - Поди переоденься. Сегодня у нас будут Клод с матерью, они с Берти и Лили Мэлвизин приедут из Уайтуотер.

И она так зорко и пытливо посмотрела на дочь, что та залилась румянцем.

Когда Барбара ушла, леди Вэллис позвонила горничной и снова погрузилась в размышления. Сперва она подумала, что надо бы посоветоваться с мужем; затем - что в скрытности сила. Раз уж никто, кроме Бэбс, ничего не знает, пусть никто ничего и не узнает.

Проницательность и жизненный опыт подсказывали ей, что тут возможны далеко идущие последствия. Нельзя допустить ни единого ложного шага. Если ей надо будет следить только за собой и за Барбарой, не опасаясь еще чьего-либо вмешательства, легче избежать ошибки. Странная путаница мыслей и чувств поднялась у нее в душе,

почти смешная и едва ли не трагическая: тут были и благоразумие светской женщины и материнская любовь, искреннее сочувствие всем влюбленным и трезвая забота о карьере сына. Быть может, еще не поздно предотвратить непоправимое; ведь все в один голос твердят, что эта женщина отнюдь не авантюристка. И ни в коем случае не следует забывать, что она ухаживала за ним во время болезни, спасла ему жизнь, как говорит Барбара! Необходимо отнестись к ней с должной добротой и уважением.

Леди Вэллис поспешила закончить свой туалет, и теперь она, в свою очередь, пошла к дочери.

Барбара, уже одетая, облокотилась на подоконник и глядела на море.

- Скажи, дружок, Юстас уже встал с постели? - почти робко начала леди Вэллис.

- Ему разрешено подняться сегодня на час-другой.

- Понимаю. А ему не повредит, если мы с тобой попробуем заменить миссис Ноуэл?

- Бедный Юсти!

- Да, да. Но постарайся рассуждать здраво. Ему от этого не станет хуже?

Барбара помолчала.

- Нет, - оказала она наконец, - думаю, что теперь опасности никакой нет; но это может решить только доктор.

Леди Вэллис вздохнула с облегчением.

- Ну, разумеется, прежде всего мы посоветуемся с доктором. Я полагаю, на первое время Юстасу понадобится самая обыкновенная сиделка. - Она украдкой взглянула на дочь и прибавила: - Я постараюсь обойтись с нею как можно деликатнее. Но пойми, Бэбс, нельзя давать волю романтическому воображению.

Улыбка, чуть тронувшая губы дочери, отнюдь не успокоила ее, напротив, в ней ожили все недавние страхи за Барбару, ощущение, что и она, как Милтоун, вот-вот решится на какую-нибудь сумасбродную выходку.

- Ну, я иду вниз, дорогая, - сказала она.

Но Барбара еще помедлила в спальне, где десять ночей назад она ворочалась без сна, пока не вскочила в отчаянии и не кинулась искать прохлады в ночных волнах. После мимолетной последней встречи с

Куртье не так-то просто было вновь увидеть Харбинджера, с которым в день приема в особняке Вэллисов она постаралась ни минуты не оставаться наедине. Она сошла вниз позже всех.

Вечером, когда в небе густо высыпали звезды, на дороге, ведущей к берегу, было много гуляющих: это были горожане, приехавшие провести у моря две недели своего отпуска. По двое, по трое и компаниями по шесть - восемь человек они шли мимо невысокой стены, ограждавшей скромные владения лорда Денниса; обрывки разговоров и смех вместе с плеском волн доносились до слуха Берти, Харбинджера, Барбары и Лили Мэлвизин, которые вышли после обеда подышать морем. Приезжие равнодушно скользили взглядом по тем четверым во фраках и вечерних туалетах; они были заняты своими мыслями и с наступлением темноты становились все молчаливее. И тем четверым тоже не хотелось разговаривать. Было что-то в этом теплом темном звездном вечере, наполненном вздохами ветра и волн, отчего разговоры стихали сами собой, и вскоре четверо разделились на пары и пошли немного поодаль друг от друга.

Харбинджер стоял у ограды, вцепившись в нее обеими руками, и ему казалось, что в мире не осталось больше слов. Даже злейший враг не назвал бы этого молодого человека романтиком; но девушка рядом, чья щека и шея смутно белели в темноте, с небывалой остротой заставила его ощутить присутствие тайны. По натуре и по привычкам человек сугубо деловой, отлично разбирающийся во всем, что конкретно и осязаемо, он лишь смутно сознавал, что во тьме этой ночи, в темных водах моря, в смутно белеющей фигуре девушки, чье сердце тоже было для него темным и непостижимым, таится нечто... да, нечто выходящее за рамки его философии, нечто зовущее его из уютного и тесного угла в пустыню пред лицо божества. Но и это смутное сознание скоро исчезло потому, что аромат ее волос слишком мучительно волновал его, и он жаждал наконец прервать это непонятное, невыносимое молчание.

- Бэбс, - сказал он наконец, - вы меня простили?

- Да. Я ведь вам, уже сказала, - ответила она спокойно, равнодушно, даже не повернув головы.

- И это все, что вы можете сказать человеку?

- О чем же нам поговорить? Как великолепно Казетта прошла круг?

У Харбинджера едва не вырвалось проклятие. Что за враждебная сила заставляет ее так с ним обращаться! Это все тот... тот рыжий! И он вдруг начал:

- Скажите, этот... - Но слова застряли у него в горле. Нет! Если правда такова, он предпочитает ее не слышать. Всему есть предел!

Внизу, по берегу, в молчании прошли, обнявшись, влюбленные.

Барбара повернулась и пошла к дому.

ГЛАВА XI

Дни, когда Милтоуну впервые разрешили вставать с постели, были для той, что ходила за ним во время болезни, днями и радости и печали. Она была счастлива, глядя, как он сидит в кресле, удивленный собственным бессилием, но мысль, что отныне он не зависит от нее всецело, что он уже не слаб священной слабостью беспомощного существа, пробуждала в ней грусть матери, чье дитя в ней больше не нуждается. Теперь он с каждым часом будет отходить от нее все дальше, замыкаясь в твердыне своего духа. С каждым часом она все меньше будет его нянькой и утешительницей, все больше - женщиной, которую он любит. И хотя мысль эта освещала туманное будущее, словно лучезарный цветок, она порождала слишком печальную неуверенность в настоящем. Притом теперь, когда тревога за Милтоуна осталась позади, Одри почувствовала, как она устала, так устала, что плохо понимала, куда идет и что делает. Но все та же неизменная улыбка светилась в ее глазах, окруженных тенями усталости, и не сходила с ее губ.

Между бронзовыми бюстами Эсхила и Данте она поставила вазочку с ландышами; и в каждом свободном уголке этого царства книг в честь выздоровления Милтоуна были поставлены розы.

Он полулежал в глубоком кожаном кресле, облаченный в турецкий халат лорда Вэллиса, - это одеяние добыла для него Барбара, отчаявшись найти в его аскетическом гардеробе что-нибудь подходящее. Аромат ландышей оказался сильнее запаха книг, и пчела, смуглая странница, заполнила комнату своим хлопотливым жужжанием.

Они молчали и только, чуть улыбаясь, смотрели друг на друга. В эти тихие минуты, пока вновь не заговорила страсть, в дремотном спокойствии летнего дня сливались их души, медлительно и нежно встречались взоры, и ни тот, ни другая не в силах были отвести глаза.

Упиваясь друг другом, льнули друг к другу их души, неразделимые, как музыка и струны, так самозабвенно теряясь одна в другой, что в эти минуты для них уже не было "я" и "ты".

Как и было решено, леди Вэллис утренним поездом вернулась в Лондон и часа в три отправилась с Барбарой в Темпл, а по дороге заглянула к доктору. Все станет много проще, если Юстаса сейчас же перевезти в их особняк; к великому ее облегчению, доктор против этого не возражал. Больной замечательно поправился, а ведь был на волосок от горячки! У лорда Милтоуна поразительно крепкий организм. Нет, против его переезда возражать не приходится. В такую жару в его теперешнем жилье слишком душно. Уход за ним превосходный - да, без сомнения! Еще бы! Тут взгляд доктора стал, пожалуй, несколько пристальней прежнего. Насколько он понимает, это не профессиональная сиделка. После переезда можно будет достать другую. Этой леди необходимо дать отдых. Совершенно верно! Что ж, сиделку он пришлет. И рекомендовал бы взять санитарную карету. Все это можно устроить сегодня же, немедля, он сам обо всем позаботится. Лорда Милтоуна можно будет увезти без особых приготовлений, санитары уже сами будут знать, что делать. А как только у него появится хоть какой-то аппетит, - к морю, немедленно к морю! В это время года нет ничего лучше! А чтоб поддержать силы, недурно бы уже сейчас прописать больному чуточку винца, самую малость, четыре раза в день во время еды - только во время еды - смешать с яйцом и тертым яблоком. Через неделю наш пациент встанет на ноги, а после двух недель у моря будет совершенно здоров. Неумеренные труды... не щадил себя... еще бы чуточку... и неизвестно, чем бы это кончилось! Да, да, совершенно верно! Перед обедом он сам еще заглянет, надо лично удостовериться, что все в порядке. Поначалу перемена обстановки все же может чуточку сказаться... На прощание доктор почтительно поклонился леди Вэллис, а когда она ушла, подсел к телефону, и на его резко очерченных губах мелькнула улыбка.

Окончательно утвердившись после этого разговора в своем решении, леди Вэллис села в автомобиль рядом с дочерью; но пока он скользил в потоке других экипажей по оживленным улицам, непривычное беспокойство вновь стало сквозить в ее всегда невозмутимых чертах.

- Хотела бы я, дружок, чтобы этот разговор взял на себя кто-нибудь другой, - неожиданно сказала она. - Что, если Юстас откажется?

- Не откажется, - сказала Барбара. - У нее такой усталый вид, у бедняжки. И потом леди Вэллис с любопытством посмотрела на юное лицо дочери, которое вдруг густо порозовело. Да, она уже не девочка, и у нее истинно женское чутье. И леди Вэллис сказала серьезно:

- Это был с твоей стороны очень опрометчивый поступок, Бэбс. Будем надеяться, что он не повлечет за собою непоправимого несчастья.

Барбара закусила губу.

- Видела бы ты его в таком состоянии, как видела я! И какое там несчастье? Почему им нельзя любить друг друга, раз они этого хотят?

Леди Вэллис слегка поморщилась. Она и сама так думала. Но все же...!

- Это только начало, - заметила она. - Ты забываешь, какой у Юстаса характер.

- Почему эту несчастную не выпустят из клетки? - воскликнула Барбара. Кому нужно, чтобы она жила, как в тюрьме? Мама, если я выйду замуж, а потом когда-нибудь захочу стать свободной, я своего добьюсь!

Голос ее, всегда звонкий и веселый, так странно задрожал, что леди Вэллис невольно схватила и сжала ее руку.

- Девочка моя милая, - сказала она, - зачем такие мрачные мысли?

- Я говорю серьезно. Меня ничто не остановит.

У леди Вэллис вдруг стало суровое лицо.

- Все мы так думаем, дитя мое; а на самом деле это не так просто.

- Уж, во всяком случае, это не хуже, чем быть погребенной заживо, как несчастная миссис Ноуэл, - пробормотала Барбара.

Леди Вэллис не нашлась, что ответить.

- Доктор обещал прислать санитарную карету в четыре часа, - прошептала она. - Что я ей скажу?

- Она поймет тебя с одного взгляда. Она такая.

Дверь им отворила сама миссис Ноуэл.

Леди Вэллис впервые видела ее не на улице и посмотрела на нее не только с напускной уверенностью, прикрывавшей невольную

тревогу, но и с неподдельным любопытством. Хорошенькая женщина, просто прелесть! С искренней симпатией она сказала:

- Я вам так признательна! Вы, должно быть, совсем выбились из сил, - но тут же поспешно прибавила: - Доктор сказал, что его надо увезти домой, здесь слишком жарко и душно. Мы подождем тут, пока вы его предупредите.

И тут она увидела, что Барбара права: эта женщина из тех, кто все понимает мгновенно.

Оставшись в полутемном коридоре, она оглянулась на Барбару. Та стояла, прислонясь к стене, запрокинув голову. Леди Вэллис не могла разглядеть ее лицо; но вдруг ей стало как-то сильно не по себе, и она прошептала:

- Двойное убийство и кража. Прямо "Наш общий друг", Бэбс.

- Мама!

- Что?

- Какое у нее лицо! Как будто ты хочешь выбросить цветок, а он на тебя смотрит.

- Дорогая моя, - в совершенном отчаянии прошептала леди Вэллис. - Ну что ты сегодня говоришь?

Прятаться в темном коридоре, слышать взволнованный шепот дочери - как все это странно, непривычно и дико!

А потом дверь снова открылась, и она увидела Милтоуна; он полулежал в кресле, очень бледный, но в глазах его и в складке губ было все то же, хорошо знакомое леди Вэллис выражение, и она сразу почувствовала себя в чем-то виноватой и неисправимо легкомысленной.

- Я так рада, что тебе лучше, милый, - начала она почти робко. - Должно быть, это было ужасное время для тебя. Такая жалость, что я до вчерашнего дня нечего не знала!

Но ответ Милтоуна, по обыкновению, совсем сбил ее с толку.

- Благодарю! Я прекрасно провел время и, как видно, должен за это расплачиваться.

Он так улыбнулся, что бедная леди Вэллис уже не могла наклониться и поцеловать его и просто не знала, как же быть дальше. На помощь пришла истинно женская слабость, и на руку Милтоуна вдруг упала слеза.

Обнаружив эту влагу, Милтоун сказал:

- Ничего, мама. Я охотно вернусь домой.

Все еще уязвленная его тоном, леди Вэллис тотчас овладела собой. И пока шли приготовления к отъезду, исподтишка следила за ними обоими. Они почти не смотрели друг на друга, а когда ей случалось поймать такой взгляд, он приводил ее в полнейшее недоумение. Она не могла понять его, словно он был из какого-то незнакомого ей мира, этот глубокий, проникновенный взгляд.

На душе у нее стало гораздо легче, когда Милтоуна, закутанного в меха, перенесли в санитарную карету, и она задержалась, чтобы сказать несколько слов миссис Ноуэл.

- Мы у вас в неоплатном долгу. Все могло бы кончиться много хуже. Не горюйте. Прилягте, вам нужно хорошенько отдохнуть. - И уже с порога прошептала: - Он придет поблагодарить вас, когда совсем поправится.

Спускаясь по каменным ступеням, она мысленно повторяла: "Незнакомка... Незнакомка... что и говорить, самое подходящее имя". И вдруг увидела, что навстречу почти бегом поднимается Барбара.

- Что случилось, Бэбс?

- Юстас хочет взять с собой немного ландышей, - ответила Барбара и, пройдя мимо матери, поднялась в квартирку Милтоуна.

Миссис Ноуэл уже не было в гостиной, и, подойдя к двери спальни, Бэбс заглянула туда.

Она стояла у кровати и снова и снова медленно разглаживала его подушку. Барбара схватила букетик ландышей и выбежала вон.

ГЛАВА XII

Милтоун, унаследовавший железное здоровье леди Кастерли, быстро поправлялся. И на седьмой день, как только у него появился аппетит, ему позволено было в сопровождении Барбары отправиться к морю.

Брат и сестра все свое время проводили в маленьком летнем) домике на самом берегу; они часами лежали на песке; а когда Милтоун окреп, стали бродить среди меловых холмов и совершали дальние автомобильные прогулки.

Барбаре, зорко наблюдавшей за братом, казалось, что он почти спокойно впивает благотворное дыхание природы, стараясь набраться душевных и физических сил после тяжкой борьбы минувших недель. И, однако, ее не оставляло странное ощущение, как будто его тут и нет

вовсе; словно перед ней пустой дом, дожидающийся, чтобы кто-то в нем поселился.

За две недели Милтоун ни разу ни словом не обмолвился о миссис Ноуэл и лишь в последнее утро, когда они вместе глядели на море, оказал с обычной своей непонятной усмешкой:

- Что ж, может быть, она права, что боги древности не умерли. Ты когда-нибудь их видишь, Бэбс, или ты так же слепа и глуха, как я?

Да, конечно, гибкие волны, словно нимфы с пепельными, струящимися волосами, все снова и снова бросались в объятия земли, и было в этом какое-то древнее языческое упоение, неизбывный восторг, страстная и нежная покорность извечной судьбе, чудесное смирение пред вечно новым таинством бытия.

Но Барбара, которую, как всегда, смутил странный тон Милтоуна и это внезапное погружение в пучину непривычных мыслей, не нашлась что ему ответить.

А Милтоун продолжал:

- Она еще говорит: только прислушайся и услышишь пение Аполлона. Попробуем?

Но они услышали только дыхание моря да вздохи ветра в кустах тамариска.

- Нет, - прошептал наконец Милтоун, - она одна умеет его расслышать.

И снова Барбара увидела на его лице знакомую тень - не грусть или нетерпение, но словно бы пустоту и ожидание.

На другой день она уехала в Лондон: там ее ждала мать, уже побывавшая на регате в Каузе и у герцогини Глостерской, чтобы сразу по окончании парламентской сессии ехать в Шотландию. И в тот же день Барбара отправилась к миссис Ноуэл. К этому ее побуждало не столько сочувствие, как беспокойство и тревожное любопытство. Теперь, когда Милтоун совсем поправился, на душе у нее было смутно. Не ошиблась ли она, позвав миссис Ноуэл в сиделки?

Когда она вошла в маленькую гостиную, Одри сидела на кушетке в оконной нише с книгой на коленях; Барбара заметила, что книга раскрыта на оглавлении, - как видно, хозяйка читала не слишком внимательно. Она не выказала волнения при виде гостьи и не спешила расспрашивать о Милтоуне. Но, пробыв в этой комнате каких-нибудь три минуты, Барбара невольно подумала: "Да у нее такое же лицо, как

у Юстаса!" И в самом деле, Одри тоже напоминала необитаемый дом: ни нетерпения, ни недовольства, ни скорби - только ожидание! И едва Барбара, смущенная и растерянная, это поняла, доложили о приходе Куртье. Было ли это простое совпадение или некоторый расчет с его стороны (ибо с побережья он получил записку, где говорилось, что Милтоун уже здоров, а она, Барбара, возвращается в Лондон и непременно зайдет поблагодарить миссис Ноуэл) - это было так же неясно, как и охватившие ее чувства; и она приняла неприступный вид, хотя, вероятно, помнила, что Куртье этого не выносит. Во всяком случае, пожимая им обеим руки, он сильно покраснел. Он пришел проститься, сказал он Одри. На той неделе он наверняка уедет. Там уже дошло до вооруженных столкновений; силы революционеров невелики, у врага огромное численное превосходство. Ему давно уже следовало быть там!

Барбара, еще раньше отошедшая к окну, вдруг обернулась.

- Два месяца тому назад вы проповедовали мир! - сказала она.

- Не всем дано быть безупречно последовательными, леди Барбара, - с поклоном ответил Куртье. - Эти бедняги борются за святое дело.

- Вам кажется, что оно свято только потому, что они оказались слабы! И Барбара протянула руку миссис Ноуэл. - До свиданья, миссис Ноуэл. Наш мир предназначен для сильных, не так ли?

Она хотела этимм словами задеть его - и по его голосу поняла, что это ей удалось.

- Не говорите так, леди Барбара; это естественно звучит в устах вашей матушки, но не в ваших.

- Но я тоже так думаю. До свиданья! - И она вышла из комнаты.

Она ведь сказала ему, чтобы он не уезжал - что сейчас она этого не хочет, - а он все-таки едет!

Но едва она после своей неожиданной вспышки вышла на улицу, ей пришлось закусить губы, чтобы сдержаться, так ей стало досадно и горько. Он был груб с нею, а она с ним, вот как они простились! Потом она ощутила на лице солнечные лучи и подумала: "Что ж, ему все равно, ну, и мне тоже!"

- Разрешите позвать для вас такси? - раздался за нею знакомый голос, и тотчас обида стала утихать; но Барбара не оглянулась, только

с улыбкой покачала головой и чуть посторонилась, чтобы он мог идти по тротуару рядом с нею.

Но хотя они пошли пешком, поначалу оба молчали. В Барбару точно бес вселился, ей нестерпимо хотелось понять, что за чувства скрываются за этой почтительной серьезностью. И как бы выпытать, вправду ли ему так уж все равно? Она не поднимала скромно опущенных глаз, но на губах ее играла чуть заметная улыбка, и ее ничуть не огорчало, что щеки ее разгорелись. Неужели она не услышит никакого... никакого... неужели он преспокойно уедет без... "Нет, - подумалось ей, - он должен что-то сказать! Должен объяснить мне - и без этой своей отвратительной иронии!"

Неожиданно для самой себя она сказала:

- Они просто ждут... Что-то должно случиться!

- Очень может быть, - серьезно ответил Куртье.

Барбара посмотрела на него и не без удовольствия увидела, что он вздрогнул, точно пронзенный ее взглядом, и сказала негромко:

- И, по-моему, они будут совершенно правы.

Она понимала, что это опрометчивые слова, да и не слишком задумывалась над их значением, но она знала, что в них звучит бунтарская нотка и что это его взволнует. По его лицу она увидела, что не ошиблась, и, минуту помолчав, сказала:

- Быть счастливыми - это так важно... - и почти с озорной медлительностью прибавила: - Ведь правда, мистер Куртье?

Но всегда оживленное лицо его помрачнело, он стал почти бледен. Приподнял руку и сразу бессильно уронил ее. Барбаре стало его жаль. Словно он просил пощадить его.

- Если уж говорить о счастье, - сказал он, - к сожалению, у судьбы припасены для нас не только розы, но и шипы. Впрочем, иногда жизнь бывает ужасно приятна.

- Как сейчас, например?

Он серьезно посмотрел на нее и ответил:

- Да, как сейчас.

Никогда еще Барбара не чувствовала себя такой пристыженной. Он слишком сильный, ей с ним не справиться... он нелепый донкихот... она его ненавидит! И, твердо решив ничем себя не выдать, быть такой же сильной, как и он, она сказала спокойно:

- Пожалуй, дальше я поеду на такси.

И когда она уже сидела в автомобиле, а Куртье стоял рядом, приподняв шляпу, она взглянула на него, как умеют смотреть только женщины, - он даже не понял, на него ли она взглянула.

ГЛАВА XIII

Придя поблагодарить Одри Ноуэл, Милтоун застал ее в гостиной: она стояла посреди комнаты, вся в белом, губы ее улыбались, улыбались темные глаза, и она была тиха, точно цветок в безветренный день.

Взгляды их встретились, и, счастливые, они сразу забыли обо всем. Ласточки, в первый летний день окунувшись в ласковое тепло, не вспоминают о холодном зимнем ветре и не могут вообразить, что когда-нибудь солнце, уже не будет согревать их; часами носятся они над обласканными солнцем полями, и кажется, они уже не птицы, а просто дыхание наступившего лета, но и ласточки, едва минует пора бедствий, не более забывчивы, чем были эти двое. Во взоре Милтоуна была та же тишина, что во всем облике Одри; а в ее взгляде, обращенном к нему, был покой истинно глубокого чувства.

Потом они сели и заговорили, совсем как в былые дни в Монкленде, когда он приходил к ней так часто и они беседовали обо всем на свете. И, однако, в тихой радости оттого, что они опять вместе, было какое-то благоговение, почти страх. Так бывает перед восходом солнца. Серая от росы паутина окутывала цветы их сердец, но каждый плененный цветок уже можно было разглядеть. И оба словно пытались сквозь эти ревнивые покровы рассмотреть очертания и краски того, что таилось внутри; и ни у одного не хватало мужества заглянуть в сердце другого до самого дна. Они были точно робкие влюбленные, которые плутают в лесу и не смеют оборвать бессвязную болтовню о деревьях, птицах и колокольчиках из страха, как бы путеводная звезда всего, что еще ждет их впереди, не упала с небес и не утонула 8 пучине первого поцелуя. Каждому часу свое - этот час проходил как бы под знаком белых цветов, стоявших в вазе на окне за спиною Одри.

Они говорили о Монкленде и о болезни Милтоуна; о его первой речи и его впечатлениях от палаты общин; о музыке, о Барбаре, о Куртье, о текущей за окном Темзе. Милтоун рассказал о том, как он выздоравливал, как провел время на взморье. Одри, по своему обыкновению, почти не говорила о себе, уверенная, что даже и ему

это не интересно; но рассказала, как была в опере и как увидела в Национальной галерее портрет, напомнивший ей Милтоуна. Всем этим мелочам - и несчетному множеству других - звук их голосов, негромких, спадающих почти до шепота, полных какой-то восторженной нежности, придавал особенную, чудесную значительность, своего рода ореол, который ни Одри, ни Милтоун ни за что не согласились бы у этих мелочей отнять.

Был уже седьмой час, когда Милтоун собрался уходить, и за все время ни на минуту не нарушилась священная тишина, царившая в обоих сердцах. На прощание они обменялись еще одним полным спокойствия взглядом, словно говорившим: "Все хорошо - мы испили счастья".

И это поразительное спокойствие не покидало его до вечера; в половине десятого он направился к парламенту. Был ясный теплый вечер из тех, что за городом" обращается в унизанную светляками сказку и даже Лондону придает таинственное очарование. И Милтоун, радуясь, что к нему вернулось здоровье и силы, с новой остротой и свежестью ощущая всю прелесть чудесного вечера, наслаждался прогулкой. Он прошел Сент-Джеймским парком; в кругах света, подле фонарей лежали чернильные тени платанов, и такими живыми и красивыми показались ему четкие тени листьев, что жаль было на них наступать. Всюду вились ночные бабочки и налетевшие с реки комары, от лужаек пахло свежескошенной травой. У Милтоуна было легко на душе, точно у ласточки, которую он видел утром: она устремлялась на серое перышко, трепетавшее в воздухе, подхватывала его и вновь выпускала, и вновь, играя, ловила. Вот такой же восторг переполнял и его в этот вечер. Близ палаты общин он подумал, что хорошо бы пройтись еще немного, и повернул на запад, к реке. Начинался прилив, течение как бы замерло, и вода казалась черной, гладкой косою самой природы, змеившейся по ложу земли в ожидании, когда ее ласково коснется рука божества. Далеко на другом берегу все еще прерывисто и шумно дышала какая-то огромная машина. В темном небе мерцали редкие звезды, но не было луны, которая заставила бы померкнуть ярко горящие фонари. Прохожие почти не встречались. Милтоун шагал по берегу, потом перешел улицу и оказался перед домом, где жила Одри. У ограды он остановился. В гостиной света не было, но окно-то, что в нише, -

стояло настежь, и на подоконнике все еще смутно белел в сумраке букет цветов, точно опрокинутый концами книзу полумесяц. И вдруг так же смутно белеющие руки подняли вазу и скрылись с нею. Он вздрогнул, точно эти руки коснулись его. И снова они выплыли из темноты, белый полумесяц уже не соединял их, в вазе теперь стояли другие цветы, лиловые или алые. Нежданно повеял теплый ветер, в лицо Милтоуну пахнуло гвоздикой, и он едва удержался, чтобы не окликнуть Одри.

И снова руки исчезли, в раскрытом окне стояла тьма; неодолимая страсть охватила Милтоуна, он не в силах был пошевельнуться. Потом донеслись звуки фортепьяно. Мелодия струилась, точно сама ночь - вздыхающая, трепетная, томная. Казалось, этой музыкой она звала его, поверяла свою страсть, тоску своего сердца. Потом музыка замерла, и у окна появилась стройная фигура в белом. Он не мог, да и не пытался отступить перед этим призраком, он шагнул вперед, под свет фонаря. Одри порывисто протянула к нему руки, но тотчас прижала их к груди. И тут Милтоун забыл обо всем, осталась одна лишь всепоглощающая страсть. Он кинулся через садик, в прихожую, вверх по лестнице.

Дверь ее квартирки была не заперта. Он вошел. В гостиной, полной аромата алых гвоздик, стоявших на окне, было темно, и он не сразу увидел Одри; потом у фортепьяно замерцало белое платье. Она сидела, уронив руки на едва белеющие клавиши. Упав на колени, он зарылся лицом в складки ее платья. Потом, не глядя, поднял руки. Они легли ей на грудь, и ее слезы капали на них, а сердце ее стучало так, словно сама эта полная страсти ночь трепетала в нем, и все исчезло, кроме ночи и ее любви.

ГЛАВА XIV

На отроге одного из Сассекских холмов, поодаль от Нетлфолда, стоит буковая роща. Путник, усталый от зноя и слепящих солнечных лучей, входя в эту рощу, мысленно снимает обувь, точно на пороге храма; и дойдя до середины по чистейшему ковру буковых листьев, он садится, и тишина освежает его чело: здесь, в тени ветвей, солнечные блики редки и неярки, не жужжат пчелы и почти безмолвны птицы. А на опушке теснятся мирные молочно, - белые овцы, укрываясь от полуденной жары. Здесь, высоко над полями и селениями, над неустанно ткущейся сетью людских дел и суетных речей, путника

охватывает торжественное умиротворение. Большие белые облака парят над ним на медленных крыльях, слабо ропщет листва, вдали синеет море, и во всем чудится ему присутствие божества. На время отступают все тревоги и страхи, и он познает божественный покой.

Так было и с Милтоуном, когда, на третий день после той памятной ночи, проблуждав несколько часов в одиночестве, в душевном смятении, он достиг этого храма. Три дня его несло течением; и вот, вырвавшись из Лондона, где невозможно было собраться с мыслями, он приехал сюда побродить среди пустынных меловых холмов и обдумать новый поворот своей судьбы.

Он понимал, что все стало очень и очень сложно. Упоенный исполнением желаний, он и не думал отказываться от своего счастья. Она принадлежит ему, он - ей, это решено. Но как быть дальше? У нее нет надежды стать свободной. Как видно, муж ее убежден, что брак не может быть расторгнут ни при каких условиях. Да и ему самому не стало бы легче после развода, ведь он верил, что оба они виновны, а виновные не могут сочетаться браком. Правда, она ничего не просила, ей довольно было втайне принадлежать ему; и он знал, что почти каждый на его месте согласился бы на это, не задумываясь. Ничто на свете не препятствовало ему пойти на это, ничего другого в своей жизни не меняя. Это было бы так легко, так обычно. А она прекрасно умеет держаться в тени, она совсем не будет от этого страдать. Но совесть Милтоуна всегда была жестокой и беспощадной. Во время болезни она обернулась тем грозным ликом, что надвигался на него в бреду. В те недели, пока он выздоравливал, всякая внутренняя борьба утихла, но теперь, когда он поддался страсти, совесть вновь угнетала и мучила его. Он должен открыть тому человеку, ее мужу, правду, он непременно это сделает; но если это и не вызовет громкого скандала, разве может он и дальше обманывать тех, кто, знай они о его беззаконной любви, впредь, конечно, не пожелали бы иметь его своим представителем в парламенте? Знай они, что Одри его любовница, он больше не мог бы заниматься общественной деятельностью. Так разве он сам как честный человек не обязан от нее отказаться? Днем и ночью его преследовала мысль: какое у меня право устанавливать законы для моих ближних, если я сам не повинуюсь законам? Как могу я оставаться общественным деятелем? Но если он от этой деятельности откажется, что ему тогда делать? Ведь это у него в

крови, для этой деятельности он рожден и воспитан; только о ней он мечтал с детства. Никакое другое занятие не увлечет его ни на минуту, и вся жизнь пройдет впустую.

Так бушевала борьба в этой гордой смятенной душе - все существо Милтоуна властно требовало не отказываться от своего призвания, действовать в полную меру своих сил и способностей, а совесть столь же настойчиво твердила: если хочешь власти над людьми, умей сам чтить власть и закон.

Он вошел в буковую рощу, раздираемый этим мучительным внутренним спором, пылая гневом на судьбу, поставившую его перед таким выбором; в иные минуты его охватывала досада на страсть, за которую он должен расплачиваться либо своей карьерой, либо уважением к себе; и тут же его обжигало стыдам: как мог он хотя бы на миг пожалеть о своей любви к ней, такой нежной и преданной! Разве только с мрачным ликом самого Люцифера могло сравниться искаженное страданием лицо Милтоуна в полутьме этой буковой рощи, высоко над царствами мира, из-за которых сражались друг с другом его честолюбие и его совесть. Он бросился на землю под деревьями, широко раскинув руки, - и случайно ему под руку попался жук, бессильно барахтавшийся на голой земле. Его искалечила какая-то птица. Милтоун осторожно поднял насекомое. Ножки жука больше не действовали, но он был избавлен от судьбы, ожидавшей его, Милтоуна. Жук, потеряв способность двигаться, не будет сознавать, как он, что жизнь его загублена. Мир вокруг Милтоуна останется прежним. И он, утратив свою силу, будет сознавать, что только зря обременяет землю. Нестерпимо об этом думать! Для чего дано ему было встретить Одри, полюбить ее и быть любимым? Почему он с первой минуты твердо знал, что она создана для него, если рок судил иначе? Проживи он хоть до ста лет, никогда больше ему так не полюбить. Но почему из-за своей любви он должен похоронить свою волю и свои силы? Если бог так непоследователен в своих деяниях, так и он тоже будет непоследователен! Он будет устанавливать законы, но не будет их соблюдать! Стоит ли зарывать в землю свой талант во имя последовательности, которой нет на свете! Поистине, это было бы еще большим безумием, чем все остальное в этом безумном мире! Тишина буковой рощи не давала ему ответа, только ворковал голубь да негромко топотали овцы, вновь выходя на солнце.

Но понемногу тишина эта влилась и в душу Милтоуна. "Быть может, и в могиле так? - подумалось ему. - И эти ветви - как черная земля надо мной? И шорох ветвей - тот шорох, что слышат мертвые, когда над ними растут цветы и в травах проносится ветер? И могильная земля давит не тяжелее, чем вот это чувство, когда целую вечность лежишь и смотришь в пустоту? Быть может, вся жизнь лишь тяжелый сон, а вот это и есть реальность? И зачем мое неистовство, зачем так мечется ничтожный огонек, ведь ветра нет, недвижный воздух - как саван, а блики солнца - брошенные на мой гроб цветы. И пусть бы мой дух мирно опочил, зачем терзаться и бунтовать? Лучше мне сразу покориться и ждать той подлинной сущности, ибо этот мир - лишь ее тень".

Так он лежал, почти не дыша, глядя вверх, на недвижные ветви - темную оправу жемчужного неба.

"Покой, - думал он, - разве этого мало? Любовь - разве этого мало? Неужели я не могу довольствоваться этим, как женщина? Разве не в этом спасение и счастье? И что все остальное, как не "безумца бред без смысла и без цели"?

И, словно опасаясь, как бы эта мысль от него не ускользнула, он поднялся и поспешно пошел из рощи.

Вся ширь полей и лесов, прорезанная светлыми полосками дорог, мерцала в лучах предвечернего солнца. Это был не дикий край, открытый всем ветрам, отливающий багряным и сизым;, охраняемый серыми скалами, - прибежище вихрей и древних богов. Все здесь было безмятежно спокойным, отсвечивало золотом и серебром. Пронзительные рыдающие крики ястребов, с высоты подстерегающих добычу, сменились пением невидимых жаворонков, славящих мир и покой; и даже море - словно это не был неукротимый дух, все сметающий с берега взмахом крыла, - мирно прилегло отдохнуть подле суши.

ГЛАВА XV

Милтоун не пришел - и все леденящие сомнения, которые отступали лишь в его присутствии, вновь нахлынули на ту, что всегда слишком мало верила своему счастью. Конечно же, оно не могло длиться - как может быть иначе?

Ведь они такие разные! Даже отдавая себя безраздельно - а это было таким счастьем! - она не могла забыть свои сомнения, потому

что слишком многого в Милтоуне не понимала. В поэзии и в природе его привлекало только бурное, неприступное. Пылкость и нежность, тончайшие оттенки и гармония, казалось, нимало его не трогали. И он был равнодушен к простой прелести природы, к птицам и пчелам, к животным, деревьям и цветам, которыми так дорожила и так восхищалась она.

Еще не было четырех часов, а она уже начала сникать, как цветок без воды. Но она решительно подсела к фортепьяно и играла до самого чая, играла, сама не зная что мысленно скитаясь по Лондону в поисках Милтоуна. После чая она взялась сначала за книгу, потом за шитье и опять вернулась к фортепьяно. Часы пробили шесть, и, словно от их последнего удара, распались доспехи ее души, нестерпимая тревога охватила Одри. Почему его так долго нет? Но она все играла, машинально перелистывая ноты и не видя их, и теперь ее преследовала мысль, что он опять заболел. Не дать ли телеграмму? Но куда? Она ведь понятия не имеет, где он сейчас. И так страшно было не знать, где любимый, что она уже не могла больше ни о чем думать, и оцепеневшие руки ее соскользнули с клавиш. Теперь ей не сиделось на месте, и она начала бродить от окна к двери, потом выходила в прихожую и вновь спешила к окну. А над тревогой, словно темная туча, сгущались страхи и опасения. Что, если это конец? Если он решил, что это самый милосердный способ с нею расстаться? Но нет, не может он быть таким жестоким! Мысль эта была нестерпима, и она тотчас стала убеждать себя, что думать так просто глупо! Он в парламенте, его задержали какие-нибудь самые обычные дела. И беспокоиться просто смешно! Ей придется к этому привыкнуть. Ужасно было бы стать для него обузой. Уж лучше... да, лучше пусть он не вернется! И она взялась за книгу: решено, она будет спокойно читать до самого его прихода. Но в тот же миг все страхи опять нахлынули на нее - с леденящим, тошнотворным ощущением, бессилия она поняла, что ничего не может сделать, только ждать. Суеверная мысль, что, подстерегая его здесь, у окна, она только отдаляет его приход, прогнала ее в спальню. Отсюда ей видны были винно-красные закатные облака над Темзой. Говорливый ветерок пробежал меж домов; понемногу подкрадывались сумерки. Но она не зажигала огня, обманывая себя, что еще совсем светло. Она стала медленно переодеваться и, желая быть как можно красивее, подолгу

занималась каждой мелочью, как-то невольно успокаиваясь при этом. Страшась вернуться в гостиную прежде, чем придет Милтоун, она распустила волосы, хоть они были убраны безукоризненно, и вновь стала их расчесывать. И вдруг с ужасом подумала: зачем же она наряжается и прихорашивается для него, не покарает ли ее судьба за такую самонадеянность! При малейшем стуке или шорохе она замирала и прислушивалась; вся в белом, бледная - только чернели глаза и волосы - она походила на склонившийся в сумерках нарцисс, что тянется к едва различимому напеву, звучащему для него где-то в полях. Но всякий раз стуки и шорохи стихали, ничего ей не принося; и тогда душа ее возвращалась в эти слабо отсвечивающие в темноте стены, и вновь оживали медлительные пальцы, сжимавшие гребень. За этот час в спальне она словно годы прожила. Когда она оттуда вышла, было уже совсем темно.

ГЛАВА XVI

Милтоун пришел в десятом часу.

Она встретила его в прихожей и без слов, вся дрожа, прильнула к нему; и этот немой, словно бесплотный трепет невысказанного чувства глубоко растрогал Милтоуна. Как она чутка и нежна! Она казалась совсем беззащитной. А между тем ее волнение не только тронуло Милтоуна, но и раздосадовало. В эту минуту она была для него воплощением жизни, какую вынужден отныне принять и он, - жизни бездеятельной, отданной одной лишь любви.

Он долго не мог заговорить о своем решении. Каждым своим взглядом, каждым движением она словно заклинала его не нарушать молчание. Но было в Милтоуне что-то неумолимое, не позволявшее ему уклониться от однажды намеченной цели.

Выслушав его, Одри сказала только:

- Но почему мы не можем и дальше сохранять тайну?

И он почти с ужасом почувствовал, что придется начинать борьбу сызнова. Он встал и распахнул окно. Небо над рекой было совсем темное; поднялся ветер. Он дохнул в лицо беспокойным ропотом, и Милтоуну показалось, что вся бескрайняя звездная ночь опрокинулась на него. Он повернулся и, прислонясь к подоконнику, посмотрел сверху вниз на Одри. Какая она нежная, точно цветок! Ему вдруг вспомнилось: весною она у него на глазах бросила поникший цветок в огонь. "Не могу видеть, как они вянут! - сказала она тогда. - Уж лучше

пусть горят". И сейчас ему почудились те восковые лепестки, вот они съеживаются в жестоких объятиях подползающих все ближе язычков пламени, и гибкий стебель дрожит, вспыхивает, чернеет и корчится, как живое существо. И с отчаянием он заговорил:

- Я не моту жить двойной жизнью. Какое право у меня вести за собой людей, если я не подаю им пример? Я ведь не таков, как наш друг Куртье, который верует в свободу. Я не верю в нее и никогда не поверю. Свобода! Что такое - свобода? Только те, кто подчиняется власти, вправе сами обладать властью. Тот, кто диктует законы другим, а сам не в состоянии их соблюдать, просто дрянь. Я не хочу пасть так низко, как те, о ком говорят: "Этот только другим умеет приказывать, а сам..."

- Никто ничего не узнает.

Милтоун отвернулся.

- Я сам буду знать, - сказал он.

Но она не поняла его, это он видел. Лицо у нее стало странно печальное и замкнутое, словно он ее испугал. И мысль, что она не может его понять, рассердила Милтоуна.

- Нет, я не стану заниматься политикой, - сказал он упрямо.

- Но при чем тут политика? Ведь это такие пустяки.

- Будь это пустяки для меня, разве я бросил бы тебя в Монкленде и мучился бы так те пять недель, пока не заболел? Пустяки!

- Но обстоятельства - это и в самом деле пустяки! - с неожиданным жаром воскликнула Одри. - Любовь - вот что важно.

Милтоун посмотрел на нее с изумлением; впервые он понял, что и у нее есть своя философия, столь же продуманная и глубоко укоренившаяся, как и его собственная. Но ответил безжалостно:

- Что ж, это важное меня и победило!

И тут она посмотрела на него так, словно заглянула в тайники его души и открыла там нечто невыразимо страшное. Такой скорбный, такой нечеловечески пристальный был этот взгляд, что Милтоун не выдержал и отвернулся.

- Может быть, это и пустяки, - пробормотал он. - Не знаю. Не понимаю, как мне быть. Я совсем запутался. Ничего не могу делать, сначала мне надо во всем этом разобраться.

Но она как будто не слышала или не поняла его и опять повторила:

- Нет, нет, пускай все остается по-старому; никогда я не потребую того, чего ты не можешь мне дать.

Ее упорство показалось ему лишенным всякого смысла: ведь он-то решился на такой шаг, после которого он будет принадлежать ей безраздельно!

- Я уже все обдумал, - сказал он. - Не будем больше об этом говорить,

И снова она как-то тоскливо и безнадежно прошептала:

- Нет, нет! Пусть все останется, как было!

Чувствуя, что больше не выдержит, Милтоун положил руки ей на плечи и оказал коротко:

- Довольно!

И сейчас же, охваченный раскаянием, поднял ее и порывисто обнял.

Она не противилась, но стояла, точно неживая, закрыв глаза, не отвечая на поцелуи.

ГЛАВА XVII

В канун окончания сессии лорд Вэллис с легким сердцем отправился на прогулку в Хайд-парк. Хотя под ним была горячая кровная кобыла, он не пускал в ход ни шпор, ни хлыста, так как отлично ездил верхом, что и не мудрено, если человек впервые выехал на охоту семи лет от роду и двадцать лет носил звание полковника кавалерии территориальных войск. Он приветливо раскланивался со всеми своими знакомыми, непринужденно беседовал на любые темы и особенно охотно о политике, втайне наслаждаясь догадками и пророчествами собеседников, частенько попадавших пальцем в небо, и их вопросами, разбивавшимися о его непроницаемое простодушие. Весело говорил он и о Мялтоуне, который "опять в добром здравии" и только и ждет осенней сессии, чтобы ринуться в бой. Лорда Мэлвизина он поддразнивал шуточками о его жене: если когда-нибудь в Берти пробудится наконец интерес к политике, сказал он, то единственно по милости вашей супруги! Он проскакал дважды туда и обратно отменным галопом, уверенный, что полиция посмотрит на это сквозь пальцы. День выдался на славу, и лорду Вэллису жаль было возвращаться домой. Под конец он столкнулся с Харбинджером и пригласил его к завтраку. В последнее время молодой человек заметно переменился, вид у него был какой-то мрачный; лорд Вэллис вдруг

почти со страхом вспомнил, что говорила ему жена о своей тревоге за Барбару. В последнее время он мало виделся с младшей дочерью и в обычной для конца сессии суматохе совершенно забыл об этой истории.

Агата с маленькой Энн все еще гостила у них, дожидаясь, когда можно будет поехать с матерью в Шотландию, но сейчас ее не оказалось дома, и они завтракали только вчетвером, с Барбарой и леди Вэллис. Разговор не вязался: молодые люди были необыкновенно молчаливы, леди Вэллис мысленно сочиняла отчет, который надо было подготовить перед отъездом, а лорд Вэллис осторожно наблюдал за дочерью. Услыхав, что пришел лорд Милтоун и сидит в кабинете, все удивились, но невольно вздохнули с облегчением). Слуге велено было позвать его завтракать, но на это последовал ответ, что лорд Милтоун уже завтракал и желает подождать,

- А он знает, что здесь только свои?

- Да, миледи.

Леди Вэллис отодвинула тарелку и поднялась.

- Ну, что ж, - сказала она. - Я уже кончила.

Лорд Вэллис последовал ее примеру, и они вышли вместе, а Барбара, которая тоже встала из-за стола, осталась в столовой, неуверенно глядя на дверь.

Лорду Вэллису лишь недавно рассказали о том, кто ухаживал за его больным сыном, и он был просто обескуражен. Будь Юстас без особенных причуд, как все молодые люди, отец только пожал бы плечами и подумал: "Что ж, бывает!" А сейчас он буквально не знал, что и подумать. И пока они с женой шли через гостиную, отделявшую столовую от кабинета, спросил с тревогой:

- Что же это, Гертруда, опять та женщина, или... в чем дело?

- Одному господу богу известно, дорогой, - ответила леди Вэллис, пожав плечами.

Мнлтоун стоял в амбразуре окна. Выглядел он вполне окрепшим и поздоровался с родителями самым обычным своим тоном.

- Ну-с, мой друг, - сказал лорд Вэллис, - я вижу, ты опять в добром здоровье. Что нового на свете?

- Только то, что я решил сложить с себя депутатские полномочия.

Лорд Вэллис широко раскрыл глаза:

- Это почему же?

Но леди Вэллис, как и подобает женщине, быстрее угадала, какие причины могут быть у Милтоуна, и густо покраснела.

- Вздор, мой милый, - начала она. - Это совсем не обязательно, даже если... - Тут она спохватилась и докончила сухо: - Объяснись, пожалуйста.

- Объяснение очень простое: отныне моя судьба связана с миссис Ноуэл, и я не могу жить двойной жизнью. Если бы это стало известно, я должен был бы немедленно вернуть мандат.

- Боже праведный! - воскликнул лорд Вэллис.

Леди Вэллис сделала порывистое движение. Два глубоко несхожие между собою представителя сильного пола - ее муж и сын - готовы были вступить в ожесточенный спор, и при виде такой опасности она, сбросив маску, стала истинной женщиной. Оба они бессознательно почувствовали перемену и теперь обращались к ней.

- Здесь не о чем спорить, - сказал Милтоун. - Для меня это вопрос чести.

- А дальше что? - спросила мать.

- Видит бог, - прервал ее лорд Вэллис с неподдельным волнением, - я полагал, что ты ставишь свое отечество выше личных интересов.

- Джеф! - сказала леди Вэллис. Но он продолжал:

- Нет, Юстас, ты престранно смотришь на вещи. Я совершенно тебя не понимаю.

- Вот это верно, - подтвердил Милтоун.

- Слушайте меня оба! - сказала леди Вэллис. - Вы слишком разные, и вы не должны ссориться. Я этого не потерплю. Не забывай, Юстас, ты нам сын и тебе не следует так горячиться. Сядьте оба и обсудим все спокойно.

Она указала мужу на кресло и села сама. Милтоун остался стоять. С внезапным испугом леди Вэллис спросила:

- А это... а ты... а скандала не будет?

Милтоун угрюмо усмехнулся. - Разумеется, я все скажу ее мужу, но вы можете не беспокоиться; как я понимаю, его взгляды на брак не допускают развода ни при каких обстоятельствах.

У леди Вэллис вырвался вздох глубокого, нескрываемого облегчения.

- Но в таком случае, мой мальчик, - начала она, - даже если ты непременно хочешь все сказать этому человеку, безусловно, незачем

посвящать в это кого-либо еще.

Тут вмешался лорд Вэллис.

- Я был бы рад услышать, какая все же связь между твоей честью и отказом от депутатских обязанностей, - натянутым тоном осведомился он.

Милтоун покачал головой.

- Если вы до сих пор этого не понимаете, объяснять бесполезно.

- Да, я не понимаю. История эта весьма... весьма прискорбная, но без крайней необходимости отказываться от дела своей жизни было бы, с моей точки зрения, противоестественно и нелепо. Много ли найдется мужчин, которым ни разу в жизни не случалось вступить в подобную связь? Если тебя послушать, половину наших соотечественников придется считать недостойными и неправомочными.

В эту критическую минуту он, казалось, и избегал встречаться глазами с женой и взглядом спрашивал ее совета, искал ее поддержки и вместе с тем старался соблюсти приличия. И как ни сильна была тревога леди Вэллис, на минуту чувство юмора взяло верх. Забавно, что Джеф так себя выдает! Она просто не могла удержаться и посмотрела на него в упор.

- Дорогой мой, ты сильно преуменьшаешь, - мягко поправила она. - Таких мужчин не половина, а самое малое три четверти.

Но лорд Вэллис перед лицом опасности вновь обрел твердость духа.

- Не знаю, зачем тебе понадобилось смешивать любовные дела с политикой, - сказал он сыну. - Это выше моего понимания.

Милтоун ответил так медленно, словно признание жгло ему губы:

- Существует же на свете такая вещь, как убеждения. Я, например, не считаю, что жизнь можно делить на две независимые части - одна для общества, другая для себя. Моей мечте пришел конец, она разбита. Теперь меня не влечет общественная деятельность... Я больше не вижу в ней ни смысла... ни цели.

Леди Вэллис схватила его за руку.

- Ох, милый, это уж какая-то чрезмерная святость... - но, заметив кривую усмешку Милтоуна, поспешно поправилась: - Я хочу сказать, чересчур строгая логика.

- Ради бога, Юстас, призови на помощь свой здравый смысл, - опять вмешался лорд Вэллис. - Не кажется ли тебе, что твой прямой долг - спрятать в карман излишнюю щепетильность и отдать все свои силы и дарования на службу отечеству?!

- Я не обладаю здравым смыслом.

- В таком случае, разумеется, тебе действительно лучше отказаться от общественной деятельности.

Милтоун поклонился.

- Что за вздор! - воскликнула леди Вэллис. - Ты не понимаешь, Джеф. Еще раз тебя спрашиваю, Юстас, что ты будешь делать дальше?

- Не знаю.

- Ты изведешься.

- Вполне возможно.

- Если уж ты никак не можешь поладить со своей совестью, - опять прервал лорд Вэллис, - так будь, ради бога, мужчиной, расстанься с этой женщиной и разруби все узлы.

- Прошу прощенья, сэр! - ледяным тоном проговорил Милтоун.

Леди Вэллис положила руку ему на плечо.

- Попробуем все же рассуждать логично, милый. Неужели ты серьезно думаешь, будто она захочет, чтобы ты ради нее погубил свою жизнь? Я не так уж плохо разбираюсь в людях.

У Милтоуна так потемнело лицо, что она умолкла на полуслове.

- Вы слишком торопитесь, - сказал он. - Быть может, я еще буду свободен, как ветер.

Слова эти показались леди Вэллис загадочными и зловещими, и она не нашлась, что ответить.

- Если тебе кажется, что из-за этого... этого увлечения у тебя уходит почва из-под ног, ради бога, ничего не решай наспех, - снова заговорил лорд Вэллис. - Подожди! Поезжай за границу. Верни себе душевное равновесие. Вот увидишь, пройдет несколько месяцев и все уладится. Не торопи события; осеннюю сессию ты можешь пропустить, сославшись на свое здоровье.

- В самом деле, - с жаром подхватила леди Вэллис, - ты ужасно все преувеличиваешь. Ну, что такое любовная связь? Милый мой мальчик, неужели, по-твоему, из-за этого кто-нибудь станет думать о тебе хуже, если даже люди и узнают? Да и незачем никому об этом знать.

- Меня ничуть не интересует, что обо мне подумают.

- Значит, просто в тебе говорит гордость! - воскликнула уязвленная леди Вэллис.

- Вы совершенно правы.

- Не думал я, что у меня и у моего сына могут быть разные понятия о чести, - сказал лорд Вэллис, не глядя на Милтоуна, с болью в голосе.

А леди Вэллис, услыхав слово "честь", воскликнула:

- Юстас, дай мне слово, что ты ничего не предпримешь, пока не посоветуешься с дядей Деннисом!

Милтоун усмехнулся.

- Это превращается в комедию, - сказал он.

Слова эти, показавшиеся родителям дикими и неуместными, повергли их в безмолвное изумление, и все трое застыли, глядя друг на друга. Легкий шорох в дверях прервал эту немую сцену.

ГЛАВА XVIII

Когда родители вышли, предоставив ей одной занимать Харбинджера, Барбара сказала:

- Кофе будем пить там, - и перешла в гостиную.

С тех пор, как Харбинджер поцеловал ее возле живой изгороди, Барбара ни разу не оставалась с ним наедине, если не считать того вечера, когда они стояли над берегом, глядя на гуляющих. И теперь, после минутного смущения, она смотрела на него спокойно, хотя в груди что-то трепетало, как будто в этой нежной и прочной клетке легонько билась плененная птица. У нее еще ныло сердце от последнего обидного разговора с Куртье. И притом, что нового ей может дать Харбинджер?

Словно нимфа, за которой гонится фавн - властитель лесов, - она, убегая, то и дело оглядывалась на преследователя. В его волшебном лесу не было ничего не известного ей, ни единой чащи, где она еще не побывала, ни единого ручья, через который она не переправлялась, не было поцелуя, который она не могла бы возвратить. Его владения были уже открытой страной, и здесь она могла царствовать по праву. Ей нечего было от него ждать, кроме власти и надежного, спокойного благополучия. И взгляд ее говорил: как знать, не захочется ли мне большего? А если я стану задыхаться в твоих объятиях? Если меня

пресытит все, что ты можешь мне дать? Разве я еще не все от тебя получила?

Харбинджер опустил голову, он был мрачнее тучи, и Барбара поняла, что она кажется ему жестокой, и пожалела его. И, желая быть добрее, спросила почти робко:

- Вы все еще на меня сердитесь, Клод?

Харбинджер поднял голову.

- Почему вы так жестоки?

- Я не жестока.

- Нет, жестоки. Есть ли у вас сердце?

- Есть! - сказала Барбара и прижала руку к груди.

- Мне совсем не до шуток, - пробормотал он.

- Неужели это так серьезно, милый? - спросила она кротко.

Но этот ласковый голос только подлил масла в огонь.

- За этим что-то кроется! - с усилием выговорил он. - Вы не имеете права меня дурачить!

- Простите, а что же такое тут кроется?

- Это вас надо спросить. Но я не слепой. Что вы скажете об этом Куртье?

В эту минуту перед Барбарой предстало нечто ей еще незнакомое истинный мужчина. Нет, жить с ним будет, пожалуй, не так уж скучно!

Лицо его потемнело, глаза расширились, он, казалось, даже стал выше ростом. Барбара вдруг заметила, что руки его, стиснутые в кулаки, покрыты волосами. Его светской обходительности как не бывало. Он подошел совсем близко.

Сколько времени они смотрели друг другу в глаза и что было в этом взгляде, Барбара понимала смутно; мысли и чувства неслись, обгоняя друг друга. Он был ей и противен и мил, она презирала его и восхищалась и", странное удовольствие и отвращение - все смешалось; так в майский день налетит град, и тут же солнце пробьется сквозь тучи, и трава курится паром.

Потом Харбинджер сказал хрипло:

- Вы сводите меня с ума, Бэбс!

Прижав пальцы к губам, словно стараясь унять их дрожь, она ответила:

- Да, пожалуй, с меня довольно, - и пошла в отцовский кабинет.

При виде родителей, которые остановившимися глазами смотрели на Милтоуна, к ней вернулось самообладание. Зрелище показалось ей комическим, хоть она и не подозревала, что именно это слово было всему виною. Но поистине контраст между Милтоуном и его родителями доходил в эту минуту до смешного.

Леди Вэллис заговорила первая.

- Лучше комедия, чем романтика. Полагаю, Барбаре тоже следует знать, в чем дело, поскольку она внесла свою лепту. Твой брат хочет сложить с себя обязанности депутата, дорогая; при его теперешних обстоятельствах совесть не позволяет ему оставаться членом парламента.

- Как! - воскликнула Барбара. - Но ведь...

- Мы уже обсудили все это, Бэбс, - прервал лорд Вэллис. - Если у тебя нет более веских доводов, чем все, что диктует простой здравый смысл, сознание долга перед обществом и перед семьей, не стоит возобновлять этот разговор.

Барбара посмотрела на Милтоуна: лицо его было как маска, жили одни глаза.

- Ох, Юсти! - сказала она. - Неужели ты вот так загубишь свою жизнь! Подумай, ведь я никогда себе этого не прощу.

- Ты поступила, как считала правильным, так же поступаю и я, - холодно сказал Милтоун.

- И этого хочет она?

- Нет.

- Я думаю, единственный человек на свете, который хочет, чтобы твой брат похоронил себя заживо, это он сам, - вставил лорд Вэллис. - Но на него такие доводы не действуют.

- Подумай, что будет с бабушкой! - воскликнула Барбара.

- Что до меня, я стараюсь об этом не думать, - отозвалась леди Вэллис.

- Ты вся ее радость и надежда, Юсти. Она всегда так в тебя верила.

Милтоун вздохнул. Барбара, ободренная этим вздохом, подошла ближе.

Видно было, что бесстрастие его только кажущееся и прикрывает отчаянную внутреннюю борьбу. Наконец он заговорил:

- Меня уже умоляла и заклинала женщина, которая мне дороже всего на свете, и все-таки я не уступил, потому что еще сильней во мне чувство, которое вам непонятно. Прошу извинить, что я сейчас употребил слово "комедия", мне следовало сказать - трагедия. Я поставлю в известность дядю Денниса, если это вас утешит; но, в сущности, все это никого, кроме меня, не касается.

И, ни на кого не взглянув, не сказав больше ни слова, он вышел.

Барбара бросилась к двери.

- Господи боже мой! - воскликнула она, чуть ли не ломая руки, что было совсем на нее непохоже. И, отвернувшись к книжному шкафу, заплакала.

Такой взрыв чувств, перед которым бледнело даже их собственное волнение, глубоко поразил лорда и леди Вэллис, не подозревавших, что нервы дочери были взвинчены еще до того, как она вошла в кабинет. Они не видели Барбару в слезах с тех пор, как она была совсем крошкой. Перед лицом такого горя они забыли все упреки, которыми готовы были осыпать дочь за то, что она толкнула Милтоуна в объятия миссис Ноуэл. Лорд Вэллис, особенно тронутый, подошел к ней и остановился рядом, в темном углу у книжного шкафа, не говоря ни слова и только тихо поглаживая ее руку. Леди Вэллис, чувствуя, что и сама готова заплакать, укрылась в амбразуре окна.

Всхлипывания Барбары скоро утихли.

- Это потому, что у него было такое лицо... - объяснила она. - И зачем он так? Зачем? Никому это не нужно!

Лорд Вэллис, безжалостно теребя усы, пробормотал:

- Вот именно! Только сам себе портит жизнь!

- Да, - прошептала у окна леди Вэллис, - он всегда был такой - весь из острых углов. Даже в детстве. Берти никогда таким не был.

Потом наступило молчание, только сердито сморкалась Барбара.

- Поеду посоветуюсь с мамой, - вдруг прервала молчание леди Вэллис. Вся жизнь мальчика пойдет прахом, если мы его не остановим. Поедешь со мной, детка?

Но Барбара отказалась.

Она ушла к себе. Роковой перелом в жизни Милтоуна глубоко потряс ее. Словно сама судьба открыла ей, что значит сойти хоть на шаг с проторенного пути, и она вдруг оказалась в разладе с собой.

Расправить крылья и взлететь! Вот что из этого получается! Если Милтоун не передумает и откажется от общественной деятельности, он пропал! А она, Барбара? Разве не безрассудно восхищалась она рыцарством Куртье, его отвагой, которая словно рвется навстречу опасности? Да и восхищалась ли? А может быть, просто ей приятно было, что он ею восхищается? В путанице этих мыслей вдруг возник образ Харбинджера - лицо его, придвинувшееся совсем близко, сжатые кулаки и как внезапное откровение - его угрожающая мужская воля. Это был какой-то дурной сон, вихрь странных, пугающих чувств, над которыми она не властна. Привычная философия завоевательницы впервые изменила Барбаре. И вновь ее мысль устремилась к Милтоуну. Итак, то, что она тогда прочитала в их лицах, свершилось! И, представив себе ужас Агаты, когда она об этом узнает, она не могла сдержать улыбку. Бедный Юстас! Почему он все принимает так близко к сердцу? Ведь если он сделает, как решил - а он никогда не отступает от своих решений, - это будет трагедия! Для него все будет кончено!

А вдруг после этого миссис Ноуэл ему надоест? Нет, такие женщины не надоедают, это чувствовала даже Барбара, при всей своей неискушенности. У нее столько душевного такта, она сумеет не докучать ему, никогда ничего не станет требовать, не даст ему почувствовать, что он хотя бы тончайшим волоском с нею связан. Ах, почему они не могут жить по-прежнему, как будто ничего не случилось? Неужели никто не в силах убедить Милтоуна? И опять она подумала о Куртье. Он знает их обоих, и так привязан к миссис Ноуэл, - что если ему поговорить с Милтоуном? Пусть бы объяснил, что у каждого человека есть право быть счастливым и право взбунтоваться! Юстасу надо взбунтоваться! Это его долг. Она села и написала несколько строк: потом надела шляпу, взяла записку и потихоньку вышла из дому.

ГЛАВА XIX

Летние цветы в просторной теплице Рейвеншема стояли последнюю вечернюю стражу, когда Клифтон предстал перед леди Кастерли со словами:

- В белой гостиной ожидает леди Вэллис.

С того дня, как старой леди сообщили, что Милтоун болен и при нем находится миссис Ноуэл, она выжидала; правда, нередко ею

овладевали дурные предчувствия: как-то повлияет эта женщина на жизнь ее любимца; она ощущала и нечто подобное ревности, в чем не признавалась себе даже в молитвах, молилась она довольно часто, но, пожалуй, не слишком горячо. В последнее время она не очень любила уезжать из дому даже в Кэттон, свое имение, и жила все еще в Рейвеншеме, куда к ней приехал погостить лорд Деннис сразу после отъезда Милтоуна из его приморского домика. Но леди Кастерли никогда особенно не нуждалась в чьем бы то ни было обществе. Она не утратила неизменного своего интереса к политике и по-прежнему состояла в переписке с разными выдающимися людьми. Недавно возобновились было июньские страхи, что возможна война, и леди Кастерли даже помолодела, как бывало с нею всегда, когда отечеству грозила хотя бы тень опасности. При звуке трубы неукротимый дух ее, как и в былые годы, воспрянув, выхватывал меч из ножен и замирал в торжественной готовности. В подобных случаях она раньше поднималась по утрам, позднее ложилась, менее подвержена была действию сквозняков и решительно отказывалась хоть что-нибудь перекусить в промежутках между трапезами. И собственноручно писала письма, которые при других обстоятельствах продиктовала бы секретарю. К несчастью, разговоры о войне почти тотчас прекратились; а после того, как минует опасность, леди Кастерли всегда бывала несколько раздражена. Приезд леди Вэллис пришелся очень кстати.

Поцеловав дочь, она подозрительно оглядела ее: что-то в ее поведении ей не понравилось.

- Ну, разумеется, я здорова! - сказала она. - А почему ты не привезла с собой Барбару?

- Она очень устала.

- Гм. Наглупила тогда с Юстасом, а теперь не хочет попадаться мне на глаза. Хорошенько смотри за девочкой, Гертруда, не то она и сама выкинет какую-нибудь глупость. Не нравится мне, что она все водит за нос Клода Харбинджера.

- Я привезла дурные вести о Юстасе, - прервала эти рассуждения дочь.

Последняя краска сбежала с бледных щек леди Кастерли, и избыток сердитой энергии тоже оставил ее.

- Что такое? Говори скорее!

Выслушав новость, она ничего не сказала, но леди Вэллис со страхом увидела, что глаза матери потускнели, словно их затянуло старческой пленкой.

- Что же вы посоветуете? - спросила она.

Сама усталая и огорченная, она вдруг непривычно пала духом при виде этой маленькой притихшей фигурки в белой тихой комнате. Казалось, над матерью прошумели зловещие темные крылья - впервые у нее было такое лицо, словно она потерпела поражение. И в порыве нежности к хрупкому, иссохшему телу, когда-то давшему ей жизнь, она прошептала, сама себе удивляясь:

- Мамочка, милая!

- Да, - сказала леди Кастерли, словно думая вслух, - мальчик все копит в себе; он не дает воли чувствам, а потом они вырываются наружу, и он уж не может с ними совладать. Сначала любовь; теперь совесть. В нем живут два человека: но на этот раз один из них погибнет. - И, подняв глаза на дочь, неожиданно прибавила: - Ты когда-нибудь слыхала, Гертруда, что с ним! было в Оксфорде? Однажды он сбежал и беспутничал, как самый настоящий блудный сын. Ты об этом так и не узнала. Еще бы - ты ведь никогда ничего о нем не знала.

Леди Вэллис вспыхнула: как смел кто-то знать ее сына лучше, чем она сама! Но вид этой маленькой хрупкой старушки сразу утишил ее обиду, и она только спросила со вздохом:

- Что же делать?

- Уезжай, Гертруда, - прошептала в ответ леди Кастерли. - Мне надо подумать. Ты говоришь, он обещал посоветоваться с Деннисом? А адрес той ты знаешь? Когда вернешься домой, спроси у Барбары и скажи мне по телефону. - И в ответ на прощальный поцелуй дочери прибавила хмуро: - Я еще доживу до того дня когда он станет у кормила, хоть мне и семьдесят восемь.

Как только дочь уехала, леди Кастерли позвонила.

- Клифтон, если леди Вэллис позвонит по телефону, не спрашивайте ее, что мне передать, а позовите меня. - И, видя, что Клифтон не уходит, спросила резко: - Что еще?

- Я надеюсь, здоровье молодого лорда не стало хуже?

- Нет.

- Прошу прощенья, миледи, но я давно уже хотел вас спросить...

И старик с необычайным достоинством поднял руку, словно говоря: прошу извинить меня за то, что сейчас я говорю с вами просто как человек с человеком.

- Мне известна привязанность его светлости, - продолжал Клифтон. Когда он был здесь в июле месяце, он сказал очень странные слова. Хорошо зная его светлость, я был ими чрезвычайно взволнован. Я был бы счастлив услышать от вас, миледи, что карьере его светлости ничто не воспрепятствует.

Лицо леди Кастерли выразило удивительнейшую смесь изумления, доброты, настороженности и досады, точно перед нею был малый ребенок.

- Постараюсь, чтобы этого не случилось, Клифтон, - коротко сказала она. - Можете не беспокоиться.

Клифтон поклонился.

- Прошу извинить, что я об этом заговорил, миледи. - По лицу его, обрамленному длинными белоснежными баками, прошла дрожь. - Но благополучие его светлости для меня гораздо важнее моего собственного.

Когда он ушел, леди Кастерли опустилась в низкое креслице; долго сидела она у нетопленного камина, пока в комнате не стало совсем темно.

ГЛАВА XX

Неподалеку от загадочного, таинственного преддверия ада, где пребывала великая полуправда - Власть, страшное пугало Чарлза Куртье, - за пятнадцать шиллингов в неделю снимал две комнатки сам Куртье. Главная их прелесть заключалась в том, что в их пользу говорила другая великая полуправда Свобода. Они его никак не связывали, но всегда были к его услугам, когда он попадал в Лондон; потому что хозяйка, хоть такого уговора у них и не было, всегда сдавала эти комнаты другим постояльцам с условием, что за нею остается право выставить любого из них, предупредив всего лишь за неделю. Это была тихая, кроткая женщина, на двадцать лет моложе своего супруга водопроводчика по профессии, социалиста по убеждениям. Сей достойный муж наградил ее двумя сынишками, и все трое держали ее в такой строгости, что у нее и просвета в жизни не было, кроме присутствия Куртье. Когда он пускался в свои странствия, движимый духом то ли миссионера, то ли исследователя

или, может быть, искателя приключений, она складывала все его пожитки в два обитых жестью сундучка и убирала их в шкаф, где попахивало мышами. А когда Куртье возвращался, сундуки вновь открывались, и из них вырывался сильный аромат засушенных розовых лепестков. Зная, что все изделия рук человеческих преходящи, она каждое лето доставала у своей сестры, муж которой выращивал цветы на продажу, запас этого душистого товара, любовно зашивала его в мешочки и год за годом укладывала в сундук к Куртье. Только этим, да еще мастерски поджаривая до хруста хлеб к завтраку и тщательно проветривая постельное белье, и могла она выразить свои чувства к человеку столь независимого нрава, который к тому же привык всегда сам о себе заботиться.

Поняв по уже знакомым приметам, что он снова собирается в дорогу, она скрывалась в каком-нибудь чулане или кладовой, подальше от водопроводчика и двух живых свидетельств его любви, и тихо плакала; но при Куртье ей никогда и в голову не приходило выказать свое горе, как не рыдала она в час рождения или смерти или иной великой радости или беды. Она постигла с юных лет, что в жизни самое лучшее - следовать простому глаголу: sto-stare - держаться стойко.

А Куртье для нее был жизнью, самой сутью жизни, средоточием всех устремлений, утренней и вечерней звездой.

Итак, когда спустя пять дней после прощального визита к миссис Ноуэл он спросил свой чемодан слоновой кожи, неизменный спутник его скитаний, она, как всегда, укрылась в чулане, а затем, как всегда, вошла к нему, неся на подносе мешочки с сухими розовыми лепестками и в придачу - записку; Куртье она застала без пиджака: он укладывался.

- Ну-с, миссис Бентон, вот я опять уезжаю!

Миссис Бентон, в чьей внешности и повадках еще сохранилось что-то от маленькой девочки, застенчиво переплела пальцы и ответила грустным, но спокойным голосом:

- Да, сэр. Надеюсь, на этот раз вы не поедете куда-нибудь, где уж очень опасно. По-моему, вы всегда ездите в разные опасные места.

- Еду в Персию, миссис Бентон, - знаете, откуда привозят ковры.

- А... понимаю, сэр. Прачка только что принесла ваше белье.

Словно бы не поднимая глаз, она подмечала ~многое множество мелочей: как растут у него волосы, какая у него спина, какого цвета подтяжки. И вдруг сказала каким-то необычным голосом:

- А у вас не найдется лишней фотографической карточки, сэр? Мистер Бентон только вчера мне говорил: может, говорит, он больше не приедет, а у нас ничего нет от него на память.

- Вот, есть одна старая.

Миссис Бентон взяла фотографию.

- Ничего, - сказала она, - все-таки видно, что это вы. - И, держа карточку, пожалуй, излишне крепко, потому что пальцы ее дрожали, она прибавила: - Тут вам записка, сэр. Посыльный ждет ответа.

Пока он читал записку, она с огорчением заметила, что он весь красный, видно, устал укладывать чемоданы...

Когда Куртье, как просили его в записке, вошел в модную кондитерскую Гастарда, для чая было еще рано, и ему показалось, что здесь пусто; лишь три немолодые женщины перевязывали коробки с конфетами; потом в углу он увидел Барбару. Теперь кровь отхлынула от его лица; бледный, шел он по этой комнате, отделанной под красное дерево и пропитанной запахом свадебного пирога. Барбара тоже была бледна.

Сидеть так близко к ней, что он мог сосчитать все ее ресницы, и вдыхать аромат ее волос и одежды, и слушать, как она, запинаясь, нерешительно и печально рассказывает о Милтоуне, было все равно, что ждать с веревкой на шее и выслушивать, как тебе рассказывают про чью-то зубную боль. Право же, судьба могла бы не подвергать его еще и этому испытанию! И, как назло, ему вспомнилась их прогулка верхом по согретой солнцем вечресковой пустоши, когда он переиначивал старую сицилийскую песню: "Здесь буду я сидеть и петь, держа любимую в объятьях". Нет, теперь ему было не до песен, и любимую он не держал в объятьях. Была перед ним чашка чая, и пахло свадебным пирогом, и минутами доносилось благоухание апельсиновой корки.

- Понимаю, - сказал он, когда Барбара закончила свой рассказ. - "Славно пиршество Свободы!" Вы хотите, чтоб я пошел к вашему брату и начал цитировать Бернса? Вы ведь знаете, он считает меня человеком опасным.

- Да, но он вас уважает, и вы ему нравитесь.

- И мне он нравится, и я тоже его уважаю, - сказал Куртье.

Одна из пожилых женщин прошла мимо с большой белой картонкой в руках; в полной тишине слышалось поскрипывание ее корсета.

- Вы всегда были так добры ко мне, - неожиданно сказала Барбара.

Сердце Куртье дрогнуло и словно перевернулось в груди; не поднимая глаз от чашки с чаем, он ответил:

- Всякий будет любезен с вечерней звездой. Я сейчас же пойду к вашему брату. Когда сообщить вам новости?

- Завтра в пять я буду дома.

- Завтра в пять, - повторил он и встал.

На пороге он обернулся, увидел в ее лице недоумение и едва ли не упрек и угрюмо вышел. Ему все еще мерещился запах свадебного пирога и апельсиновой корки, скрип корсета той женщины, стены под красное дерево; а в душе кипела глухая, подавленная ярость. Почему он не воспользовался нежданным случаем? Почему не решился на страстное объяснение в любви? Не в меру совестливый болван! Да нет, все это вздор. Она слишком молода. Видит бог, он счастлив будет убраться отсюда подальше. Если не уехать, он того и гляди наделает глупостей. Но ее слова "Вы всегда были так добры ко мне" преследовали его; и ее лицо - полное недоумения и упрека. Да, останься он в Лондоне, он неизбежно наделал бы глупостей! Он просил бы ее стать женою человека вдвое старше нее, без всякого положения в обществе, сверх того, какое он сам себе создал, и без гроша за душой. И он просил бы ее об этом так, что ей, возможно, не совсем легко и просто было бы отказать. Он дал бы себе волю. А ей всего двадцать лет, и при всех своих повадках светской женщины она еще просто ребенок. Нет! На сей раз он постарается быть ей полезным, если сумеет, а затем - прочь отсюда!

ГЛАВА XXI

Выйдя из особняка Вэллисов, Милтоун пошел в сторону Вестминстера. Вот уже пять дней, как он вернулся в Лондон, но еще ни разу не переступил порог палаты общин. После затворничества из-за болезни его почти мучительно влекли суета и многолюдье городских улиц. Все увиденное и услышанное он воспринимал с необыкновенной остротой. Львы на Трафальгарской площади и

огромные дома на улице Уайтхолл наполнили его чуть ли не восторгом. Он походил на человека, который после долгого морского плавания наконец увидел вдали землю и, напрягая зрение, едва дыша, одну за другой вновь узнает ее родные черты. Он вступил на Вестминстерский мост и, дойдя до середины, оглянулся назад.

Говорят, любовь к башням Вестминстера входит в плоть и кровь. Говорят, тот, кого они осеняли, никогда уже не будет прежним. Да, это верно, для него - до отчаяния верно. Сам он провел там всего каких-нибудь три недели, но у него было такое чувство, будто он сидел там многие сотни лет. И подумать, что отныне ему уже нет места в этих стенах! В нем поднялось неистовое желание вырваться из пут. Не горько ли оказаться пленником самого сокровенного своего желания - желания власти! Быть не вправе обладать властью, ибо это было бы кощунством! Господи! Это нестерпимо! Он отвернулся от башен и, в надежде рассеяться, стал разглядывать лица прохожих.

Конечно же, каждому из них приходится так или иначе бороться за то, чтобы сохранить уважение к себе. Или, может быть, они и понятия не имеют ни о борьбе, ни о самоуважении и предоставляют все на волю судьбы? На то похоже, судя почти по всем лицам. Он глядел на них, и в нем поднималось врожденное презрение ко всему заурядному и посредственному. Да, похоже, что все они такие! Напрасно он надеялся, что вид этих людей укрепит его в решении пойти на компромисс; вместо этого все его существо лишь еще упорней отказывалось идти на компромисс. Они такие неуверенные, поникшие, ни следа гордости или силы воли, словно они понимают, что жизнь им не по силам, и постыдно мирятся с этим. Они так явно нуждаются в том, чтобы им указывали, что делать и куда идти; они примут это, как принимают свою работу или развлечения. А он отныне лишен права им указывать, - мысль эта неистово терзала его. Они же, в свою очередь, мимоходом поглядывали на высокого человека, прислонившегося к парапету, не ведая, что в эти минуты решается их судьба. В двух-трех прохожих его худое, изжелта-бледное лицо и тревожный, ищущий взгляд, возможно, пробудили интерес или беспокойство; во для большинства он, конечно, был просто обыкновенный встречный, один из многих в уличной сутолоке. У них не было ни времени, ни охоты задумываться над этим изваянием, олицетворявшим собою волю к власти, что бьется в путах своей веры

во власть, ибо не было у них вкуса к трагедии: они не желали видеть муки души, припертой к стене.

Милтоун простоял на мосту до пяти часов, потом прошел, точно изгнанник, мимо враг Церкви и Государства и направился в клуб дяди Денниса. По дороге он послал телеграмму Одри, извещая, в котором часу можно завтра его ждать, а выходя с почты, увидел в соседней витрине несколько репродукций старых итальянских шедевров и среди них боттичеллиево "Рождение Венеры". Он никогда не видел этой картины, но, вспомнив, что Одри называла ее среди своих любимых полотен, остановился взглянуть. Он неплохо разбирался в живописи, как и подобает человеку его круга, но ему не дано было умения покоряться тайной силе искусства, которое, проникая в святая святых души, незаметно подменяет отдельное, замкнутое "я" всеобъемлющим "я" всего мира; и он разглядывал прославленное изображение языческой богини холодно, даже с досадой. Рисунок тела показался ему грубым, а вся картина скучноватой и слишком примитивной, и Флора ему не понравилась. Счастливое спокойствие и -нежность, о которых говорила Одри, оставляли его равнодушным. Потом он поймал себя на том, что смотрит в лицо богини, и медленно, но с какой-то пугающей уверенностью почувствовал, что перед ним сама Одри. Волосы не те золотые, и глаза не те - серые, и губы немного полнее; и однако это ее лицо: тот же овал, те же изогнутые, широко расставленные брови, то же удивительно нежное, неуловимое выражение. И, словно оскорбленный, он повернулся и пошел прочь. В витрине лавчонки он увидел образ той, на которую он променял все в жизни, - воплощение покорной, оплетающей любви, кроткое создание, которое так беззаветно ему отдалось и которое, кроме любви, цветов и Деревьев, птиц, музыки, неба и стремительных ручейков, ничего не требует от жизни; создание, которое, подобно той богине, казалось, само удивляется тому, что живет. И тут в нем вспыхнула искра понимания, поистине неожиданная для человека, столь мало способного читать в чужих сердцах. Зачем эта женщина рождена на свет, место ли ей в этом мире? Но вспышку проницательности тут же погасили болезненно-мучительные мысли о его собственной судьбе, которые теперь ни на час его не оставляли. Что бы там ни было, а с этими мучениями надо покончить! Ну, а что же он теперь станет делать? Писать книги? Но какие книги он может

писать? Только такие, в которых выразятся его гражданские чувства, его политическое и социальное кредо. Но ведь это все равно, что остаться в парламенте! Он никогда не сможет слиться с беспечным племенем служителей искусства - с этими изнеженными и неустойчивыми душами, не признающими никаких преград, которым достаточно понимать, истолковывать и творить. Представить себя среди них? Немыслимо! Пойти в адвокаты... Что ж, допустим. Ну, а дальше? Стать судьей? С таким же успехом можно остаться в парламенте! Начинать дипломатическую карьеру слишком поздно. Военную - тоже, да и не влечет его воинская слава. Похоронить себя в деревне, как дядя Деннис, и управлять одним из отцовских имений? Это ничуть не лучше смерти. Посвятить себя бедным? Быть может, в этом его новое призвание? Но что он станет делать среди бедняков? Устраивать их жизнь, когда он и свою-то не сумел устроить? Или просто служить для них источником денег? Но ведь он убежден, что благотворительность губит страну! Куда ни поверни, всюду преграждает дорогу демон или ангел с обнаженным мечом. И тогда он подумал: раз церковь и государство его отвергают, почему бы не вести себя в новой роли - роли падшего ангела, - как подобает мужчине: стать Люцифером и разрушать! И ему представилось, как он возвращается под эти своды, переходит на другую сторону, присоединяется к революционерам, радикалам, вольнодумцам, бичует свою теперешнюю партию, партию власти и порядка. Но он тут же понял всю нелепость этой идеи и прямо посреди улицы громко расхохотался.

Клуб на улице Сент-Джеймс, членом которого состоял лорд Деннис, был тихой заводью, до которой не докатывались волны моды. Милтоун нашел дядю в библиотеке, он читал путевые записки Бартона и прихлебывал чай.

- Сюда никто не заходит, - сказал он, - так что, несмотря на эту надпись на двери, мы можем поговорить. Пожалуйста, еще чаю, - обратился он к лакею.

Нетерпеливо, но не без сострадания Милтоун смотрел, как изысканно изящно каждое движение лорда Денниса - с трогательной стариковской рачительностью он пытался всему, что делал, придать особое значение, хотя бы в собственных глазах. Что бы ни сказал дядя, уже один его вид - самое убедительное предостережение! Неужели

стать всего лишь наблюдателем, как этот старик, и смотреть, как жизнь проходит мимо, и допустить, чтобы твой меч ржавел в ножнах! Надо было объяснить причину своего прихода, и все существо Милтоуна возмущалось против этого, но он дал слово; и вот, черпая силы в своем затаенном гневе, он начал:

- Я обещал матушке спросить вашего совета, дядя Деннис. Полагаю, вы знаете о моей привязанности?

Лорд Деннис наклонил голову.

- Так вот, я связал свою жизнь с жизнью этой леди. Скандала не будет, но я считаю своим долгом выйти из парламента и отказаться от всякой общественной деятельности. Как по-вашему, прав я или нет?

Лорд Деннис долго молча смотрел на племянника. Его темные от загара щеки чуть порозовели. Казалось, он мысленно перенесся в прошлое.

- Думаю, что не прав, - сказал он наконец.

- Могу я узнать, почему?

- Я не имею удовольствия знать эту леди, поэтому мне затруднительно судить, но, сдается мне, твое решение несправедливо по отношению к ней.

- Не понимаю.

- Ты задал мне прямой вопрос и, очевидно, ждешь прямого ответа?

Милтоун кивнул.

- Тогда, дорогой мой, не пеняй, если мои слова не придутся тебе по вкусу.

- Не буду.

- Хорошо. Ты говоришь, что хочешь отказаться от общественной деятельности, чтобы тебя не мучили угрызения совести. Я не стал бы возражать, если бы на этом все и кончилось.

Он умолк и добрую минуту молчал, видимо, подыскивая слова, чтобы выразить какой-то сложный ход мысли.

- Но этим не кончится, Юстас. Общественный деятель в тебе перевешивает другую сторону твоей натуры. Власть тебе нужнее любви. Твоя жертва убьет твое чувство. То, что кажется тебе твоей утратой и болью, обернется в конце концов утратой и болью для этой леди.

Милтоун улыбнулся.

- Ты со мной не согласен, - сухо, даже почти зло продолжал лорд Деннис, - но я вижу, что подспудно эта перемена уже совершается. В тебе есть что-то иезуитское, Юстас. Если ты чего-нибудь не хочешь видеть, ты я не взглянешь в ту сторону.

- Значит, вы советуете мне пойти на компромисс?

- Напротив, я объясняю тебе, что компромиссом будет попытка сохранить и чистую совесть и любовь. Ты погонишься за двумя зайцами.

- Вот это интересно.

- И не поймаешь ни одного, - резко докончил лорд Деннис.

Милтоун поднялся.

- Иными словами вы, как и все прочие, советуете мне покинуть женщину, которая любит меня и которую я люблю. А ведь говорят, дядя, что вы сами...

Но лорд Деннис тоже встал, и ничто в нем сейчас не напоминало о преклонных летах.

- Сейчас речь не обо мне, - оборвал он. - Я не советую тебе никого покидать, ты меня не понял. Я тебе советую познать самого себя. И высказываю свое мнение о тебе: природа создала тебя государственным деятелем, а не любовником! В твоей душе что-то зачерствело, Юстас, а может быть, это произошло со всем нашим сословием. Мы слишком долго соблюдали условности и ритуалы. Мы разучились смотреть на мир глазами сердца.

- К несчастью, я не могу совершить низость, чтобы подтвердить вашу теорию.

Лорд Деннис зашагал по комнате. Губы его были плотно сжаты.

- Человек, дающий советы, всегда кажется глупцом, - сказал он наконец. - Однако ты меня не понял. Я не настолько бесцеремонен, чтобы пытаться влезть к тебе в душу. Я просто сказал тебе, что, на мой взгляд, куда честнее по отношению к самому себе и справедливее по отношению к этой леди вступить в сделку с совестью и сохранить и любовь и общественную деятельность, нежели притворяться, будто ты способен пожертвовать тем, что в тебе всего сильнее, ради того, что в твоей натуре отнюдь не главное. Ты, верно, помнишь изречение - кажется, Демокрита: нрав человека - его рок. Советую об этом не забывать.

Долгую минуту Милтоун стоял молча, потом сказал:

- Простите, что обеспокоил вас, дядя Деннис. Я не умею сидеть меж двух стульев. До свиданья!

Он круто повернулся и вышел.

ГЛАВА XXII

В холле кто-то поднялся с дивана и шагнул ему навстречу. Это был Куртье.

- Наконец-то я вас поймал, - сказал он. - Давайте пообедаем вместе. Завтра вечером я уезжаю из Англии, а мне надо с вами поговорить.

"Неужели знает?" - промелькнуло в голове Милтоуна. Но он все-таки согласился, и они вместе вышли на улицу.

- Нелегко найти тихое местечко, - сказал Куртье, - но это, кажется, подойдет.

То был ресторанчик при маленькой гостинице, славившийся своими бифштексами, который посещали завсегдатаи скачек; сейчас он был почти пуст. Они уселись друг против друга, и Милтоун подумал: "Конечно же, знает. Но неужели надо вытерпеть еще один такой разговор?" И он чуть не с бешенством ждал нападения.

- Итак, вы решили выйти из парламента? - сказал Куртье.

Несколько мгновений Милтоун молча мерил его взглядом.

- Какой звонарь раззвонил вам об этом? - спросил он наконец.

Но в лице Куртье было столько дружелюбия, что гнев его сразу остыл.

- Я, пожалуй, единственный ее друг, - серьезно продолжал Куртье, - и это для меня последняя возможность... не говорю уже о моем, поверьте, самом искреннем расположении к вам.

- Что ж, я слушаю, - пробормотал Милтоун.

- Простите за прямоту. Но вы когда-нибудь задумывались о том, каково было ее положение до встречи с вами?

Кровь бросилась в лицо Милтоуну, но он только сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладони, и промолчал.

- Да, да, - сказал Куртье. - А меня бесит эта точка зрения... Вы и сами ее придерживались. Либо женщину обязывают похоронить себя заживо, либо обрекают на духовный адюльтер - иначе это не назовешь. Третьего не дано, не спорьте. У вас было право восстать против этой системы не только на словах, но на деле. Вы и восстали, я

знаю; но теперешнее ваше решение - шаг назад. Это все равно, что признать себя неправым.

- Я не могу это обсуждать, - сказал Милтоун и поднялся.

- Вы должны - ради нее. Если вы отречетесь от общественной деятельности, вы еще раз искалечите ее жизнь.

Милтоун вновь опустился на стул. Слово "должны" ожесточило его; хорошо же, он готов все это выслушать! - И в глазах его появилось что-то от старого кардинала.

- Мы с вами слишком разные люди, Куртье. Нам не понять друг друга.

- Это неважно, - возразил Куртье. - Вы признаете, что оба пути чудовищы, чего, впрочем, никогда бы не сделали, не коснись дело лично вас и...

- Вы не имеете права так говорить, - ледяным тоном прервал Милтоун.

- Во всяком случае, вы это признаете. И если вы убеждены, что не вправе были ее спасти, то из какого же принципа вы исходите?

Милтоун облокотился о стол и, подперев ладонью подбородок, молча уставился на рыцаря безнадежных битв. В душе его бушевала такая буря, что ему стоило величайшего труда заговорить: губы его не слушались.

- По какому праву вы меня спрашиваете? - сказал он наконец.

Куртье побагровел и яростно задергал свои огненные усы, но в ответе его, как всегда, звучала невозмутимая ирония:

- Что ж, прикажете мне в последний вечер сидеть смирно и даже пальцем не пошевельнуть, когда вы губите женщину, которая мне все равно, что сестра? Я скажу вам, из чего вы исходите: какова бы ни была власть - справедливая или несправедливая, желанная или нежеланная, подчиняйся ей беспрекословно. Преступить закон - неважно, почему или ради кого, - все равно, что преступить заповедь...

- Не стесняйтесь, говорите - заповедь божью?

- Непогрешимой власти предержащей. Правильно я определяю ваш принцип?

- Пожалуй, да, - сквозь зубы ответил Милтоун.

- Исключения лишь подтверждают правило.

- А в трудных тяжбах винят закон.

Куртье усмехнулся.

- Так я и знал, что вы это скажете. Но в данном случае закон и в самом деле безнадежно плох. Вы имели право спасти эту женщину.

- Нет, Куртье, если уж воевать, давайте воевать, опираясь на бесспорные факты. Я никого не спасал. Просто я предпочел украсть, чтобы не умереть с голоду. Вот почему я не могу притязать на право быть примером. Если бы это выплыло наружу, я бы и часу не продержался в парламенте. Я не могу пользоваться тем, что случайно это пока никому не известно. А вы бы могли?

Куртье молчал, а Милтоун так впился в него глазами, словно хотел убить взглядом.

- Я бы мог, - ответил наконец Куртье. - Раз закон приводит тех, кто возненавидел своего мужа или жену, к духовному адюльтеру, то есть нарушает святость брака - ту самую святость, которую он якобы охраняет, надо быть готовыми к тому, что мыслящие мужчины и женщины будут нарушать его, не утрачивая при этом самоуважения.

В Милтоуне пробуждалась неодолимая страсть к острым словесным битвам, которая была у него в крови. Он даже, казалось, забыл, что речь идет о его собственной судьбе. В его полнокровном собеседнике, который спорил так горячо, воплотилось вое, с чем он органически не мог и не желал мириться.

- Нет, - сказал он, - это все какая-то извращенная логика. Я не признаю за человеком права быть судьей самому себе.

- Ага! Вот мы и подошли к главному. Кстати, не выбраться ли нам из этого пекла?

Оки вышли на улицу, где было прохладнее, и тотчас Куртье заговорил снова:

- Недоверие к человеческой природе и страх перед нею - вот на чем! основана деятельность людей вашего склада. Вы отрицаете право человека судить самого себя, ибо не верите, что по сути своей человек добр; в глубине души вы убеждены, что он зол. Вы не даете людям воли, ничего не позволяете им, потому что уверены: их решения приведут их не вверх, а вниз. Тут-то и кроется коренная разница между аристократическим и демократическим отношением к жизни. Как вы однажды сами мне сказали, вы ненавидите толпу и боитесь ее.

Милтоун с неодобрением смотрел на уверенное, оживленное лицо противника.

- Да, - сказал он, - вы правы. Я считаю, что людей надо вести к совершенству насильно, наперекор их природе.

- Вы, по крайней мере, откровенны. Кто же должен их вести?

В груди Милтоуна опять начало закипать бешенство. Сейчас он прикончит этого рыжего бунтаря, И он ответил со свирепой насмешкой:

- Как ни странно, то существо, которое вы не желаете упоминать, - через посредство лучших.

- Верховный жрец! Взгляните-ка, вон девушка жмется к стене и поглядывает на нас; если бы вы не отстранялись брезгливо, а подошли и заговорили с нею, заставили бы ее открыть вам, что она думает и чувствует, вас бы многое поразило. В основе своей человечество прекрасно. И оно идет к совершенству, сэр, силой собственных устремлений. Вы ни разу не замечали, что чувства народные всегда опережают закон?

- И это говорите вы, человек, который никогда не принимает сторону большинства!

Рыцарь безнадежных битв отрывисто засмеялся.

- "Никогда" - это слишком сильно сказано. Все меняется, и жизнь не свод правил, вывешенных в канцелярии. Куда это нас с вами занесло?

Им преградила дорогу толпа на тротуаре перед Куинс-Холл.

- Не зайти ли? Послушаем музыку и дадим отдых языкам.

Милтоун кивнул, и они вошли.

Сияющий огнями зал был набит до отказа и весь курился синеватыми дымками сигар.

Заняв место среди бесчисленных соломенных шляп, Милтоун услышал позади насмешливый голос Куртье:

- Profanum vulgus! {Чернь (лат).} Пришли послушать прекраснейшую музыку на свете! Простонародье, которое, повашему, не понимает, что для него хорошо, а что плохо! Плачевное зрелище, правда?

Милтоун не ответил. Первые неторопливые звуки Седьмой симфонии Бетховена уже пробивались сквозь строй цветов на краю эстрады, и, если не считать голубоватых дымков - как бы фимиама, что курился в честь бога мелодии, - весь зал замер, словно один ум, одна душа скрывались за всеми этими бледными лицами,

обращенными к музыке, которая нарастала и гасла, точно вздохи ветра, приветствуя несущихся из глубины времен освобожденных духов красоты.

Едва симфония отзвучала, Милтоун повернулся я вышел.

- Что ж, - раздался за его спиной голос Куртье, - теперь вы, надеюсь, видите, как все растет и совершенствуется, как чудесен мер?

Милтоун улыбнулся.

- Я вижу лишь, какой прекрасный мир может создать великий человек.

И вдруг, словно под напором музыки в душе его прорвалась какая-то плотина, он разразился потоком слов:

- Посмотрите на эту толпу, Куртье: нигде в мире нет толпы, которую так спокойно можно бы предоставить самой себе; здесь, в сердце величайшего, благополучнейшего в мире города, она ограждена от чумы, землетрясений, циклонов, засухи, от нестерпимой жары и леденящего холода, - и однако, видите, вот он, полисмен! Какой бы свободной и безобидной она ни казалась, как бы мирно ни была настроена, в ней всегда есть и должна быть какая-то сдерживающая сила. Откуда исходит эта сила? Вы говорите: из самой толпы. Я отвечаю: нет. Оглянитесь назад, на истоки человеческих сообществ. С самых первых шагов бессознательными орудиями власти, сдерживающего и направляющего начала, божественной силы оказывались лучшие люди. Такой человек, ощутив в себе мощь - поначалу физическую, - пользовался ею, чтобы захватить первенство, и с тех пор удерживает его и должен удерживать всегда. Все эти ваши выборы, так Называемые демократические органы - лишь отговорка для вопрошающих, подачка голодному, бальзам, утоляющий гордость бунтаря. Это не более как видимость, иллюзия, они не могут помешать лучшим людям достичь полноты власти: ибо такие люди ближе всего к божеству и раньше и лучше всех улавливают исходящие от него волны. Я говорю не о наследственных правах. Лучший - не обязательно тот, кто принадлежит к моему сословию, во всяком случае, я не думаю, чтобы в моем сословии лучшие люди появлялись чаще, чем в других.

Он замолчал так же внезапно, как начал.

- Не беспокойтесь, - сказал Куртье, - я вовсе не считаю вас человеком! заурядным. Просто мы с вами на разных полюсах, и скорее

всего оба далеки от истины. Но миром правит не сила и не страх перед этой силой, как думаете вы; миром правит любовь. Общество держится врожденной порядочностью человека, содружеством людей. В сущности, это и есть презираемый вами демократизм. Человек, предоставленный самому себе, стремится ввысь. Будь это не так, ваши полицейские ни за что бы не могли блюсти порядок. Человек интуитивно знает, что можно делать и чего нельзя, не теряя уважения к себе. Он впитывает это знание с каждым вдохом. Законы и власть - это еще далеко не все, это лишь механизмы, трубопроводы, подъездные пути, словом, вспомогательные средства. Это не само здание, а лишь строительные леса.

- Без которых не построишь ни одного здания, - возразил Милтоун.

- Да, милый друг, но это далеко не одно и то же, - отпарировал Куртье. - Леса снимают, как только в них отпадает надобность, и открывается сооружение, которое берет начало на земле, а отнюдь не в небе. Все леса закона возводятся лишь для того, чтобы сэкономить время и предохранить храм, пока его строят, сберечь верность и чистоту его линяй.

- Нет, - сказал Милтоун, - нет! Леса, как вы их называете, - это материальное воплощение воли зодчего, без них не воздвигается и не может быть воздвигнут храм; и зодчий этот - сам всевышний, передающий волю свою через тех, чей ум и душа всего ближе к нему.

- Наконец-то мы добрались до самой сути! - воскликнул Куртье. - Ваш бог вне нашего мира. Мой - внутри.

- И им никогда не встретиться!

Только теперь Милтоун заметил, что они вышли на Лестер-сквер - здесь стояла тишина, театры еще не успели извергнуть шумные толпы; но в тишине этой было ожидание, фонари, точно приспущенные с темного неба желтые звезды, жались к белым стенам мюзик-холлов и кафе, и в их трепетном сиянии недвижная листва платанов казалась совсем светлой.

- Невинная распутница - вот что такое эта площадь! - сказал Куртье. Изменчивая, точно лицо женщины, всегда прекрасная в своей сомнительной прелести! Но, черт возьми, если заглянуть поглубже, и здесь тоже есть добродетель.

- И порок, но его вы не желаете замечать, - сказал Милтоун.

Он вдруг очень устал, ему хотелось поскорей добраться до дому, и уже не было охоты продолжать спор, который не принес ему ни малейшего облегчения. А Куртье все говорил, и он с трудом: заставил себя прислушаться.

- Давайте прогуляем всю ночь, ведь завтра нам конец... Вы хотели бы обуздать распущенность извне, я - изнутри. Если бы, просыпаясь и засыпая, глядя на человека, на дерево или цветок, я не чувствовал бы, что созерцаю само божество, я распрощался бы с этим многоцветным миром хотя бы из одной только скуки. Вы же, как я понимаю, можете взирать на своего бога, лишь удалившись куда-нибудь на вершины. Но не одиноко ли там?

Милтоун ие ответил, и некоторое время они шли молча. И вдруг он не выдержал:

- Вы говорите, тирания! Какая тирания может сравниться с вашей пресловутой свободой? Что может быть хуже тирании этой "свободной" грязной, узкой улицы с бесчисленными газетами на каждом углу? Она кишит, суетится, точно муравейник, а для чего? Это детище вашей свободы, Куртье, не способно ни на восторг, ни на самообуздание, ни на жертву, оно признает лишь куплю-продажу да распущенность.

Минуту Куртье молчал, и Милтоун повернул в сторону реки, прочь от высоких домов, к освещенным окнам которых он только что обращал свои речи.

- Нет, - услышал он, - в чем бы ни была грешна эта улица, на ней дует свежий ветер, здесь тоже все может перемениться. Господи, да по мне лучше самые слабые звезды, что пробиваются в темном небе, чем все ваше распрекрасное искусственное освещение!

И вдруг Милтоуну показалось, что его вечно будет преследовать этот голос - от него не уйти, нечего и пытаться.

- Мы повторяемся, - сухо сказал он.

Безмолвно, медлительно, точно отдыхая, река катила свои черные воды, слабо освещенные неполной луной. Окутанные тьмой, громоздились на другом берегу краны, высокие строения, пристани; спали, уткнувшись в него, баржи; несметное множество загадочных темных силуэтов жило какой-то своей, напряженной жизнью. Там все полно было странной, величавой красоты. А фонари - жалкие цветы ночи - осыпали могучую спокойную подругу человека лепестками

бледного сияния, и с запада веял благоухающий ветерок, пока еще слабый, неся трепет и аромат несчетных деревьев и полей, которым река, скользя мимо, дарила свою ласку. Она текла почти беззвучно, слышался лишь еле уловимый ропот, точно сердце шептало сердцу.

Потом раздались всплески весел и скрип уключин. И под самым берегом промелькнул маленький тупоносый ялик с двумя гребцами.

- Итак, "завтра нам конец"? - оказал Милтоун. - Вы, очевидно, хотите сказать, что общественная деятельность нужна мне как воздух и отказ от нее для меня равносилен смерти?

Куртье кивнул.

- На этот крестовый поход вас благословила моя младшая сестра, правда?

Куртье не ответил.

- Итак, - продолжал Милтоун, пронизывая его взглядом, - завтра и ваш последний день? Что ж, вы правы, что уезжаете. Она отнюдь не гадкий утенок, который сумеет жить вне привычного общественного пруда; ей всегда будет недоставать родной стихия. А теперь простимся! Что бы ни случилось с нами обоими, этот вечер я не забуду. - Он с улыбкой протянул руку. Moriturus te saluto {Идущий на смерть приветствует тебя (лат.).}.

ГЛАВА XXIII

Дожидаясь условленных пяти часов, Куртье сидел в Хайд-парке.

День, обещавший поутру быть пасмурным, посветлел, словно за долгое жаркое лето воздух слишком накалился, чтобы уступить первой же атаке ненастья. Солнце, пробиваясь сквозь кудрявые облачка, подобные перьям на груди нежных голубок, пронзало своими лучами яркие листья и осыпало землю их мягкими тенями. Впервые, и словно бы слишком рано, стал ощутим щемящий душу аромат листвы, готовой вот-вот облететь. Загрустившие птицы настраивали свои свирели на осенний лад, но еще нет-нет да и сбивались на весенние гимны свободе.

Куртье думал о Милтоуне и его возлюбленной. Что за прихоть судьбы свела этих двух людей? К чему приведет их любовь? Семена скорби уже посеяны; что вырастет из них: цветы беспросветного горя или мятежа? Он мысленно вдруг увидел Одри задумчивой, мечтательной девочкой с кроткими, широко расставленными глазами под темными дугами бровей, с ямочкой в уголке рта, которая

появлялась всякий раз, как он ее поддразнивал. И такому нежному созданию, которое скорее умрет, чем навяжет кому-либо свою волю, суждено было полюбить именно такого человека! Этого аристократа по натуре и по рождению, с душой, иссушенной лихорадочным жаром, вскормленного и воспитанного для служения власти, который отрицает единство всего живого и поклоняется древнему богу. Богу, который бичом учит людей послушанию. Бога этого Куртье еще и сейчас помнил взирающим со стен детской. В этого бога верил его отец. Это бог Ветхого завета, не ведающий ни жалости, ни понимания. Как странно, что он все еще жив, что тысячи людей и по сей день поклоняются ему! А впрочем, не так уж странно - ведь говорят, что человек сотворил бога по своему образу и подобию! Да, удивительное получилось сочетание того, что философы назвали бы волей к любви и волей к власти!

Солдат с девушкой подошли и сели на соседнюю скамью. Они искоса поглядывали на подтянутого, хорошо одетого господина с воинственным лицом; но что-то неуловимое подсказало им, что он не из опасного племени офицеров, и тогда они перестали его замечать и предались безмолвному, невыразимому словами блаженству. Они сидели рука в руке, тесно прижавшись друг к другу, и Куртье залюбовался ими: вид людей, так самозабвенно отдающихся минуте, никогда не оставлял равнодушным этого человека, в чьих жилах текла слишком горячая кровь, чтобы он мог надолго задумываться о будущем или долго предаваться воспоминаниям.

Желтый лист, разомлевший под солнцем, сорвался с сучка над головой Куртье и упал к его ногам. Как быстро они увядают!

Не характерно ли: он, который всегда так горячо принимал сторону тех, кто проигрывает, сидя здесь за полчаса до того, как сам должен был окончательно проиграть, оставался совсем спокоен, чуть ли не равнодушен. Равнодушен отчасти потому, что унывать он был не способен и жизнь тщетно пыталась заставить его хоть раз пасть духом; а отчасти в силу неизлечимой привычки не дорожить собой и своей удачей.

Ему все еще не верилось, что он потерпит поражение и вынужден будет признаться самому себе, что все последнее время страстно мечтал об этой девушке, а завтра всему конец - она будет так далека от него, словно он никогда ее и не видел. И это было не смирение, нет,

просто он не способен был добиваться чего-нибудь для себя. Вот если бы это касалось кого-то другого! Как храбро он кинулся бы на приступ - и уж наверно пленил бы ее! Если бы только он сам мог оказаться этим другим, с какой легкостью, как пылко полились бы из его уст все те слова, которые просились на язык с той самой минуты, как он впервые увидел ее, и прозвучали бы так нелепо и недостойно, скажи он их ради себя! Да, ради другого он вынес бы ее из-под неприятельских пуль; уж он бы захватил эту прекраснейшую в мире добычу.

Так он сидел с видом странно веселого равнодушия, которое, пожалуй, сродни отчаянию, и смотрел, как срываются и падают листья, и время от времени взмахом палки рассекал воздух, в котором уже чувствовалось дыхание осени. Ему чудилось, будто он увлекает ее в глушь, в пустыню, и своей преданностью делает ее день ото дня счастливее, и, понимая, как далеко занесся он в мечтах, он невольно усмехался, а раза два крепко стиснул зубы.

Солдат с девушкой поднялись и пошли по аллее для верховой езды. Он смотрел, как медленно удаляются освещенные солнцем две фигуры - алая и синяя, потом их заслонила другая пара. Весело было смотреть, как приближаются эти двое - рослые, статные, как высоко они держат головы, как Поворачиваются друг к другу, обмениваясь словом или улыбкой. Даже издали было ясно, что они принадлежат к высшему свету: в их походке чувствовалось почти вызывающее спокойствие людей, которым неведомы сомнения и заботы, уверенных в окружающем мире и в самих себе. На девушке было золотисто-коричневое платье в тон волосам и шляпа того же цвета, и солнце, посылая лучи ей вслед, окутало ее сияющим ореолом. И вдруг Куртье узнал эту пару!

Ни единым звуком или движением он не выдал своего присутствия, лишь невольно скрипнул зубами, к они прошли мимо, не заметив его. Если не слова, то голос ее он слышал отчетливо. Он видел, как она взяла Харбинджера под руку и тотчас его отпустила. Усмешка, о которой он и не подозревал, тронула губы Куртье. Он встал, встряхнулся, точно пес после трепки, и, плотно сжав губы, пошел прочь.

ГЛАВА XXIV

Оказавшись одна в пустой кондитерской, уставленной столиками красного дерева, где вкусно пахло свадебным пирогом и апельсиновой коркой, Барбара сидела некоторое время, не поднимая глаз, точно ребенок, у которого отняли игрушку, не умея сразу разобраться в своих чувствах. Потом расплатилась с немолодой официанткой и вышла на площадь. Духовой оркестр исполнял делибовскую "Коппелию", и загубленная столь малоподходящим исполнением мелодия преследовала ее всю дорогу.

Она пошла прямо домой. В комнате, где три часа назад ее оставили после обеда наедине с Харбинджером, в оконной нише сидела явно расстроенная Агата. Уже целый час она не находила покоя. Зайдя с Энн в кондитерскую, где можно было купить особый сорт тянучек, по ее мнению, наиболее полезный для детей, она занялась покупкой и вдруг заметила, что Энн стоит как вкопанная, раскрыв рот и устремив дерзкий носик в глубь кафе; проследив за ее удивленным, вопрошающим взглядом, Агата, к своему изумлению, увидела Барбару с мужчиной, в котором тотчас узнала Куртье. С похвальной решительностью она сунула Энн в рот тянучку, распорядилась, чтобы остальное прислали на дом, и, взяв девочку за руку, вышла на улицу. Беда никогда не приходит одна: едва переступив порог дома, Агата услышала от отца, к чему привел роман Милтоуна. Барбара застала сестру искренне удрученной и расстроенной: она никак не могла решить, надо ли рассказать родителям о том, чему она была свидетельницей, но в то же время была возмущена до глубины души, как может быть возмущена преданная семье женщина, увидев попранными все свои идеалы.

Поняв по лицу сестры, что она, очевидно, узнала о Милтоуне, Барбара сказала:

- Итак, мой ангел, меня ждет выговор?

- По-моему, ты сошла с ума. Зачем ты привела к нему миссис Ноуэл? холодно ответила Агата.

- Женщина непременно должна быть чуточку сумасшедшей, - словно про себя сказала Барбара.

Агата молча посмотрела на нее.

- Не могу тебя понять, - сказала она наконец. - Ты ведь не глупая!

- Нет, но хитрая.

- Может быть, тебе и весело, когда рушится вся жизнь Милтоуна, пробормотала Агата. - А мне нет.

Глаза Барбары сверкнули.

- Мир не ограничивается детской, мой ангел, - холодно ответила она.

Агата поджала губы, всем своим видом говоря: "И это очень жаль", - но сказала только:

- Ты, наверно, не знаешь, что я сейчас видела тебя в кондитерской Гастарда.

Мгновение Барбара изумленно смотрела на нее, потом рассмеялась.

- Вот оно что! - сказала она. - Какая чудовищная безнравственность!.. Бедный старик Гастард!

И все еще смеясь злым смехом, повернулась и вышла.

За обедом и после него весь вечер она была молчалива, и с лица ее не сходило выражение, какое бывало у нее обычно на охоте, особенно в трудные минуты, когда она боялась упустить дичь. Оставшись наконец одна в своей комнате, она испытала страстное желание досадить кому-нибудь, хоть бы и самой себе, чтоб отвести душу. Ложиться не стоило: в таком настроении ни за что не уснуть, только изведешься, ворочаясь с боку на бок. Не ускользнуть ли из дому? Это было бы забавно, и она досадила бы им всем; но нет, это не так-то просто. Ее могут увидеть, поднимется шум, это слишком унизительно. А что если выбраться на крышу башни? Однажды в детстве она уже это проделала. Там свежий воздух, там можно дышать, можно избавиться от владеющего ею беспокойства. Со злым удовольствием балованного ребенка, решившего всех наказать, она оставила дверь своей комнаты настежь - пусть горничная увидит, что ее нет, и встревожится, и растревожит их всех. Через залитую лунным светом галерею предков она выскользнула на площадку за отцовским кабинетом, откуда каменная узкая лестница вела на крышу, и стала по ней взбираться. Казалось, ступенькам не будет конца, но вот они все же позади; тяжело дыша, она стоит на крыше в северном конце дома, а земля далеко внизу, в добрых ста футах. От этой высоты у нее слегка закружилась голова, и она постояла, вцепившись в перила, идущие по самому краю плоской крыши, все еще поглощенная своими бунтарскими мыслями. Но постепенно картина, открывшаяся взору,

захватила ее. Вознесенная высоко над всеми соседними домами, она была почти испугана величием увиденного. Город в вечернем убранстве, такой далекий и таинственный, такой ослепительный и живой, сверкающий мириадами золотых цветов огня, что распустились на его лиловых холмах и в долинах, город, из чьих недр доносится непрестанный глухой ропот, - неужели это тот Лондон, по которому она шла всего несколько часов назад! Великий, тоскующий дух его всплыл над погруженным в сон телом и низко парил над ним, искушая Барбару своей таинственной прелестью. Она поглядела в другую сторону: ей хотелось охватить взором всю эту поразительную панораму - от черных аллей Хайд-парка, раскинувшегося прямо перед нею, до белого, точно припудренного призрака церкви вдали, на востоке. Чудо как хорош этот ночной город! И перед лицом этого гигантского, полного беспокойных мыслей прекрасного творения рук человеческих она почувствовала себя маленькой и робкой, как тогда, в предрассветный час, у бескрайнего, объятого тьмой моря. Вон там смутно виднеются здания Пикадилли, а за ними дворцы и башни Вестминстера и Уайтхолла; и повсюду под темно-фиолетовым небом завораживает глаз хаос темных силуэтов и бледных извилистых цепочек света. А здесь, совсем близко, ясно видны все еще освещенные окна, автомобили, скользящие меж домов, на самом дне, и даже крохотные фигурки пешеходов; и не верится, что каждая фигурка - такой же человек, как и она, со своей жизнью, со своими мыслями и чувствами. Испив из этого волшебного кубка, Барбара ощутила странное опьянение и уже не казалась себе маленькой и ничтожной; скорее наоборот, она обрела силу, как тогда во сне в Монкленде. Как и великий город там, внизу, она точно вырвалась из своего тела, чтобы не ощущать никаких преград блаженно парить, словно растворяясь в воздухе. Казалось, она слилась воедино с освобожденным духом города, погруженного в созерцание своего великолепия. Потом и это ощущение исчезло - она стояла, хмурясь и зябко вздрагивая, хотя ветер, дувший с запада, был совсем теплый. Что за нелепая причуда забираться на крышу! Она тихонько спустилась и уже на пороге галереи услышала удивленный возглас матери:

- Это ты, Бэбс?

Обернувшись, она увидела леди Вэллис в дверях кабинета.

Барбара тотчас овладела собой и, готовая к отпору, молча смотрела на мать.

- Не войдешь ли на минутку, дорогая? - неуверенно предложила леди Вэллис.

В комнате, где все было создано для удобства и покоя, стоял спиной к камину лорд Вэллис, и лицо его выражало обиду и решимость. Сомнения Агаты, надо ли сказать родителям о встрече у Гастарда, разрешились самым жестоким образом: дождавшись первой же паузы в разговоре взрослых, Энн объявила:

- А мы видели в кондитерской тетю Бэбс с мистерам Куртье, только мы с ними не поздоровались.

Леди Вэллис весь день была подавлена объяснением с Милтоуном, и обычное savoir faire {Находчивость (франц.).} ей изменило. На сей раз она не могла не поделиться с мужем. Подобная встреча в кондитерской, знаменитой разве что свадебными пирогами, - в сущности, пустяк; но оба были уже расстроены решением Милтоуна, и выходка Барбары показалась им зловещей, точно само небо вознамерилось погубить их семью. Лорд Вэллис был оскорблен в своих лучших чувствах: ведь он всегда так восхищался младшей дочерью; притом жена уже с месяц назад предостерегала его, а он так легкомысленно отнесся к ее словам... И, однако, сколько они ни толковали меж собой, они пришли лишь к тому, что леди Вэллис надо поговорить с Барбарой. Не обладая особой чуткостью, супруги были в достаточной мере наделены здравым смыслом и хорошо понимали, что перечить Барбаре опасно. Это не помешало лорду Вэллису весьма резко высказаться по адресу "этого субъекта без стыда и совести" и составить свой тайный план действий. Леди Вэллис, которая знала дочь куда лучше и, как всякая женщина, была куда снисходительнее к мужчинам, хоть и не собиралась оправдывать Куртье, но про себя подумала: "Бэбс - ужасная кокетка", - ибо прекрасно помнила, какою была сама в молодые годы.

Столь неожиданно призванная к ответу, Барбара крепко сжала губы и с невозмутимым видом остановилась у отцовского письменного стола.

Застигнутый врасплох ее появлением, лорд Вэллис инстинктивно перестал хмуриться; долгий опыт политика и дипломата помог ему принять вид невозмутимый и бесстрастный, который никак не

соответствовал его чувствам. Он предпочел бы оказаться лицом к лицу с враждебно настроенной чернью, чем столкнуться по такому поводу со своей любимицей. Хоть он этого и не сознавал, в его смуглом от загара лице с жесткими седеющими усами, в самой посадке головы было сейчас больше истинно военного, чем обычно. Веки чуть опустились, брови слегка поднялись.

Перед тем, как взобраться на крышу, Барбара поверх вечернего платья накинула голубую накидку, и он невольно ухватился за этот пустяк, чтобы начать разговор.

- А, Бэбс! Ты выходила из дому?

Она вся насторожилась, но сдержала внутреннюю дрожь и ответила спокойно:

- Нет, только на крышу башни.

И не без злорадства заметила, что отец, несмотря на полную достоинства осанку, явно растерялся. Лорд Вэллис почувствовал в ее тоне скрытую насмешку и сказал сухо:

- Любовалась звездами?

И вдруг со свойственной ему порывистой решимостью, точно ему несносно стало тянуть и медлить, прибавил:

- Я не уверен, знаешь ли, что это очень разумно - назначать свидания в кондитерской, когда Энн в Лондоне.

Опасная искорка, блеснувшая в глазах Барбары, ускользнула от его внимания, но леди Вэллис ее заметила и поспешила вмешаться.

- У тебя, конечно, были самые веские причины, дорогая.

Губы Барбары скривились в загадочной усмешке. Не будь тягостного разговора с Милтоуном, не будь родители не на шутку встревожены, они бы несомненно поняли, что, когда дочь в таком настроении, чем меньше будет сказано, тем лучше. Но оба слишком переволновались, и лорд Вэллис не сдержался.

- Ты, видно, не считаешь нужным объяснять свои поступки, - сказал он с плохо скрытым раздражением.

- Нет, - ответила Барбара.

- Гм... понимаю. Объяснения можно будет, разумеется, получить у джентльмена, который столь возомнил о себе, что посмел это предложить.

- Это не он предложил, а я.

Брови лорда Вэллиса поднялись еще выше.

- Вот как!

- Джефри, - негромко сказала леди Вэллис, - лучше я сама поговорю с Бэбс.

- Это было бы куда разумнее.

У Барбары, которой впервые в жизни выговаривали всерьез, было чрезвычайно странное ощущение - точно в тело ее вонзались острые когти; ей было и тошно, и в то же время словно бес в нее вселился. Она готова была убить отца. Но она опустила глаза и ничем не выдала обуревавших ее чувств.

- Дальше что? - спросила она.

Челюсть лорда Вэллиса вдруг выдвинулась вперед.

- Если вспомнить о твоей роли в истории с Милтоуном, эта новая выходка особенно очаровательна.

- Дорогой мой, - поспешила вмешаться леди Вэллис, - Бэбс мне все расскажет. Это просто пустяки, я уверена.

- Дальше что? - снова прозвучал спокойный голос Барбары.

При этих повторенных ледяным тоном словах лорду Вэллису едва окончательно не изменила сохраняемая с величайшим трудом выдержка.

- От тебя ничего, - с убийственной холодностью ответил он. - Я буду иметь честь высказать этому джентльмену, что я о нем думаю.

Барбара внутренне подобралась и посмотрела сперва на отца, потом на мать.

Этот взгляд при всей его ледяной твердости был так красноречив, что и лорду и леди Вэллис стало не по себе. Словно дочь сорвала с них маски благовоспитанности и обнажила подлинные лица людей, столь давно привыкших быть довольными собой, что они утратили гибкость, широту я стали куда более заурядными, чем сами подозревали. Страшная то была минута! Наконец Барбара сказала:

- Если от меня больше ничего не требуется, я пойду спать. Спокойной ночи!

И вышла с таким же невозмутимым видом, как вошла.

Оказавшись у себя в комнате, она заперлась, сбросила накидку и поглядела в зеркало. Ей было приятно увидеть, что зубы ее крепко сжаты, тяжело вздымается и опускается грудь, и глаза точно пронзают насквозь.

"Ну хорошо же, мои дорогие! - думала она. - Хорошо же!"

ГЛАВА XXV

С этим чувством обиды и возмущения она и уснула. И, как ни странно, приснился ей не тот, кого она в душе так яростно защищала, а Харбинджер. Ей привиделось, что она в заточении, лежит в темнице, убранной, как гостиная в Приморском! домике, а в соседней темюице, в которую ей каким-то образом удается заглянуть, вонзается ногтями в стену Харбинджер. Она ясно видела поросшие волосами кисти его рук, слышала его дыхание. Отверстие в стене становилось все шире и шире. Сердце Барбары неистово заколотилось, и она открыла глаза.

Она встала со злой решимостью ничем не выказывать своего бунта, весь день вести себя так, словно ничего не случилось, обмануть их всех, а потом... что именно значило это на потом", она не объясняла даже самой себе.

В соответствии с этим планом она вышла к завтраку безмятежно спокойная, покаталась верхом с Энн, а потом с матерью ездила по магазинам. Из-за неожиданного решения Милтоуна отъезд в Шотландию откладывался. Хладнокровно и искусно Барбара отражала все попытки леди Вэллис завести разговор о свидании в кондитерской, и о брате тоже не желала говорить; но в остальном она была такая же, как всегда. Среди дня она вызвалась сопровождать мать к старой леди Харбинджер, жившей по соседству с Принс-Гейт. Там наверняка будет и Клод; она думала об этом не без злорадства; ведь в пять у нее свидание с тем, другим. Как ловко она сумела отвести им всем глаза! Там, чувствуя себя великим мастером интриги, она сказала Харбинджеру так, чтобы леди Вэллис тоже слышала, что идет домой пешком и он может проводить ее, если хочет. Он, разумеется, хотел.

Но стоило ей ощутить на лице предвечернюю свежесть, легкий, юго-западный ветерок в ласковой тени деревь, и ее мятежного безрассудства как не бывало: она вдруг почувствовала себя счастливой, доброй, и так приятно было, что рядом идет Клод. Он тоже в этот день был весел, словно решил не портить ей настроение; и она была благодарна ему за это. Раз-другой, когда ей хотелось, чтобы он поглядел на птиц или на деревья, она даже дружески брала его за рукав и после долгих часов горечи радовалась возможности дарить счастье. Расставшись с ним у особняка Вэллисов, она поглядела ему вслед со странной, чуть ли не печальной улыбкой, ибо настал урочный час.

Она уселась ждать в маленькой уединенной приемной, сверкающей белыми панелями и полированной мебелью. Отсюда была видна аллея, ведущая к дому: Барбара хотела встретить Куртье в холле как бы случайно. Она волновалась и слегка презирала себя за это. Она думала, что он будет точен, но вот уже шестой час; скоро ей стало не по себе; да ведь это просто смешно - сидеть в комнате, куда никто никогда не заходит. Она подошла к окну и выглянула.

- Тетя Бэбс! - вдруг послышалось у нее за спиной. Обернувшись, она увидела Энн, которая смотрела на нее своими широко раскрытыми, ясными карими глазами. Барбара невольно поежилась.

- Это твоя комната? Какая хорошенькая комната, правда?

- Правда, Энн.

- Да. А я еще никогда тут не была. Кто-то пришел. Ну, мне пора.

Барбара машинально прижала ладони к щекам и вместе с племянницей быстро вышла в холл. И Уильям, лакей, тотчас подал ей записку. Она посмотрела на надпись. От Куртье. И пошла обратно в приемную. Из-за неплотно прикрытой двери она видела Энн - расставив ножки, держась за низко повязанный поясок и задрав дерзкий носишко, девочка смотрела на Уильяма. Барбара захлопнула дверь, сломала печать и прочла:

"Дорогая леди Барбара,

с огорчением сообщаю Вам, что мой разговор с Вашим братом ни к чему не привел.

Мне случилось только что сидеть в Парке, и я хочу, на прощание пожелать Вам всяческого счастья. Знакомство с Вами было для меня величайшей радостью. Я всегда буду думать о Вас с гордостью, и воспоминание о Вас поможет мне верить, что жизнь хороша. Если на душе у меня вдруг станет темно, я вспомню, что в этом мире живете Вы. С глубоким почтением я снимаю шляпу перед красотой и счастьем, благодарный за то, что был удостоен Вашего внимания. Итак, прощайте, и да благословит Вас бог.

Ваш покорный слуга

Чарлз Куртье".

Щеки ее горели, с губ слетали быстрые вздохи; она принялась было перечитывать письмо, но так и не кончила: туман застлал ей глаза. Будь в этом письме хоть слово жалобы или сожаления! Нет, она не допустит, чтобы он так уехал: не простясь, не выслушав ее

объяснений. Не должен он думать, что она холодная, бессердечная кокетка и просто хотела поиграть им недельку-другую. Она непременно объяснит ему, что он ошибается. Она заставит его понять, что он не так о "ей подумал... что ей хотелось... хотелось... В голове у нее все перепуталось. "Что же это такое? - думала она. - Что я натворила?" И в гневе на самое себя она, скомкав, сунула письмо в перчатку и выбежала из дому. Она быстро пошла к Пикадилли и дальше, через улицу, в Грин-парк. Здесь она чуть не столкнулась с лордом Мэлвизином, который неторопливо шел с приятелем к Хайдпарку, и едва им кивнула. Сейчас ей тошно было смотреть на этих вылощенных, холеных мужчин. Ей хотелось бежать, лететь на это свидание: надо поскорей переубедить его, ведь он, конечно, уверен, будто она, Барбара Карадок, пошлая пожирательница сердец, низкая обманщица и кокетка! А его письмо - без тени упрека! Лицо ее так пылало, что она невольно пыталась укрыть его от прохожих.

До его дома было уже совсем недалеко, и она пошла медленнее, заставляя себя думать о том, как же ей себя вести и чего она от него хочет. Но она все так же решительно шла вперед. Она не отступит... чем бы это ни кончилось! Сердце ее трепетало, потом, кажется, совсем перестало биться и снова затрепетало. Она стиснула зубы; в ней поднималась какая-то отчаянная веселость. Да, это настоящее приключение! И тут на нее нахлынуло чувство, которое она испытала тогда на крыше. Все это дико, нелепо! Она приостановилась и вынула из перчатки письмо. Может, и нелепо, но так надо. И, крепко сжав губы, она пошла дальше. В мыслях своих она уже стояла перед ним, с закрытыми глазами, с бешено колотящимся сердцем, и ждала, что же она почувствует, когда он заговорит, а быть может, коснется губами ее лица или руки. И ей представилось, как она стоит - ресницы опущены, губы приоткрыты... Но странно: его она почему-то не видела. И тут оказалось, что она уже перед дверью его дома.

Она спокойно позвонила, но не опустила руку, а приложила выглядывавшую из перчатки ладонь к лицу - неужели это ее щеки так горят?

Дверь растворилась, и она увидела прихожую, лестницу, устланную красным ковром, и у ее подножия - старого лохматого коричневого с белым пса, которого явно одолевали блохи и печаль. Неизвестно почему Барбару обуял страх; она стояла, как статуя, но

душа ее метнулась обратно, через Грин-парк, домой, в особняк Вэллисов. Но тут к ней вышла молодая женщина в синем фартуке, с кроткими, покрасневшими глазами.

- Здесь живет мистер Куртье?

- Да, мисс.

У этой еще молодой женщины было совсем мало зубов, да и те несколько почерневшие, и, не в силах вымолвить ни слова, Барбара смотрела на нее, застыв на пороге, между солнечной улицей и сумрачной прихожей, которая вела... куда?

Женщина снова заговорила:

- Очень жалко, если он вам нужен, мисс. Он только что уехал.

Сердце Барбары дрогнуло, как внезапно отпущенная струна. Она наклонилась и погладила по голове старого пса, который обнюхивал ее туфли.

- И я, конечно, не могу вам дать его адрес, - сказала женщина. - Потому что он уехал в чужие края.

Барбара пробормотала что-то невнятное и выбежала на залитую солнцем улицу. Рада ли она? Огорчена ли? На углу она остановилась и обернулась; две головы - женщины и собаки - все еще выглядывали из дверей.

Ей вдруг ужасно захотелось расхохотаться и почти тотчас - расплакаться.

ГЛАВА XXVI

Западный ветер, шепот которого слышали накануне вечером Куртье и Милтоун, нес вдоль реки первые осенние облака. Кудрявые, серые, они медленно наползали на солнце, словно стараясь его пересилить, и даже в этот ранний час оно светило лишь урывками. Пока Одри Ноуэл одевалась, солнечные лучи самозабвенно плясали на белой стене, точно погибшие души, у которых нет будущего, или мошкара, которая кружит и кружит в краткий миг отпущенной ей радости и не оставляет по себе следа. От бокового окна, завешенного темной шторой, сквозь просветы тянулись к зеркалу, которое тыльной стороной преграждало им путь, дымчатые нити. Они свивались в серые дрожащие спирали, такие плотные на взгляд, что странно было, почему рука не может их поймать; ревниво, точно призраки, оберегая пространство, которым завладели, они на миг развлекли сердце, лишенное счастья. Ибо могла ли она быть счастливой, если не видела

любимого уже тридцать часов, и в последнее свидание его поцелуи не рассеяли ощущения непоправимой беды, которое нахлынуло на нее, когда он сказал ей о своем решении. Она видела глубже, чем он: рок послал ей весть.

Быть тяжким бременем, помешать ему приносить пользу; быть не опорой, а обузой; не вдохновляющими небесами, но тучей! И все из-за его щепетильности, которой она не могла понять! Одри не сердилась на эту непонятную щепетильность, но она была фаталистка, притом хорошо знала Милтоуна и потому предугадывала, к чему это приведет. Он скоро почувствует, что ее любовь калечит ему жизнь; даже если он все еще будет желать ее, то лишь плотью. И раз уж из-за этой щепетильности он способен отказаться от общественной деятельности, он способен оставаться с ней, даже если любовь его умрет! Мысль эта была невыносима. Она жгла ее. Но нет, жизнь не может быть такой жестокой - подарить такое счастье лишь затем, чтобы его отнять! Неужели ее любви дан такой короткий век, а вся его любовь - лишь одно объятие - и конец навсегда!

В это утро отчаяние придало ей уверенности, и она призналась себе, что хороша. Он поймет, он должен понять, что она ему нужней и желанней, чем та, другая жизнь, при одной мысли о которой лицо Одри темнело. Эта другая жизнь такая жестокая и так от нее далека! В ней нет души, в ней все - только видимость, и все же для него это я есть настоящая жизнь, до отчаяния, до отвращения настоящая! Если ему и в самом деле надо расстаться с общественной деятельностью, неужели жизнь, которую они поведут, не возместит ему потерю? Сколько может у них быть простых и светлых радостей: путешествия, музыка, картины, цветы, великое разнообразие природы, друзья, которым они дороги сами по себе; и можно быть добрыми к людям, помогать бедным и несчастным и любить друг друга! Но нет, такая жизнь не по нем! Что толку обманывать себя? Конечно же, справедливо и естественно его желание, чтобы силы его не пропали даром. Его призвание - вести за собой и служить отечеству! Она и не хотела бы видеть его другим. Мысли эти, сменяя друг друга, проносились у нее в голове, пока она заплетала и укладывала свои темные волосы и хоронила сердце за кружевной броней. С привычным вниманием она заметила в вазе на туалетном столике два увядших цветка, выбросила их и сменила воду.

Солнечные лучи уже не плясали на стене, и серые спирали света тоже исчезли. В небе осень вступила в свои права. Одри вышла из спальни; зеркало в прихожей всегда было немилостиво к ней, и, проходя мимо, она не решилась в него посмотреться. Но внезапно ей пришла на помощь истинно женская вера в неотразимость ее чар; ей стало спокойно и радостно: конечно же, он любит ее больше своей совести! Но то была слишком трепетная уверенность, ее так легко было спугнуть. Даже приветливая румяная горничная, казалось, смотрела на нее сегодня с состраданием; и в ней тотчас поднялось врожденное чувство не столько "хорошего тона", сколько такта, которое всегда заставляло ее избегать всего, что может взволновать или огорчить кого-то или навести на мысль, что ее надо пожалеть; и она тщательней обычного старалась скрыть свою тоску и тревогу даже от себя самой. Все утро она машинально занималась привычными мелочами. Но ее ни на минуту не покидала мечта увезти Милтоуна из Англии - может быть, при виде тысячи красот, которые она ему покажет, он все же загорится любовью ко всему, что любит она! В юности она провела за границей три года. А ведь Юстас никогда не был в Италии, не был в ее любимых горных долинах! Потом ей представилась его квартирка в Темпле и заслонила это видение. Нет, ни пышные золотистые ковры горечавки, ни альпийские розы не опьянят восторгом любителя этих книг, этих бумаг, этой огромной карты. И она вдруг с такой остротой ощутила запах кожаных переплетов, словно опять хлопотала вокруг него, скользя по этой комнате неслышной походкой сиделки. Потом на нее вновь нахлынула радость, что наполняла ее в те счастливые дни, - радость любви, которая втайне знает о близящемся торжестве и завершении; несказанная отрада - отдавать все свое время, все помыслы и все силы; и сладкое неосознанное ожидание чудесного неотвратимого мгновения, когда она наконец отдаст ему себя всю. И еще вспомнилась усталость тех дней, священная усталость, и улыбка, не сходившая с ее губ от мысли, что устает она ради него.

Раздался звонок - она вздрогнула. Ведь в его телеграмме было сказано: днем. Она решила ничем не выдавать своей тревоги, омрачавшей для нее весь мир, и глубоко вздохнула в предчувствии его поцелуя.

То был не Милтоун, а леди Кастерли.

От неожиданности кровь бешено застучала в висках. Потом Одри увидела, что маленькая фигурка, появившаяся перед ней, тоже вся дрожит, и придвинула кресло.

- Не угодно ли вам присесть? - сказала она.

Старческий голос поблагодарил, и Одри вдруг вспомнила сад в Монкленде, залитый ласковыми лучами летнего солнца, и Барбару у калитки, возвышавшуюся над маленькой фигуркой, что сидит сейчас такая тихая, без кровинки в лице. Это лицо, эти точеные черты, эти острые, хоть и подернутые дымкой глаза так часто преследовали ее! Казалось, дурной сон стал явью.

- Моего внука здесь нет?

Одри покачала головой.

- Мы слышали о его решении. Не стану ходить вокруг да около. Это несчастье, а для меня - тяжкий удар. Я его знаю и люблю со дня его рождения, и я была настолько глупа, что мечтала о его будущем. Вы, может быть, не знаете, сколь многого мы от него ждали. Простите меня, старуху, что я вот так к вам пришла. В мои годы уже мало что важно, но это немногое - очень важно.

"А в мои годы важно только одно, но это одно важнее жизни", - подумала Одри. Но ничего не сказала. Кому, зачем говорить? Этой черствой старухе воплощению высшего света? Что толку от слов! Серая фигурка, казалось, заполонила всю комнату.

Леди Кастерли продолжала:

- Вам я могу сказать то, чего не в силах была сказать никому, ибо сердце у вас доброе.

Сердце, которому воздали такую хвалу, дрогнуло, и дрожь передалась губам. Да, сердце у нее доброе! она способна даже посочувствовать этой старухе, в чьем голосе тревога заглушила обычную властность.

- Для Юстаса нет жизни вне его карьеры. Карьера - это и есть он сам, он должен действовать, руководить, дать волю своим силам. То, что он отдал вам, это не настоящее его "я". Не хочу причинять вам боль, но от правды не уйдешь, перед ней все мы должны склониться. Быть может, я жестока, но я умею уважать горе.

Уважать горе! Да, эта серая гостья умеет уважать горе, как ветер, проносящийся над морем, уважает морскую гладь, как воздух уважает нежные лепестки розы, но уметь проникнуть в молодое сердце,

понять его горе - на это старики не способны. Им это не легче, чем разгадать, что за тайные знаки чертят вон те ласточки, летая над рекой, или проследить до самых истоков слабый аромат лилий вон в той вазе! Откуда ей знать, этой старухе, чья кровь давно остыла, что творится в ее душе? И Одри казалось, что она смотрит со стороны, как в нее швыряют жалкими остатками ее мечты. Ей хотелось встать, взять эту старческую руку - холодную, иссохшую паучью лапку, - приложить ее к своей груди и сказать: "Тронь - и замолчи!"

И, однако, ее не оставляло какое-то глухое сострадание к этой старухе с бледным, точеным лицом. Она не виновата, что пришла!

- Это еще только начало, - снова заговорила леди Кастерли. - Если вы не откажетесь от него сейчас, сразу, очень скоро вам придется еще тяжелее. Вы знаете, какой он непреклонный. Он не изменит своего решения. Если вы оторвете его от дела его жизни, это отзовется на вас. Я понимаю, что за мои слова вы меня возненавидите, но поверьте, в конечном счете это не только для него, но и для вашего блага.

В душе Одри вспыхнула яростная ирония, сердце неистово заколотилось. Для ее блага! Для блага мертвеца, только что испустившего последний вздох; для блага цветка, попавшего под каблук; для блага собаки, которую покидает хозяин. Свинцовая тяжесть медленно надвинулась на ее сердце и остановила его трепет. Если она не откажется от него сразу! Вот они прозвучали, слова, которые уже много часов, невысказанные, давили ей грудь. Да, если она этого не сделает, не знать ей ни минуты покоя, всегда она будет мучиться тем, что загубила его жизнь, осквернила свою любовь и гордость! И она дождалась, что ей это подсказали! Не она сама, а кто-то другой - жестокая старуха из жестокого мира - облек в слова то, что терзало ее любовь и гордость, уже целую вечность - с тех самых пор, как Милтоун сказал ей о своем решении: кто-то должен был сказать ей то, что в сердце своем она знала уже так давно! Эта мысль была, как удар ножа. Нет, это невыносимо! Она поднялась и сказала:

- Теперь оставьте меня, прошу вас! У меня слишком много дел перед отъездом.

Не без удовольствия она увидела замешательство на лице старухи, не без удовольствия заметила, как дрожат руки, которыми она, вставая, опирается на ручки кресла, и услышала запинающийся голос:

- Вы уезжаете? Не... не дождавшись его? Вы... вы больше с ним не увидитесь?

Не без удовольствия она видела, что старуха в нерешимости: не знает, то ли благодарить, то ли благословить, то ли скрыться без единого слова. Не без удовольствия она следила, как залились краской поблекшие щеки, как сжались увядшие губы. Но, уловив шепот "Благодарю вас, дорогая!", она отвернулась, не в силах больше ни видеть эту гостью, ни слышать ее голос. Она подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу, стараясь ни о чем не думать. Послышался шум колес - леди Кастерли уехала. И тогда Одри узнала самое ужасное из всех чувств, какие дано испытать человеку: у нее не было слез!

В этот самый горький и одинокий час своей жизни она была до странности спокойна, ясно понимала, что и как делать и куда ехать. Надо все делать быстро, иначе это уже никогда не будет сделано! Быстро! И без суеты! Она уложила самое необходимое, послала горничную за такси и села писать письмо.

Не надо ни делать, ни писать ничего такого, что слишком бы его взволновало и могло вернуть болезнь. Пусть письмо будет рассудительное, трезвое! Очень просто было бы сообщить, куда она едет, написать так, что он тотчас помчится за ней. Но писать спокойные, рассудительные слова, которые заставят его ждать и думать и никогда не приведут его к ней, было нестерпимо больно,

Она кончила письмо, запечатала его и сидела, не шевелясь, чувствуя, что и руки и мозг оцепенели, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Ехать других дел нет!

Чемоданы были уже вынесены. Она выбрала шляпку, в которой особенно ему нравилась, и прикрепила к ней самую густую свою вуаль. Потом надела дорожное пальто и перчатки и взглянула в зеркало; больше задерживаться было не из-за чего, она взяла свой несессер и вышла.

На набережной плакал ребенок; он отчаянно рыдал, прерывисто всхлипывая, и Одри закусила губы, точно услышав стенания своей отлетевшей души.

- Подите утешьте его, Элла, - сказала она горничной, уже сидя в такси.

Только оставшись одна в вагоне, уверенная, что ее никто не видит, дала она волю слезам. Белый дым, клубившийся за окном, был не долговечней ее счастья, ибо она не обольщалась - это конец! С первой их встречи до последней и года не прошло! Но даже в эту минуту она не жалела, что у нее была эта любовь, уже схороненная теперь, точно мертвое дитя, которое вечно будет касаться ее груди своими тоскующими пальчиками.

ГЛАВА XXVII

Вернувшись из покинутого дома Куртье, Барбара была встречена сообщением, что леди Кастерли просит ее немедленно приехать.

Она послушно отправилась в Рейвеншем и застала бабушку и лорда Денниса в белой комнате. Они стояли у одного из высоких окон и, казалось, любовались видом. При звуке ее шагов они обернулись, но не заговорили и не кивнули. Барбара не видела деда с тех пор, как заболел Милтоун, и такой прием показался ей странным; она тоже молча стала у окна. Огромная оса взбиралась по стеклу, потом, слабо жужжа, соскальзывала вниз.

- Убей ее! - неожиданно потребовала леди Кастерли.

Лорд Деннис вытащил носовой платок, - Не этим, Деннис. Так выйдет одна пачкотня. Возьми разрезальный нож.

- Я хотел ее выгнать, - пробормотал лорд Деннис.

- Лучше пусть Барбара: она в перчатках. Барбара подошла.

- По-моему, это шершень, - сказала она.

- Он самый, - мечтательно произнес лорд Деннис.

- Чепуха, - возразила леди Кастерли. - Обыкновенная оса.

- Это шершень, бабушка, я знаю. У него полоски темнее.

Леди Кастерли нагнулась, а когда выпрямилась, в руках у нее была домашняя туфля.

- Не дразните его! - воскликнула Барбара, схватив ее за руку. Но леди Кастерли высвободилась.

- Не мешай! - сказала она и прихлопнула насекомое подошвой так, что оно мертвое упало на пол. - Не залетал бы, куда не надо.

И, словно не они здесь только что суетились, все трое снова молча уставились в окно.

Наконец леди Кастерля обернулась к Барбаре.

- Ну, теперь ты понимаешь, что натворила?

- Энн! - вполголоса сказал лорд Деннис.

- Да, да. Она твоя любимица, но это ей не поможет. Эта женщина... должна сказать к ее чести... я говорю, к ее чести... уехала, чтобы Юстас не мог найти ее, пока он не образумится.

У Барбары перехватило дыхание.

- Бедняжка! - вырвалось у нее.

Лицо леди Кастерли стало почти жестоким.

- Вот именно, - сказала она. - Но, как ни странно, я думаю о Юстасе. Маленькая, сухонькая, она вся дрожала с ног до головы. - Будешь теперь знать, как играть с огнем.

- Энн! - опять негромко окликнул сестру лорд Деннис и ласково взял Барбару под руку.

- Наш мир - это мир фактов, а не романтических прихотей, - продолжала леди Кастерли. - Ты такое натворила, что вряд ли можно поправить. Я сама была у нее. Я глубоко тронута. Если бы не твое глупое поведение...

- Энн! - снова повторил лорд Деннис.

Леди Кастерли умолкла; слышно было лишь, как она притопывает по полу своей маленькой ножкой. Глаза Барбары блеснули.

- Вы бы хотели еще кого-нибудь раздавить, бабушка?

- Бэбс! - взмолился лорд Деннис.

Но Барбара, сама того не замечая, прижала его руку к сердцу и продолжала:

- Ваше счастье, что вы можете ругать меня сегодня. Случись это вчера...

При этих загадочных словах леди Кастерли отвернулась и пошла в другой конец комнаты, оставляя на блестящем паркете маленькие тусклые следы.

Барбара притянула к горячей щеке стариковские пальцы, которые перед тем судорожно сжимала в своих.

- Пусть она замолчит, дядя! - прошептала она. - Сейчас я не могу слушать!

- Да, да, родная, - забормотал лорд Деннис. - Да, конечно... на сегодня довольно.

- Это все ты, - донесся через всю комнату голос леди Кастерли. - Твои сентиментальные глупости навлекли на мальчика несчастье.

Рука лорда Денниса вновь сжала локоть Барбары, и она послушно промолчала; и в тишине послышались легкие приближающиеся шаги. Ни старик, ни Барбара не обернулись; шаги снова стали удаляться; потом опять приблизились.

- Бабушка, ради бога остановитесь! - вдруг воскликнула Барбара, показывая на пол. - Вы и так уже растоптали несчастного шершня, довольно с него, даже если и вправду он залетел, куда не надо!

Леди Кастерли посмотрела на то, что осталось от насекомого.

- Отвратительно! - сказала она; но когда заговорила снова, в голосе ее слышалась уже не столько суровость, сколько досада: - А этот... как его там... ты от него отделалась?

Барбара вспыхнула до корней волос.

- Если вы будете оскорблять моих друзей, я сейчас же уеду домой и никогда больше не стану с вами разговаривать.

Казалось, леди Кастерли вот-вот ударит внучку: потом на ее губах появилась слабая язвительная усмешка.

- Похвальное чувство! - оказала она.

- Все равно я ухожу! - крикнула Барбара, выпуская руку дяди. - Не понимаю, зачем вы меня звали!

- Затем, чтобы ты и твоя мать знали, как самоотвержение поступила эта женщина. - холодно ответила леди Кастерли. - Затем, чтобы вы были начеку: неизвестно, чего сейчас ждать от Юстаса; и я хотела дать тебе случай загладить свою вину. И, кроме того, предостеречь тебя... - она не договорила.

- Да?

- Лучше я... - вмешался лорд Деннис.

- Нет, дядя Дениис, пусть бабушка возьмется за свою туфлю!

Она прислонилась к стене, высокая и даже внушительная, гордо вскинув голову. Леди Кастерли молчала.

- Ну, вы приготовились? - крикнула Барбара. - К несчастью, он ускользнул!

- Лорд Милтоун, - раздалось в дверях.

Он вошел неслышно и быстро, опередив лакея, и прежде, чем его заметили, оказался почти вплотную к группе у окна. Лицо у него было серое - такими бывают смуглые лица, когда в минуту волнения от них вдруг отхлынет вся кровь, а глаза, по которым всегда легче

всего было прочесть его чувства, горели таким гневом, что все трое невольно потупились.

- Я должен поговорить с вами наедине, - обратился он к леди Кастерли.

И, быть может, впервые в жизни эта неукротимая маленькая женщина дрогнула. Лорд Деннис увлек за собою Барбару, но в дверях прошептал:

- Останься, Бэбс, и молчи. Мне все это очень не нравится.

И никем не замеченная Барбара осталась.

Из дальнего конца длинной белой комнаты до нее с неправдоподобной ясностью доносились два негромких голоса; волнение придавало каждому слову сверхъестественную силу и отчетливость; и ее тревожному взгляду чудилась в каждом движении обоих непостижимая точность, словно у марионеток, которых она видела однажды в парижском кукольном театре. Ей слышны были беспощадно злые и горькие слова упрека, обращенные Милтоуном к бабке. Незаметно она подходила все ближе и, увидев, что ее не замечают, точно она не живой человек, а статуя, снова заняла свое место у окна. Говорила леди Кастерли.

- Я не желала видеть тебя поверженным, Юстас. То, что я сделала, мне далось нелегко. Но я сделала для тебя все, что могла.

Ужасная улыбка исказила лицо Милтоува - такой ненавидящей улыбкой жертва бросает вызов палачу.

- Я вижу, ты вне себя, - продолжала леди Кастерли. - Можешь меня возненавидеть... но не предавай нас, не падай духом оттого, что не можешь достать луну с неба. Облачись в доспехи и иди в бой. Не будь трусом, мальчик!

Ответ Милтоуна был, как удар хлыста.

- Замолчите!

И - о чудо! - она замолчала. Не грубость этих слов, но вид силы, внезапно сбросившей все покровы - точно свирепый пес, которого на миг спустили с цепи, - заставил Барбару испуганно ахнуть. Леди Кастерли, вся дрожа, упала в кресло. Даже не взглянув на нее, Милтоун метнулся мимо кресла. И Барбара поняла, что, упади их бабка мертвой, он и тогда не взглянул бы. Она кинулась к старухе, но та отмахнулась.

- Ступай за ним, - сказала она. - Не оставляй его одного.

И, заразившись страхом, который звучал в этом безжизненном голосе, Барбара выбежала из комнаты.

Она догнала брата, когда он садился в такси, в котором приехал, и, не говоря ни слова, скользнула за ним). Шофер обернулся, ожидая приказаний, но Милтоун лишь мотнул головой, как бы говоря: куда угодно, лишь бы вон отсюда!

"Только бы удержать его здесь, со мной!" - пронеслось в голове у Барбары.

Она нагнулась к шоферу и тихонько сказала:

- В Нетлфолд, Сассекс... о бензине не заботьтесь... достанете по дороге. Я заплачу, сколько хотите. Скорей!

Шофер подумал, поглядел ей в лицо и сказал!

- Хорошо, мисс. Через Доркинг поедем?

Барбара кивнула.

ГЛАВА XXVIII

Когда Милтоун и Барбара выехали за чугунные ворота в своей стремительной, припахивающей бензином колеснице, часы над конюшней отбивали семь. Автомобиль был закрытый, но брызги дождя залетали через опущенные окна, освежая пылающее лицо Барбары, слегка утишая ее страх перед этой поездкой, ибо теперь, когда судьба оказалась по-настоящему жестокой, когда избавление от мук уже не зависело от Милтоуна, сердце ее обливалось кровью, и она, чего давно уже не бывало, совсем забыла о себе. Безучастность, с какой он отнесся к ее появлению, ничего доброго не предвещала. Барбара молча сидела в своем углу, но мысль ее напряженно работала, с отчаянным, чисто женским упорством отыскивая способ пробиться в эту наглухо замкнувшуюся душу. Он, видно, даже не заметил, что они повернули прочь от Лондона и въехали в Ричмонд-парк.

Деревья, темные от дождя, казалось, мрачно наблюдали за шумным красным ящиком на колесах, все еще не желая мириться с вторжением этих грубых пришельцев в их овеваемую свежим ветром обитель. И лани, резвившиеся на душистых лужайках, вскинув головы, тревожно принюхивались, словно говорили: вот кто оскверняет папоротник! Вот кто оставляет в воздухе отравленный след!

Барбара смутно ощущала покой, которым были напоены облака, и деревья, и ветер. Если б только он проник и в эту полутемную

движущуюся тюрьму и помог ей! Если бы он обернулся сном и унес черную скорбь и мгновенно превратил горе в радость! Но он парил на задумчивых крылах, не заглядывая в их темницу; и не было моста через пропасть, разделявшую две души, ибо что могла она сказать? Как заставить его заговорить о том, что он намерен делать? Какой выбор стоит сейчас перед ним? Выйдет ли он в угрюмой решимости из парламента и будет ждать часа, когда вновь найдет Одри Ноуэл? Но если он и разыщет ее, они опять окажутся в том же тупике. Ведь она уехала, чтобы не связывать его, - и опять будет все то же самое! Или он, как требовала бабушка, облачится в доспехи и ринется в бой? Но тогда это конец, ибо, если у Одри хватило сил уехать сейчас, она, конечно же, не вернется, не вторгнется второй раз в его жизнь. Страшная мысль поразила Барбару. Что если он решил на всем поставить крест! Уйти в небытие! Ведь так случалось иногда с людьми, над которыми судьба посмеялась в самый разгар страсти. Но нет, Милтоун этого не сделает: его удержит вера. "Если пение жаворонка ничего не значит... и эта лазурь над головой - пустая прихоть нашего воображения... если мы пресмыкаемся тут впустую и жизнь наша бессмысленна и бесцельна, убеди меня в этом, Бэбс, и я стану тебя благословлять". Но удержит ли его и сейчас этот якорь, не унесет ли его в неизвестность? Барбара, для которой жизнь всегда была радостью, а великое безмолвие чем-то неведомым, при этой внезапной мысли о смерти похолодела от ужаса. Она уставилась на спину шофера, на его серую куртку с красным воротником, и эта широкая спина ее немного успокоила. Ведь она в такси, они едут через Ричмонд-парк! Смерть... Нелепо, невероятно! Не глупо ли так пугаться? Она заставила себя посмотреть на Милтоуна. Он словно уснул: глаза закрыты, руки сложены; только дрожь ресниц выдавала его. Как угадать, что скрывается за этой угрюмой маской сна наяву? Он так ушел в себя, что Барбаре казалось, будто ее здесь вовсе нет.

Он открыл глаза и неожиданно проговорил:

- Итак, Бэбс, ты думаешь, что я собираюсь наложить на себя руки?

Он прочел ее мысли! Безмерно испуганная, она только и могла забиться еще дальше в угол и прошептала, запинаясь:

- Нет, нет!

- Куда мы едем?

- В Нетлфолд. Может быть, остановить его?

- Мне все равно, пусть едет.

Боясь, что он снова погрузится в мрачное молчание, она робко завладела его рукой.

Быстро смеркалось; оставив позади виллы Сербитона, автомобиль мчался среди сосен я зарослей вереска, хмурых в угасающем свете дня.

- Если я захочу, довольно открыть дверцу и выпрыгнуть, - странным тихим голосом сказал Милтоун. - Вы, которые верите, что нам "завтра конец", убедите меня, что этот прыжок освободят меня от всего, и я не стану медлить!

Барбара испуганно сжала его руку, и он, словно пожалев ее, прибавил:

- Не бойся, Бэбс; сегодня мы спокойно выспимся в наших постелях.

Но в голосе его слышалось такое отчаяние, что уж лучше бы он ничего не говорил.

- Будем по крайней мере молчать, когда с нас заживо сдирают кожу, пробормотал он еще. - Прости, что растревожил тебя.

- Если б только... - прошептала, прижавшись к нему, Барбара. - Не молчи!

Но Милтоун не ответил, лишь молча погладил ее по руке.

Автомобиль, уныло урча, с непривычной скоростью мчался по пустынным дорогам; и Барбаре страстно хотелось прижать голову брата к своей груди и убаюкать его, но она не смела. В сердце была пустота и робость; вот если бы у нее на груди покоилось что-то живое, теплое, все было бы по-другому. Все реальное, вещественное, успокаивающее, казалось, куда-то исчезло. Среди летящих навстречу темных призраков сосен, словно на безлюдной границе, она чувствовала себя потерянной, как ребенок в лесу; ощущение чьей-то щеки, прижавшейся к ее груди, одно могло бы утишить ее тревогу.

Автомобиль замедлил ход; шофер зажигал фары; потом в окошке появилось его обветренное лицо.

- Надо сделать остановку, мисс. Бензин кончился. Будете обедать или сразу поедем дальше?

- Дальше, - ответила Барбара.

Пока они проезжали незнакомым городком, покупали бензин, спрашивали дорогу, она чувствовала себя не такой несчастной и даже не без любопытства оглядывалась по сторонам. А когда снова двинулись в путь, подумала: "Хоть бы мне заставить его уснуть, а там море его успокоит!" Но Милтоун пристально смотрел в одру точку широко раскрытыми глазами. Тогда она сама притворилась спящей; чуть склонила голову набок и ровно, глубоко задышала. Шум колес, жалобное поскрипывание рессор, проносящиеся мимо темные деревья, запах влажного папоротника, приносимый ветром, - все это не может не усыпить его! И правда, скоро он стал растворяться во тьме... а потом... потом она уже ничего не видела и не слышала.

Когда она очнулась от она, в который, как ей казалось, погрузился Милтоун, автомобиль медленно взбирался на крутой холм, а над холмом светила луна. Воздух пах крепко и пряно, точно впитал в себя аромат бесчисленных лугов.

"Где это мы? - подумала Барбара. - Должно быть, я спала!"

И вдруг с ужасом оглянулась: здесь ли Милтоун? Но он все так же сидел в своем углу, откинувшись на спичку, глядя перед собой широко раскрытыми глазами и не подавая признаков жизни. Еще не совсем проснувшись, точно большое, теплое, сонное дитя, внезапно разбуженное среди глубокой ночи, она схватилась за него обеими руками и прильнула к нему. Мучительно было думать, что она предательски уснула на своем посту, а он сидел там, в углу, и душа его была далеко-далеко. Но он не отозвался на ее движение и, окончательно проснувшись, пристыженная, огорченная, Барбара отодвинулась и подставила лицо ветру.

А там, на воле, два плоских, густо-черных облака сошлись как два ястребиных крыла и совсем закрыли луну, так что от нее осталось одно лишь сияние меж двух быстрых взмахов тьмы, точно горящие глаза хищной птицы. Этот огромный пугающий призрак, зловеще простершийся над высокими, бледными в лунном свете холмами, словно ждал только удобной минуты, чтобы ринуться вниз, растерзать когтями и пожрать все, что вторгалось в дикие просторы этих вольных равнин. Барбаре казалось: вот-вот послышится протяжный ястребиный свист. И ей снова вспомнился тот чудесный сон. Где ее крылья - крылья, что в сновидении вознесли ее к звездам, крылья, которые наяву никогда не поднимут ее над землей? А где крылья

Милтоуна? И опять она забилась в свой угол; из-под сомкнутых век выкатилась слезинка... за ней другая, третья. Они набегали все быстрей и быстрей. Потом рука Милтоуна обняла ее за плечи, и она услышала:

- Не плачь, Бэбс!

Чутье подсказало ей, что делать. Она прижалась головой к его груди и горько заплакала. И, пытаясь сдержать рыдания, с каждой минутой все больше успокаивалась: она знала, что теперь он уже никогда не будет чувствовать себя таким одиноким, как прежде, до той минуты, когда начал ее утешать. Все это дурной сон, и они скоро проснутся! И будут счастливы, как были счастливы раньше... До этих последних месяцев. И она прошептала:

- Я сейчас, Юсти, сейчас.

ГЛАВА XXIX

В первых числах февраля умерла старая леди Харбинджер, и свадьбу Барбары с ее сыном отложили на июль.

В утро свадьбы вокруг Монкленда еще совсем по-весеннему буйно зеленел вереск.

Барбара встала пораньше, и, когда горничная пришла ее будить, была уже одета для верховой езды; заметив, что девушка удивленно смотрит на ее сапожки, она спросила:

- Ну что, Стейси?

- Вы устанете.

- Пустяки, я ненадолго.

Она не пожелала, чтобы ее сопровождал грум, и одна направилась к вересковой пустоши, где каталась год назад с Куртье. Там, среди высоких холмов, мили на полторы протянулась ровная, поросшая невысоким, еще не расцветшим вереском полоса земли, удобная для верховой езды. Барбара подымалась в гору, а душа ее словно мчалась впереди. Ей хотелось поскорей очутиться среди чибисов и кроншнепов, увидеть, как убегает из-под ног коня пружинистая, торфянистая земля, подставить лицо свежему ветру, что гуляет там, под синими небесами. Ее любимец Хэл горячился, и так и играл каждой жилкой под лоснящейся шерстью, и посапывал, и фыркал от радостного нетерпения, и косил глазом, пытаясь угадать ее намерения, и звонко грыз удила и, казалось, надеялся ее напугать, чтобы она тесней прильнула к нему, а ей было весело и ни до чего не

было дела, хотелось только длить это чудесное слияние с прекрасной несущей ее силой.

Взобравшись на плато, она пустила Хэла галопом. Ветер яростно набросился на нее, дул в лицо и шею, все ее мышцы напряглись, кровь бурлила - что может быть лучше!

Она остановила коня там, откуда они с Куртье смотрели на табунок лошадей. Теперь это было просто воспоминание, смутное и нежное, словно память о каком-нибудь на редкость прекрасном вешнем дне, когда деревья, кажется, распускаются прямо на глазах и будто из озорства источают запах лимона. Лошади паслись на том же месте, и так же, как тогда, вдали поблескивало море. И она думала только об одном: как это чудесно - жить! Во всем такая полнота, и свежесть, и свобода, и сила! На западе над одинокой фермой кружили два ястреба, высматривая добычу; Барбара не завидовала им: она была счастлива, счастлива, как это весеннее утро. И вдруг на нее нахлынула жаркая, неодолимая тоска по небесным высям.

"Я должна, - подумала она. - Я не могу иначе".

Спешившись, она легла на спину, и тотчас все исчезло, осталось только небо. Она лежала на теплом и мягком вереске, покрывшем жесткую землю, и над нею пролетал неслышный, неощутимый ветерок. Душа ее слилась воедино с этим непостижимым вольным покоем. И она уже не знала, довольна ли она, счастлива ли.

Хэл принялся жевать ее рукав, и Барбара очнулась. Она вскочила в седло и пустилась в обратный путь. Неподалеку от дома она взяла напрямик через луг, по которому бежали два узеньких светлых ручейка; лужок между ними зарос сонным розовато-лиловым болотным яртышником и желтым касатиком. Из конца в конец по этому длинному лугу, такому пестрому, где всего было вдоволь - и деревьев, и камней, и цветов, и воды, - медленно отступала весна.

Несколько любопытных и боязливых лошадок подкрались поближе к Барбаре и ее скакуну и остановились, вытянув шеи, недоверчиво принюхиваясь и со свистом помахивая тощими хвостами. И вдруг высоко-высоко вдогонку своему крику устремились к вересковой пустоши в поисках боярышника две кукушки. Они летели, точно две стрелы, и, провожая их взглядом, Барбара увидела, что из-за буковой рощи кто-то идет ей навстречу, и вдруг узнала миссис Ноуэл.

Вспыхнув, она продолжала свой путь. Что можно сказать? Заговорить о своей свадьбе и выдать присутствие Милтоуна? Что ни скажешь, от любого слова той будет больно... Она с досадой подавила свою нерешительность и сказала:

- Я так рада вас видеть. Я не энала, что вы еще здесь.

- Я только вчера вернулась в Англию и вот приехала сюда распорядиться, чтобы уложили мои вещи.

- А-а! - пробормотала Барбара. - Вы, наверно, знаете, какой у меня сегодня день?

Миссис Ноуэл улыбнулась, подняла на нее глаза и сказала:

- Да, я узнала еще вчера вечером. Желаю вам много радости!

Барбара почувствовала ком в горле.

- Я так рада, что повидала вас, - тихо повторила она. - Мне, пожалуй, пора... Прощайте...

- Прощайте... - отозвалось негромкое эхо, и она поехала прочь.

Но радость ее погасла; даже Хэл - и тот, казалось, шел невесело, хоть и возвращался в конюшню, где обычно рад был бы очутиться уже через десять минут после того, как ее покинул.

Миссис Ноуэл ничуть не переменилась, только глаза словно еще потемнели. Если бы она хоть чем-то показала, что чувствует себя несчастной, Барбаре не было бы так горько и грустно.

Выйдя из конюшни, она увидела, что ветер гонит по небу белую светящуюся тучу. "Кажется, в конце концов все будет хорошо", - подумала она.

Она вошла в дом старинным, так называемым потайным ходом, который вел прямо в библиотеку, и, чтобы попасть к себе, ей надо было пересечь всю эту большую, сумрачную комнату. Здесь перед камином в глубоком кресле сидел Милтоун, на коленях у него лежала раскрытая книга, но он не читал, он смотрел на портрет старого кардинала. Затаив дыхание, Барбара быстро, на цыпочках прокралась по мягкому ковру: она страшилась прервать этот странный немой разговор и чувствовала себя виноватой от того, что узнала на прогулке и чем не собиралась с ним делиться. Однажды она уже обожглась пламенем, горевшим между ними; больше она этого не сделает!

Через окно в дальнем конце библиотеки она увидела, что туча разразилась проливным дождем. Никем де замеченная, она пробралась к себе. Там, на вересковой пустоши, ей было хорошо и

радостно, и все же эта последняя в ее девичьей жизни прогулка оказалась не вполне удачной; на нее вновь нахлынули былые чувства, былые сомнения; а ведь она думала, что с ними покончено навсегда. Эти двое! Закрыть на все глаза и быть счастливой, возможно ли это? Большая радуга внезапно возникла совсем рядом, над садом, - никогда еще Барбара не видела ее так близко, - второй конец вонзился в соседнее поле. Сквозь уносимый ветром дождь уже пробилось и засияло солнце. Меж белых, черных, золотых туч засверкали, точно драгоценные камни, голубые просветы. Странно белый свет - призрак уходящей буйной и щедрой весны - тронул каждый лист каждого дерева; пустошь и луга заиграли сотнями ярких красок, точно на них опустилась стая райских птиц.

От этой неистовой красоты у Барбары перехватило дыхание. Сердце бешено заколотилось. Она прижала руки к груди, словно пытаясь удержать прекрасное мгновение. Далеко-далеко закуковала кукушка, и ветер подхватил этот извечный зов. Казалось, в этом крике проносится мимо вся красота, свет и радость, все упоение жизни. Если б только можно было поймать его и навсегда сохранить в сердце, как вон те лютики захватили в плен солнце, и как в каждой дождевой капле на лепестках роз под окнами заточен переменчивый свет дня! Если бы в мире не было ни цепей, ни стен и ничто не решалось навечно!

Часы пробили десять. Завтра в этот час! Ее обдало жаром; она посмотрела в зеркало - щеки пылают, губы кривит презрительная усмешка и глаза какие-то чужие. Она долго стояла так и смотрела на себя, и мало-помалу все следы волнения исчезли, и лицо вновь стало невозмутимым, исполненным решимости. Сердце уже не колотилось, как бешеное, щеки побледнели. Она смотрела на себя как бы со стороны, и ей приятно было видеть свою спокойную, лучезарную красоту, которая вновь обрела сброшенные на миг доспехи.

Вечером, после обеда, когда мужчины вышли из столовой, Милтоун ускользнул к себе. Из всех присутствовавших в маленькой церкви он казался самым безучастным, но был взволнован больше всех. И хотя свадьба была очень тихая и скромная, он досадовал на дешевую пышность, сопровождавшую уход его младшей сестренки. Он предпочел бы, чтобы ее венчали в темной домовой часовенке, где уже давно не служили; и пусть бы там были только жених с невестой

да священник. Здесь же, в этой полуязыческой деревенской церквушке, наскоро заставленной цветами, с полуязыческим крикливым хором, полной любопытных и почтительных сельских жителей, его все коробило, а от всего, что последовало за этим, стало совсем тошно. Сменив фрак на старую домашнюю куртку, он вышел на луг. Быть может, эта бескрайняя тьма ночи утишит его раздражение.

С того дня, как его избрали в парламент, он еще ни разу не был в Монкленде; после исчезновения миссис Ноуэл он ни разу не выезжал из Лондона. Он весь погрузился в Лондон и в работу; Лондоном и работой он тогда спасся! Он вступил в бой.

Роса еще не выпала, и он пошел напрямик через луга. Не было ни луны, ни звезд, ни ветра; коровы бесшумно лежали под деревьями; не слышно было уханья совы, криков козодоя, даже легкомысленные майские жуки не летали. В этой ночной тиши жил один лишь ручей. Милтоун шел узенькой, едва различимой тропкой среди слабо светящихся маргариток и лютиков, и странное чувство возникло у него, будто вокруг царит не сон, а нескончаемое ожидание. Звук его шагов казался святотатством. Такой благоговейной была эта тишина, курившаяся терпким фимиамом миллионов листьев и былинок.

Последний перелаз остался позади, и вот он уже подле ее покинутого домика, под ее липой, которая в ночь, когда Куртье повредил ногу, окружала луну иссиня-черным узором своих ветвей. С этой стороны сад отделяли от луга лишь невысокая ограда да редкие кусты.

Домик стоял совсем темный, но высокие белые цветы, точно светящийся пар, поднимающийся с земли, реяли над клумбами. Милтоун прислонился к старой липе и отдался воспоминаниям.

Среди осенявших его молчаливых ветвей пискнула сонная пичуга; в траве у его ног прошуршал еж или еще какой-то ночной зверек; в поисках пламени свечи пролетел мотылек. И что-то в сердце Милтоуна рванулось за ним, в тоске по теплу и свету, по угасшему пламени своей любви. Потом в тишине раздался звук, словно в высокой траве прошелестела ветка; все тише, слабее; и опять явственнее, и снова слабее; но что порождало этот бесприютный шелест, он разглядеть не мог. Ему стало чудиться, что совсем близко ходит кто-то незримый, и даже волосы зашевелились у него на голове.

Если бы взошла луна или звезды, чтобы он мог увидеть! Если бы положить предел ожиданию, которым полна эта ночь, если бы засветилась хотя бы одна-единственная искорка в ее саду и одна-единственная искорка в его груди! Но тьма не расступалась, и бесприютному шелесту не было конца. А что если звук этот исходит из его собственного сердца, которое блуждает по саду в поисках утраченного тепла? Он закрыл глаза и тотчас понял, что то звучит не его сердце, но и в самом деле бродит кто-то безутешный. И, протянув руки, он пошел вперед, чтобы остановить этот шелест! Но когда он достиг ограды, звук прекратился. Вспыхнул огонек, по траве пролегла бледная дорожка света.

И, поняв, что она здесь, в доме, он едва не задохнулся. Он и не заметил, как вцепился в ограду с такой силой, что ломались ногти. Им овладело совсем иное чувство, чем в памятный вечер, когда алые гвоздики на ее подоконнике овеяли его своим ароматом; это был не просто порыв неодолимой страсти. Та жажда любви, что поднималась в нем сейчас, была глубже, грознее, словно он знал, что если ныне он не утолит ее, никогда уж ей больше не ожить, и любовь его падет бездыханная на эту темную траву, под этими темными ветвями. А если она восторжествует - что тогда? Он неслышно отступил под дерево.

Маленькие белые мотыльки летели по световой дорожке; белые цветы были теперь ясно видны - бледные часовые, охраняющие своих темных спящих собратьев; и он стоял, не рассуждая, почти уже ничего не чувствуя, ошеломленный, подавленный. Лицо и руки его стали липкими от медвяной росы медленно, незаметно ее источала липа. Он наклонился и тронул рукой траву. И вдруг с несомненностью понял, что Одри совсем близко. Да, она здесь, на веранде! Он увидел ее всю с головы до ног; и, не понимая, что она его не видит, ждал: вот сейчас она вскрикнет! Но она не вскрикнула, не протянула к нему руки, - она повернулась и вошла в дом. Милтоун рванулся к ограде. И опять остановился - без мыслей, без чувств, словно потеряв себя. И вдруг заметил, что прижимает руку к губам, словно пытаясь удержать хлынувшую из сердца кровь.

Все еще прижимая руку к губам, стараясь бесшумно ступать по высокой траве, он крадучись пошел прочь.

ГЛАВА XXX

В просторной теплице Рейвеншема у японских лилий стояла леди Кастерли с письмом" в руке. Она была очень бледна, ибо сегодня впервые поднялась после инфлюэнцы; и в руке ее, державшей письмо, уже не было прежней твердости. Она прочла:

"Монкленд.

Пока не ушла почта, спешу в двух словах сообщить Вам, дорогая, что Бэбс благополучно родила прелестную малютку. Она шлет Вам сердечный привет и просит передать какие-то непонятные слова, которым вы якобы будете рады: что теперь она в полной безопасности и обеими ногами твердо стоит на земле".

По бледным губам леди Кастерли пробежала невеселая усмешка. Ну еще бы, давно пора! Девочка была на самом краю пропасти! Чуть было не совершила непоправимую романтическую глупость! С этим покончено. И, опять поднеся к глазам письмо, она стала читать дальше:

"По этому случаю мы все, разумеется, были у нее, а завтра возвращаемся домой. Джефри сам не свой. Нам очень не хватает Бэбс. Я все время приглядываюсь к Юстасу и думаю, что он наконец оправился от своего опасного увлечения. В палате он делает сейчас большие успехи. Джефри говорит, что его речь по поводу закона о бедных была несравнимо лучше всех других".

Леди Кастерли уронила руку с письмом. Оправился? Да, опасность миновала. Он поступил правильно... как и следовало! И когда-нибудь будет счастлив! Он вознесется на вершины власти, о чем она мечтала для него, когда он был еще крошкой, мечтала с тех самых пор, когда они бродили среди цветов или среди старинной мебели в высоких комнатах и его тоненькая смуглая ручонка цеплялась за ее руку.

Так думала она, стоя среди стройных лилий, наполнявших своим ароматом просторную теплицу, бледно-серая, точно маленький непреклонный призрак, и, однако, рука ее комкала письмо и по лицу скользили тени. Отбрасывали их резвые лучи полуденного солнца? Или ей забрезжил смысл древнегреческого изречения: "Нрав человека - его рок", и открылась всеобъемлющая истина, что от себя не уйдешь и каждый в конечном счете становится рабом того, к чему больше всего стремится.

1911 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net
Оставить отзыв о книге
Все книги автора